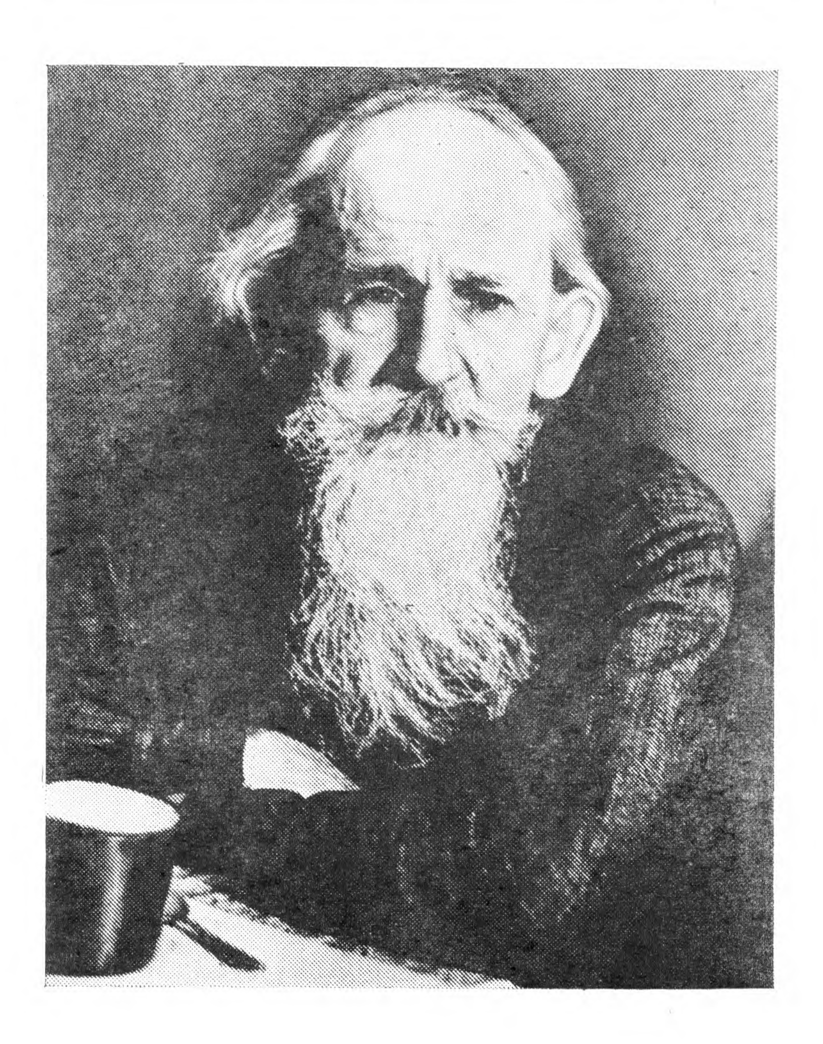
Мастера русской прозы XX века



БОРИС ШЕРГИН

Повести и рассказы

ЛЕНИЗДАТ
1984

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ СЛАВА

Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так: «По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Иван оследил Нехоженый берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут, кряду, и ход урочный морской...»

Устное слово и письменная память Севера свидетельствуют, что уже в XII — XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки — исполинские осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указывали направление стран света.

Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество».

Еще во времена стародавние северорусские мореходцы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти «уставы морские», «морские указы», «морские урядники» и «книги морского ходу». Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение, при содействии всеистребляющего времени, сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано ворохами, приходится собирать крохами.

В этих «морских уставцах», «указцах» обсказаны корабельные маршруты из Белого моря во все концы Студеного океана, на запад, в Скандинавию, и «во восток», к Новой Земле и Печоре.

Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего времени.

Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское, с подводными коргами, поливными лудами, яграми.

Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые «своими боками обтерли» описанные пути.

Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда «особые статьи» о природе ветров, о распорядке приливо-отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и по форме облаков. Эти статьи дополняет «Пловущий ледяной указ, или Устав о разводьях и разделах, кака суды ходити и кормщику казати». Здесь говорится о том, что опытный кормщик знает суточное время прохода меж льдов, ибо судоходные разводья во льдах регулярны, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов.

Архангельские поморы досконально изучили «мудреный обычай» своего моря. Вот записанные Н. И. Рождественской слова мезенского крестьянина Малыгина:

«В нашей местности (Койденский берег) разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону, на полунощник (северо-восток). Потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибылая и убылая вода. От берега в голомя, на Моржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под всток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа.

Опытно знаем, по компасу сверено...

Хождение воды в ту или другую стороны, на убыль или на прибыль, и у Кедовского берега бывает не круто и не тихо. В послонке вода идет кротко, а у Воронова Носа прилив и отлив ходит яро — волну разводит».

Подобное описание пульсации морских течений содержат и письменные памятники.

Другим видом северной народной литературы является письменное закрепление морских правовых обычаев. На основе уставных правил, корни которых уходят во времена новгородские, регламентируются не только практически-деловые, но и нравственно-моральные отношения мореходцев-промышленников и друг к другу и к обществу.

Эту древнюю юриспруденцию содержит, например, «Морской устав новоземельских промышленников».

Выдержки из другого подобного сборника, именуемого «Устьянский прáвильник», напечатаны в этой книге.

В рукописном сборнике XVIII столетия, вслед за статьями Никодима Сийского «О различных художествах», вписаны рассказы о кормщиках Иване Порядднике (Ряднике) и Маркеле Ушакове. Это как бы особый вид бытовой литературы Севера — своеобразная морская антология.

Церковный раскол, возникший в России во второй половине XVII века, был в значительной мере формой народного протеста против «сильных мира сего», против царского правительства. Вспомним сочувствие «староверия» Степану Разину и Емельяну Пугачеву.

На Севере в XVIII веке, в эпоху морального подчинения Западу, раскол носит черты своеобразного патриотизма.

В противовес мнению высшего общества, будто «русские всегда были во всем невежды», поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое.

Архангельские поморы-корабельщики, памятуя былую славу, обижались на Петра Первого за его увлечение голландцами и немцами.

Современник Петра поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравление выгорецкому судостроителю Бенедикту, говорил:

«Полунощное море, от зачала мира безвестное и человеку непостижное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность леденовидных стран светло изъясняют.

Чтобы то многоснискательное морское научное и многоиспытное умение не безпамятно явилось, оное

сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют»[1].

По поводу указа Петра Первого, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, архангельский мореходец Федор Вешняков в своей «Книге морского ходу» рассуждает: «Идущие к Архангельскому Городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе до совершенного освобождения Гирла от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец... Но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но, когда то за обычай, то и весьма сносно... Чаятельно тот новоманерный вид судов определен на воинской поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна, в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля, образована натурой моря ледовитого и сродством с берегом отмелым».

В конце концов царский указ оказался бессильным перед... натурой моря ледовитого. Постройка лодей продолжалась до конца XIX столетия.

Поморяне это говорили не к тому, чтобы спорить да вздорить, но к тому, чтобы не обидно было жизнь строить.

Раскольник Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали распрю о вере, коль скоро дело касалось любезного им мореходства или судостроения.

Афанасий яростно не любил староверов; во времена знаменитого диспута о вере в Москве, в Грановитой палате, в 1673 году Афанасий Холмогорский, как гласит протокол: «Слупил с божественного старца Никиты портки и рясу». В свою очередь божественный старец выдрал у архиепископа полбороды.

Тем не менее, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий выразился так:

«Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник».

Холмогорский архиепископ Афанасий (годы его жизни — 1640—1702) принадлежит к числу старин-

---

[1] Из поморской рукописи XVIII века, содержащей «примеры для поздравительных случаев».

ных русских самобытных картографов. Морские карты, или, как их называли в старину, «морские чертежи», были интереснейшей отраслью древнерусского «морского знания».

Еще на заре XV века новгородец Иван Амосов «посиле счислил и сметил» свои морские походы и начертил «Обод», то есть контур, Белого моря.

К середине XVI века соловецкий монах Филипп Колычев «много ревность имый еже в чертеж сложити путь морской... Но и от мореходцев неутомленно истязаше о ходех корабельных... И те мореходцы ему свои походы сметывают. И он, Филипп, ту смету счисливал в чертеж».

В начале первой мировой войны в Соловецке автор этих строк калькировал «чертеж морской», по местному преданию, сделанный рукой Филиппа Колычева. В монастыре имелись архитектурные чертежи, план системы каналов, подписанные автором, игуменом Филиппом.

По свидетельству И. М. Сибирцева [1], почерк архитектурных и ирригационных чертежей совершенно тождествен с почерком пояснений к «морскому чертежу».

В XVIII веке художественными и тщательными «переводами» (копиями) с древних морских чертежей (преимущественно соловецкого происхождения) славилось Выгорецкое общежительство [2]. Ф. Вешняков замечает:

«Надлежит смотреть, чтобы девки (мастерицы) не пестрили полуночного круга корунами и лицами». То есть не украшали белых мест на карте орнаментальной живописью. Вешняков заботился об этом на тот случай, что заказчик может нанести на «белые» места опыт своего путеплавания... Возникает недоумение: как же Петр из-за чужих деревьев своего русского лесу не видел?

Недоумение наше малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому «штилю» покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра Первого была сродни натуре архангельских поморов. Вот поче-

---

[1] И. М. Сибирцев — учредитель епархиального древлехранилища в Архангельске.

[2] Поморские скиты на реке Выг, впадающей в Белое море.

му так любил Петра старовер Маркел Ушаков и таким рьяным сторонником петровских реформ был не любивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий.

Ум архангельского помора никогда не был косным и неподвижным. Автор «Малого Виноградца» характеризует «судостроительное художество» Ушакова так:

«Ушакове мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские[1] обдуманы по чертежу...

...Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству».

Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а миллионы под гору».

Не Маркелы Ушаковы и не Федоры Вешняковы тащили воз под гору. Дело Петрово исказили господа, залакированные под Европу, не помнящие родства, но задававшие тон.

Во второй половине XVIII века заявлять о том, что у русских существует своя морская культура, уже считалось конфузным.

Федор Вешняков приводит такой факт: «У допросу от коммерц-конторы: куда которые суда ходили, я и похвалился своеручным чертежом. Да и ушаковский объявил, Новоземельской. Господин Присутственный смолчал, а конторские опосле говорят: „Для приезду господина члена, ты бы постыдился карбасное-то художество казать. Соблюдал бы в сундуке"».

Упрятанная в сундуке древняя и оригинальная картография русских поморов была забыта.

Самый стиль, самая внешность древних «морских чертежей» оскорбляли вкус помпадуров XVIII века. Все, что было сделано в русском народном стиле, определялось выражением: «в подлом вкусе».

Вот почему первым картографом побережий Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван-Клейна. Между тем Ван-Клейн издал свой атлас только около 1600 года и пользовался для своей работы поморскими чертежами. Там, где у Ван-Клейна не хватало русских данных, чертеж его фантастичен.

---

[1] То есть предназначенные к дальнему плаванию, за границу.

В конце XVIII века в Петербурге предпринято было печатание Карты Русского Севера. Петербургские картографы рабски скопировали неверную голландскую карту. Тупоумие дошло до того, что даже искажения русских названий целиком перенесены были на «русскую» карту. Вместо «Канин Нос» на «русской» карте XVIII века напечатано «Кандинес», вместо «Святой Нос» — «Свети Нес» и т. п.

Пренебрежение к многовековому опыту поморов было так велико, что «русский генерал» Ф. Литке (XIX век) предпочел блуждать у Новой Земли в поисках Маточкина пролива, нежели «оконфузить себя услугами мужиков», то есть поморов, досконально знавших Новую Землю.

В конце концов в сознании русского общества исчезло всякое представление о том, что на Севере существовала большая морская культура.

Ведь мало ли в матушке-России всяких промыслов? В Кимрах шьют сапоги, в Вязьме пекут пряники, иные лепят горшки, плетут лапти, ткут рогожи. А поморы ловят рыбу. Что тут удивительного или особенного?

Древние документы, письменные свидетельства о северном мореходстве исчезали, терялись, утрачивались, оставались в безвестности, потому что люди науки не спрашивали о них, не искали, не собирали их.

Старинные виды морской литературы уничтожались забвением и временем. Но сохранилась у помора как бы врожденная потребность или привычка записывать события, хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Отсюда характерное для Севера явление: каждый «архангельский мужик» непременно носит с собой записную книжку.

Во второй половине прошлого столетия в Архангельске жил некто Шмидт. Дворовые постройки своего дома он превратил в своеобразный музей. Здесь сохранялись своеобразные «памяти», оставленные погибшими где-нибудь «на голодном острове» или в «в относе морском» промышленниками.

Перед лицом неизбежной смерти промышленник вырезал ножом на бортовине судна или на дверях, на столешнице промысловой избы сведения о себе, о погибших товарищах. Здесь и деловитое завещание о долгах, «кому что дать и с кого что взять», здесь и отцовское благословение, и «последнее прости» жене.

Даты памятных досок доходили до середины XIX столетия.

В 1862 году мещанин посада Неноксы Афанасий Тячкин описывал историю гибели своего карбаса в обстановке, довольно неподходящей для литературной работы... Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном карбас. Большая часть людей утонула. Мещанин Тячкин, уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, выцарапывает шилом на днище карбаса обстоятельное донесение о причинах гибели груза и людей. Конечно, при более человеческих обстоятельствах поморы пользовались пером и бумагой.

Всем, кто бывал на Западном Мурмане, напомню высеченную на большом камне малого островка изящную узорную надпись:

«Горевал Гришка Дудин. 1696 год».

Лодья Дудина отстаивалась здесь от шторма, и Дудин украсил пустынную морскую скалу изящной резьбой.

В Эрмитаже хранится кубок старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба производит впечатление тончайшего кружева. По венцу кубка идет надпись: «На посмотрение будущим родам».

Эта любовь к достопамятности, это стремление увековечить явления живой жизни в большой мере свойственны были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса?

Здесь приходится погоревать и позавидовать вот о чем: на Север с половины прошлого столетия стали приезжать специалисты по собиранию былин, специалисты по собиранию сказок и песен, специалисты по народному прикладному искусству.

В двадцатых годах Север объезжали командированные Институтом материальной культуры специалисты по собиранию и описанию оловянной посуды: кроме оловянных ложек и плошек, они не глядели ни на что!

Но, увы, никогда-никогда на Север не приезжали люди, которые настойчиво, целеустремленно спрашивали бы, искали бы, собирали бы специально морскую письменность.

Никто никогда не внушал поморам, что все «мор-

ские уставцы», «урядники», «лоции» важны для науки и имеют историческое значение. Никто специально не записывал и устных преданий, устных рассказов о славных мореходцах, об именитых судостроителях.

А ведь жизнь не стоит на месте. Забывается не только все ветхое и бесполезное, но и то, что интересно для истории, для живой науки.

Я говорил о старинных видах северной морской литературы, об уставах, урядниках, указцах, лоциях, сказаниях и т. п.

Может быть, позднейшим видом морской народной литературы Севера можно считать записные книжки поморов. Даже в начале века XX любой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, пароходский служащий непременно имел при себе записную книгу, достаточно объемистую. Сюда заносились сведения, например, о вскрытии Северной Двины. Тут тщетные арифметические выкладки с целью сообразить, почему при расчете с хозяином он не только ничего не получил, а еще остался должен «три рубли».

В записных книжках, например, восьмидесятых годов общедоступность и дешевизна постройки деревянного парусного судна сравнивается с неприступною дороговизною постройки парохода.

Нередки в этих книжках описания штормов или «любознательных случаев», «морских встреч». Нередки записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега.

У какого-нибудь старого мореходца таких записных книжек накоплялось немало. После его смерти они выносились на чердак или поступали в распоряжение ребят, которые заполняли своими каракулями свободные места.

Здесь было упомянуто, что историческая наука морской историей Севера специально не занималась, а наука географическая упоминала о северном мореходстве и судостроении вскользь, наряду с бесчисленными «местными» кустарными промыслами деревенской России. Но все же в силу какой-то интуиции в среде «морского сословия» «свеча не угасла». Сознание, что «морское преданье и морское писанье» для чего-то важны и кому-то нужны, теплилось в среде беломорских мещан и крестьян. В начале XX столетия в Архангельске еще немало было «домов», или семейств,

хранивших память о славных мореходцах и судостроителях. Были в среде моряков, пароходских служащих, в среде судостроителей отдельные лица, любители морской старины, собиратели морских преданий.

Я, пишущий эти строки, родился в Архангельске, в семье «корабельного мастера первой статьи», и половину жизни провел в среде людей, прилежащих мореходству и судостроению.

Отец мой принадлежал к числу тех поморов, которые никогда не расставались с записной книжкой. Виденное и пережитое, слышанное и читанное отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей.

Отменной памятью, «морским знаньем» и уменьем рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители М. О. Лоушкин, П. О. Анкудинов, К. И. Второушин (по прозванию Тектон), В. И. Гостев.

Кроме того что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало особый талант.

Пафнутия Анкудинова и в морских походах и на звериных промыслах знали как прекрасного сказочника и певца былин. Умел он также петь по-древнему, по древним «крюковым», знаменитым книгам[1].

Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов. Был любитель механики. Любовь к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему: корабли, обуреваемые морским волнением.

Корабельный мастер Василий Гостев сохранял в искусстве своем лучшие традиции северного судостроения. Конон Тектон говорил о Гостеве: «Я в его меру не дошел». Знание Василия Гостева творчески унаследовал сын его. Этот Гостев-сын является в наши дни видным представителем деревянного судостроения.

В противоположность собратии своей, жившей интересами и бытом своего морского сословия, Максим Осипович Лоушкин был, так сказать, человеком светским. Имел чин «капитан дальнего плавания». Картинные рассказы Лоушкина о жарких странах больше

---

[1] Нотная система, бывшая в общем употреблении на Руси до XVIII века.

всего интересовали его слушателей. Свое, северное, казалось нам будничным. Даже наезжавшие в Архангельск писатели требовали от Лоушкина рассказов о кругосветном плавании. С просьбой рассказать что-нибудь в этом роде обратился к Лоушкину и Новиков-Прибой.

— Когда я был в Марсели,— начал Лоушкин.

— Я тоже был в Марселе,— перебил его Новиков-Прибой.

— А были, дак вы и сказывайте,— отрезал Максим Осипович и замолчал.

В настоящей книге приведено несколько моих пересказов слышанного в свое время от М. Лоушкина о старинных северных мореходцах. К морской старине Лоушкин относился с большим интересом — чувствовал, что познания его в этой области важны и нужны.

У Лоушкина были своеручные чертежи путеплаваний его по Ледовитому океану. Интересовался М. Лоушкин и старинными картографами. По поручению Лоушкина автор этих строк незадолго до первой мировой войны делал копии с Соловецких морских чертежей.

Уже в годы гражданской войны я брал у М. О. Лоушкина для прочтения и переписки «Устьянский пра́вильник», выдержки из которого приводятся ниже.

В девяностых годах М. О. Лоушкин был капитаном морского судна, с которого архангельский губернатор Энгельгардт обозревал берега подведомственной ему губернии.

Увидев, что губернатор ведет путевые записки, капитан Лоушкин возблагодарил бога: «Наконец-то на жизненном пути встретился человек, не только влиятельный, связанный с Петербургом, но и ученый!» При всяком удобном случае дальновидный Максим Осипович начал внушать «его превосходительству» о древности северного мореходства.

Зимою Максим Осипович хвалился перед приятелями:

— Я себя не сконфузил. Энгельгардту неинтересно слушать о голых алипутах Африки. Он сам это видел. А вот встретили мы у Терского берега лодью, и я говорю: «Обратите внимание, ваше превосходительство, на этот тип судна. Это праотцы российского флота». И начну ему сказывать от книг, от старых, что помню.

— А он что, губернатор? — осведомляются слушатели.

— Он на ус мотает. Вот увидите, друзья, и наше сказанье попадет в писанье.

В 1896 году вышла книга Энгельгардта «Северный край», посвященная его путешествию по Северу. Упомянул ли автор вдохновенного помора Лоушкина, вспомнил ли его сказания? Вспомнил и упомянул в двух словах:

«...наше судно вел М. Лоушкин, любитель поболтать».

— Знать, час наш не пробил,— вздохнули поморы.

Приблизительно в 1900-м году в Архангельск пришла весть из Норвегии, что послы Петербургского комитета помощи поморам обивают пороги у норвежских судостроителей. Просят сочинить проект промышленного парусного судна, по которому могли бы учиться русские судостроители-поморы.

Слухи оказались верными. Уполномоченный комитета Брейтфус привез норвежские чертежи в Архангельск. На собрании поморы задали Брейтфусу ряд вопросов:

— Зачем было ходить на поклон к варягам? Разве на севере России нет своих опытных судостроителей?

— Заказывая иностранцам проект промыслового судна, имел ли комитет понятие, что таковому судну не должно чуждаться льдов, ни бояться заходить в отмелый берег?

Эти принципиальные вопросы поставлены были плеядой М. Лоушкина, и они остались без ответа.

Зато Брейтфус говорил о том, что и «ваш великий земляк Ломоносов ездил учиться в Германию. И великий Петр учился кораблестроению у голландских мастеров».

— Вы, поморы,— говорил Брейтфус,— плаваете по памяти, по дедушкиным приметам, а на Западе уж за сотню лет существует морская наука и морские книги...

Максим Лоушкин не стерпел, прервал оратора.

— Господин Брейтфус,— загремел старый помор,— а не будут ли наши морские книги постарше западных?!

С этими словами он выложил на стол древний рукописный морской устав.

Брейтфус был приятно удивлен, но, очевидно, все

еще не пришел час, чтобы петербургская наука обратила внимание на свидетельство поморов, опросила бы их и занялась собиранием древних поморских документов.

Через несколько лет, когда в Петербурге подготовлялись к печати лоции Мурманского моря, Белого моря, в Архангельск приезжал составитель лоций Арский (или его сотрудник). Секретарь Губернского статистического комитета Голубцов с энтузиазмом отыскивал для них по городу поморские рукописные лоции.

Некоторый отзвук о том, как использовала комиссия Арского материал Голубцова, отзвук невнятный и односторонний, привелось мне услышать уже после революции там же, на родине, на выставке, посвященной культуре Севера.

Среди пышно разрисованных книг выгорецкого письма XVIII века выделялись скромным своим видом «Книга морского ходу» Федора Вешнякова и «Лоция» Ивана Лодемского.

Из случайного разговора я узнал, что как раз из этих тетрадей были некогда сделаны выписки сотрудником Арского. Но в печатном издании первоисточники не названы.

Опять, значит, если «наше сказанье и попало в писанье», то без помину запечатлено, скрыто в литературном изложении.

К рукописной литературе Севера я никогда не подходил как историк-исследователь. Я не на том коне ехал. В юности выискивал в старой книге живой фабульный рассказ. Постепенно начал я замечать и ценить образность и оригинальность языка. В старых книгах замечал только картины живой жизни, старался увидеть живых людей.

В силу такого моего умонастроения любое северное предание, слышанное из живых уст, запечатлевается во мне ярче и сильнее, чем любой письменный документ.

Да и все мы, младшее поколение «морского сословия», любили больше устный пересказ, то есть предание, а не писание.

Но и учителя наши, скажем, Лоушкин и Анкудинов, хотя и верно передавали «вытверженное по тетрадям», но зачастую тетради эти были в их руках лет пятьдесят назад. И хотя Лоушкин сохранял в переда-

че, скажем, «Софии Новгородской» славянизмы «абие», «бысть», «убо» и т. п., все же это было уже «устное предание».

Будучи таким же начетчиком, как Лоушкин, Анкудинов любой книжный текст излагал живой, искрометной северной речью. Рассказы Анкудинова о морской старине, взятые из морского писания, звучали совершенно так же, как его былины и сказания. Но дух истории, как старое вино, благоухал в рассказах Пафнутия Анкудинова.

В нашей семье рассказывали, что какие-то «одновытные чиновники», слушая Анкудинова, отозвались: «Не знаем, богослов ты или баснослов. Кому такое нужно?»

Анкудинов отвечал словами былины:

Я сказываю нашему морю на ути́шенье,
Добрым людям на услышанье,
Пустоперым воронам на пограянье,
Лайчивым псам на полаянье.

Ярким представителем «морского сословия» в следующем поколении, человеком, остро чувствовавшим богатство северной культуры, был известный мореходец-полярник Владимир Иванович Воронин. Деятельность его принадлежит советской эпохе, и в нашем поколении он, может быть, больше всех знал и живее всех умел передать унаследованное от отцов художественно-историческое слово.

Недалеко от Сумского Посада, родины Воронина, находился скит, богатый рукописными книгами. Еще в молодые свои годы, собираясь писать историю родного берега, В. И. Воронин говорил:

— Соловецк, Пертозеро, Сорока — вот мои архивы.

Отцы наши поморы не дожили, не дождались того времени, когда русское имя вновь станет «честно и грозно от Запада оли до Востока».

Но отцы северного мореходства не завещали ли нам рассказать о них?

Если ты северному мореходству рожденный сын, а не наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, свою любовь к Родине сказаньем и писаньем.

Если я рассказал мало и неполно или что забвеньем спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим мою скудость.

ОТЦОВО ЗНАНЬЕ

ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.

В море до́лги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег.

Гремят голоса, как голоса многих труб,— голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится.

Глубина океана — стра́шна, неме́рна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.

Полуночная наша страна широ́ка и ди́вна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг.

Ветер стонет, а вам — не печаль.

Вихри ревут, а вам — не забота. И не страх вам туманов белые саваны... Спокойно вам, дети постановных матерых берегов; беспечально вы ходите плотными дорогами.

А в нашей стране — вода начало и вода конец.

Воды рождают, и воды погребают.

Море поит и кормит... А с морем кто свестен? Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща судьба всем.

Ростят себе отец с матерью сына — при жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу.

А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик.

...Парус отво́рят, якорь подымут, сходенки снимут... Только беленький платочек долго машется.

И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет.

Встанет мрачная осень. Она никогда без бед не проходит. Ударит на море погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мячом, играть, а в корабле — друг наш, мáтерина жизнь...

О, какая тьма нападет на них, тьма бездонная!

О, коль тяжко и горько, печали и тоски несказанной исполнено человеку водою конец принимать! Тот час многостонен и безутешен, там — увы, увы! — вопиют, и нет помогающего...

Придет зима и уйдет. Разольются вешние воды. А друга нашего все нету да нету. И не знаем, быть ему или не быть. Мать — та мрет душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты.

А потом придет весть страшна и грозна:

— Одна бортовина с другою не осталась... А сына вашего, а вашего друга вода взяла.

Заплачет тут вся родня.

И бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к Студеному морю причитаючи:

Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Ты был как кораблик белопарусной.
Как чаечка был белокрылая!
Как елиночка кудрявая.
Как вербочка весенняя!
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Белопарусный кораблик ушел за море,
Улетела чаица за синее.
И елиночка лежит порублена,
Весенняя вербушечка посечена.
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!

От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвиг. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.

Приедем из города в карбасе. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными грабельками: руками — долго,— и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачными покрыты.

Где лес, тут и комара,— в две руки не отмашешься.

Обильно всем наше двинское понизовье. На приглубистых, рыбных местах уточка плавает, гагара ревет, гусей, лебедей — как пены.

Холмогорский скот идет от деревень, мычит — как серебряные трубы трубят. И над водами и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце!

Мимо деревень беспрестанно идут корабли: к морю одни, к городу другие. И к солнцу парусами — как лебедь.

Обильна Двинская страна! Богата рыбой и зверем, и скотом, и лесом умножена.

В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.

Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.

Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало. Говорим: «Умрем, дак выспимся», «Изо сна не шубу шить».

С августа белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.

От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.

Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.

По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.

Тогда звери находят норы, и рыба идет по тихим губам.

Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит и суда морские у пристаней с якоря рвет.

Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало в лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.

Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут и саням — путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. Тоже и по вешнему льду коней роняют.

Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище, бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.

В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь,— время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные,— заиндевели, закуржéвели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.

На ночь звезды, что свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.

Слушайте, какое диво расскажу.

В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать... Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.

Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза — по полу, по стенам бегают светлые тени. А за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.

Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.

У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, исполнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.

В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки кряду оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.

Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет... Горожане — чуть свободно — на угор, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду... В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до ученья, не до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.

Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, пе-

чи размокнут в низких домах. В городе как услышат— из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами, с цветными фонарями и в масках.

Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень; на заводах снимает лес со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть не́как, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях, крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали «обрубы»— бревенчатые городки: обороняют от больших весенних льдин.

Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят ту ночь: моты, портна хватают. А проспят — все илом, песком занесет, а то и в море утянет.

Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата, потом и мутница и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенный. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда Обводный канал со всеми канавами разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся, один перед другим хвастают: у кого кораблик краше и лучше; пускают кораблики по бегучим каналам.

А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся, ребята постарше в лодках, карбасах меж кораблями, пристанями, меж островами живут.

Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или «полая» и «кроткая». Эти две воды — дыханье моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико: пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим: «Вода прибывает».

И подымается лоно морское до заката солнечного.

А наполнив реки, море как бы отдыхает; мы скажем: «Вода задумалась». И, постояв, вода дрогнет и начнет кроте́ть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим: «Море вздохнуло».

Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна «суво́й».

С полдня много дорог пришло в полуночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в недоведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали да гадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега, и земли, и острова, куда прежде чаица не залетывала, палтус-рыба не захаживала.

Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете.

С малых лет повадимся по пароходам и отступиться не можем, кого море полюбит.

А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно льяло льются, не все моряки. Людно народу на лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит.

Улицы в Архангельском городе широки, долги и прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строенья, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фаса-

ду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами.

Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым — весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступанье по доскам расходится по дереву, оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам.

Середи города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда встарь выгружали заморские «гости» — купцы — свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником; когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами.

Город прибавляют ко мхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на мхах — к тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам — подымает низменное то место. Потом набьет свай да и выстроится. Где вчера болото лежало, на радость скакухам-лягухам болотным, нынче тут дом стоит, как город. Но, пока постройкой грунта не огнéло да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толсты, долги, и плотники — первый сорт. Дом построят — как колечко сольют; однако слаба почва только на мхах, а у старого города, к реке, грунт тверд и постановен.

Строительный обычай в Архангельске: при закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли, пировали вместе с плотниками. Называется: «окладно».

Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощенье: «матешно». И третье празднуют — «мурлаты», когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют да сверху князевое бревно утвердят, опять пирогами и домашним пивом плотников чествуют, называется «князевó».

А в домах у нас тепло!

Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег. или тлящий мороз,— дома все красное лето! Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белы и чисты. Приди хоть в кухню да пол глаженым носовым платком продерни — платка чистого не замараешь.

По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают.

У печи составы: основание печное называется «нога»; правое плечо печное — «печной столб»; левое плечо —«кошачий городок». С лица у печки —«чело», и «устье», и «подпечек», с боков «печурки» выведены теремками. А весь «город» печной называется «тур».

«Архангельский город всему морю ворот». Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.

С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.

В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбасá.

Кроме «Расписания» и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек.

Непременно на каждом корабле есть компас — «матка».

Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина.

Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время бы-

ло позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно...» — сказал да и удрал с корабля.

— Всю ночь я не спал,— рассказывает Люлин.— Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы — и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу — пусто! Ушли корабли! Увела! Через двои сутки телеграмма: «Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья».

Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:

...А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхие бояре родом-племенем,
Кособрюхие дьяки большой грамотой,
Корабельщики хвалились дальним плаваньем,
Промысловщики-поморы добрым мастерством:
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовщане-ти, устьяне промысловые
Мастерят-снастят суда — лодьи торговые,
Нагружают их товарами меновными
(А которые товары в Датской надобны),
Отпускают же лодьи-те за синё море,
Во широкое, студеное раздольице.

Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов.

«Всякий спляшет, да не как скоморох». Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович.

Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш Гандвиг.

Засвистит в парусах уносная пóветерь, зашумит рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину:

Высоко-высоко небо синее,
Широко-широко океан-море,
А мхи-болота — и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской...

Кончит былину богатырскую — запоет скоморошину. Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают — как мед пьют. Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут — мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори... Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим... Дале один по одном засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори...»

Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой: «С вóрона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».

Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.

ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Мама была родом из Сóломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было нéкак. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Щеголь...

— Машка, ты это к чему?

— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет...

— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать... В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь...

Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончалась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит...

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите тут?

— Малину беру...

А уж о Покрове... Снег идет.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!..

— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему...

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица» — миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции... Помолчали, гость вздохнул:

— Вы все с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь?..

— Ни за царя, ни за князя не пойду!

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошла бы?

Она шепотом:

— За тебя нельзя отказаться...

В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.

Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!
Спи-ка, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...
. . . .
Бай,бай да люли!
. . . .
Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедошку.
. . . .

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.

Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь... Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у меня всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторонится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение.

Я раз спросил:

— Папа, машина-то, она самородна?

Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки! Что на море-то делается... Папа у нас там!

Я утешаю:

— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.

А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.

В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями.

Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет...» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы, вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, постой-ко, постой!

Он лошадь остановил, ждет, недоумевает...

Я выбежал за ворота.

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать...

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще...

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка... Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к две-

ри лопаты да ухваты — странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти.

По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют — отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята! Эвон де орда-та!

Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех — шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают,— честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий... И тут увидит из соседей старик ли, старуха — с розгой к нам треплют... Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!.. Мы опять кто куда — в подпечек, на нолати, под крыльцо. Час-два там сидим.

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке

указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.

Для памяти я и декламирую:

Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,

Глаголь — крючки,
Добро — ящички.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ) еры (ы) — упал с горы.
Ер, ять (ять) — некому поднять.
Ер, ю — сам встаю.
. . . .
А и Б сидели на трубе.
. . . .

Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно не грузно.
А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:

— Выучишься — ума прибудет!

Я таким недовольным тоном:

— Куда с умом-то?

— А жизнь лучше будет.

Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе. Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек.
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

МИША ЛАСКИН

Это было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плавание.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся

волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

Миша засмеялся:

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ёрш, куда ползешь?

Он зачерпнул свободной рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться» — и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу но голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал.

Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремляются к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила не дешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.

Вздохнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу столетовалую премудрую, под названием «Морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия. Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед, и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай,— говорим,— сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише — и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

Вѐрпаховский похвалил работу и сказал:

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный,— сказал Миша,— эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!..

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.

Старчище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».

МУРМАНСКИЕ ЗУЙКИ

Зуек, или зуй,— наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота: чтобы сынишка и семье помог и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды,— пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навыкать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом до́ма — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуек бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки сто́льничают и ча́шничают с шитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят браты́ни с

квасом и брагой. Обедает зуек с хозяйкой, после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.

Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком, и плачет, и поет:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубочек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!
Беззаботные годочки прокатились,
Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете траву шелкову
С поля убираю,
Не в дороcте моего рожоного
В работушку провожаю...
Всхожее ты мое солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумыват,
Ребяческо сердечушко запобаливат!
. . . .

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался,
Ты ждал, дитя, дожидался
От отца веселого покликаньица,
От матери тихого побужаньица,
От брателка ключевой воды,
От сéстрицы полотенышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.

Слушая мать, и парнишка всплакнет.

После обеда на жальник сходят (на кладбище), с родными проститься.

На пристань идут, каждому нищему подают:

— Нате-ко на пóветерь.

И все встречные и поперечные отъезжающим пóветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом,

и... вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море!

Матрос песню запоет, в гармонь заиграет,— смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской, ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из заше́йка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в го́ломень летит.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают... В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесет:

— Из Стокго́льма в Архангельской!..

Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили!

Зуйки опять за дело: медные котлы начищают. Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся:

— Роши шкуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!

Зуйки из себя выходят, кричат:

— Роши шкуна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль! Елефан трунк друнк!

. . . .

С тем и разминемся.

Бывает, что англичане корабельные сухари или «би́шки»-зуйкам бросают. Или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами отдаривают.

Норвежане встретятся — те спрашивают:

— Куры фра? Куры фра? (куды, мол, пошли?) Им отвечают, что на Мурман или в Данию.

Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. Тут всегда волненье, толкунцы.

Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане как чаечка маленькая. И подвигается на него «девята» — девятый вал, что всех больше... Вал черный, гребень белый — кружево белое на черном бархате. «Ну,— думаешь,— сейчас закроет — и все тут...» Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенка, да и спустит вниз. Только сердце екнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок; горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили?! Ух, коровы косые! Крепче кливер! Рочи́шкот!.. Ух, карасином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!!!

Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.

В непогодушку, когда старик океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хоро-

шую затрещину и заработает. Кончится шторм — юнга Бельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему:

— Ты что, Владимирко?

— Что... Глаз-то худо заоткрывался...

— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь... По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший...

— Любя... Теперь как на берег сойду! Ни погулять, ни девкам показаться. Ни котора на меня не обзадо́рится.

— На экого винограда чтобы не обза́рилась! Да ты первый парень по деревне.

— Первый парень... А где наряды-то? Ты много ли нашил?

— Ужо, не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников «хороший» был, а случалось на бедовых налетать. В шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев.

Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки рученьки
Болят по плечам,
Со воздыханьица грудь болит.
. . . .

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу, зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замараются, припотеют, а все с песнями:

Сам толку,
Сам мелю,
Сам и по воду хожу!
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катает — поет:

Уж и сею я муку
На полатях на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.
На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько ведер, взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы у поварят в саже. А всё с песнями. Один поет:

Три дня печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку...

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни квас —
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Чуть не угодят — и...

гроза. В наказанье на берег не отпустит. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как приведут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас нá берег не выпустил,
Тебя трясло бы, потряхивало,
Выше печи бы побрасывало
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалитися,
Во щах заваритися,
Пирогом подавитися!

. . . .

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлеба есть!

Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит...

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуек обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада. Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принес,— порозно!

Хуже всего тюки отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок-фóршней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколько долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров.

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:

Я вставал поутру-ввечеру,
На босу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел.
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб — не дошиб;
Другой раз шиб — перешиб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоет кто-нибудь один:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднéбесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

А с горы корова на лыжах катится,
Ноги рóсширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

На дубу свинья гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Малы деточки поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,

По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее? —
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан: из чашки ложками хлебают;
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут?—
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок этаких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую... А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет.

Ох, да во синем-то, да во широком-то
Раздольице, ох, да нодымалася погодушка
Немилослива.
А и плыли туры по синю морю,
Ох, да выходили туры на белы пески,
Ох, да им навстречу турица златорогая:
«Уж вы здравствуйте, туры, где вы
Были, что вы видели?» —
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась и не вихри
В поле солеталися. Ох, да подымался
Батый с Золотой ордой и со всею
Своей силою несметною...»
. . . .

На мурманских пихтах — утесах — гнездятся тысячи птиц — гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах. над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, че́рез плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

А дни — день за днем в работе,— как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы — поплывут на парусниках и на пароходах по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят. На верхушке мачты есть шарик — «клотик». Назначают состязание: кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу, на палубе, героя ждет премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (перекладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут — ничего потом не боятся.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дружки, Бо́рдики, Лыски, Ко́пы — приезжим на грудь скачут.

РОЖДЕНИЕ КОРАБЛЯ

Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века — Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров.

— Виват Ершов, Загуляев энд Курочкин, мастерс оф Соломбуль. Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет [1].

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордятся у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма и Емецк, и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.

Суда у нас строили: шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, ёлы мурманские, шнёки, карбаса морские и речные.

Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки — всё большие корабли, на них давно мода отошла.

На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в «Датску» — Норвегию.

Рассказывал: как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги непременно сосновые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны.

---

[1] Курочкин Андрей Михайлович (1770—1842); Ершов Василий Артемьевич (1776—1850); Загуляев Федор Тимофеевич (1792—1868) — знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер Архангельского адмиралтейства Поспелов.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только, какого она берега, скажет, но и каким мастером сработана, назовет.

Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон [1].

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и ёлы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя, и не однова докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, все раздает в долг без отдачи.

Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не ждан, не зван — подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией; все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

---

[1] Фамилия мастера **Вороушин**, но более известен он был под прозвищем **Тектон**, что значит Строитель *(Примеч. автора.)*

— Вези к новопостроенному судну. Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

— А нам не угодно... И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, подскочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось... И, опять тряхнув, бросил в карбас, ажно поддон заговорил.

Гуляки — на Конона с кулаками:

— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем учал палить и одной барыне обжег ухо.

И Конон, боясь головщины, открыл парус и сел за румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те припали до девок, как век не видали,— не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился:

— Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

— К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже.

И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу:

— Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять: зачем стройки не видно! И охотник опять палит, как дикий. А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков...

Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на залишке — небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке. И судно новопостроенное видать

не так далеко; только стоит на другом острову за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь...

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с палагушками.

А кто прав остался?

А Конон!

Хозяин, боясь, как бы мастер на гневе работы не покинул, тот же день причесал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:

— Сами себе они, страдники, страм доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил... Хы, хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было высвистнуть Конона Ивановича из города, да раздумали: кончилась японская война, начинались забастовки.

В те дни и годы отобралось маленькое стадышко низовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плаванья. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем.

И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и кокоры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

— Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

— У меня один свет в очах — Конон Иванович, да он сей год в Кеми завяз...

Было подумали на Пигина, кронштадтского мастера, он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода только палец покажет — он артельное дело бросит... Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с писемцем:

«Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большина наша!»

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали: не в Норвегу ли мастер убрался?

Тот же вечер отец собрал артельных:

— Как рассудите? Деды наши с осени строили, чтобы, зимой закончив, на вешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы...

Все зашумели:

— Радоваться надо, что прибыл, и все тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой. Я говорю:

— Что бы мастеру-то самому к нам приехать?!

— Так не водится. Он художник, он строитель... К добру ходят-то, не с добром.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.

Потом поздоровались в охапочку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные молодца тоже встали и поклонились. Один — быстрый, темноглазый, другой — светловолосый, конфузливый. Тогда пришли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Доро́гой я не утерпел:

— Про кораблик-то уж нисколько не поговорили...

— Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.

— Неужели они, папа, тройма трехмачтовый корабль поставить может? Подмастерья-то вовсе молоды.

— Годы молоды, да руки золоты. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едучи, отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

— Папа, тебе любо ли?

— Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают... А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.

На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сеням половики стлали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малехонько-редехонько и пил — только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько тысяч груза?

И отец ему учал сказывать:

— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой, два года назад. Дерева — не кривулины, не свили, не за́болони — настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгий час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел.

На следующей неделе отец с Кононом многажды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери:

— Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да ко́лобы. Мне его моряки поручили... А вы, робятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил.

Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль «Трифон».

На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план

судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля — киль.

На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение киля — упруги, или штевни; к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.

Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет, врастили ребра корабельные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.

Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.

Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски парили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.

Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями — нагелями.

Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали.

Потом все проконопатили и просмолили.

Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон! В то время распута прошла и ожили реки.

С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы — бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утробу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.

Шла работа — только топор посвечивал. С утра со всхожего и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.

Когда «Трифон» строился, уж я там спал и лежал. Хоть до кого доведись, каждому любо поглядеть, как корабли родятся. Да и к Конону старого и малого

как на магнит тянуло. Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.

Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.

В тихий час, в солнечную летнюю ночь сядет Конон с подмастерьями на глядень, любует жемчужно-золотое небо, уснувшие воды, острова — и поет протяжные богатырские песни. И земля молчит, и вода молчит, и солнце полуночное над морем остановилось, все будто Конона слушают... А Конон сказку расскажет и загадку загадает:

Дочь леса красного,
Возраста досельного.
Много путем ходит,
А следу не родит...

Это что?

Мы с Олафом молчим. Он еще русской речи в тонкости не разумеет, я умом вожу, не знаю, к чему примениться. А Василь, быстрый, схватчивый, скорехонько бякнет:

— Лодка!

Конон Иванович, родных сыновей потеряв, любил, как детей, своих помощников Василька и Олафа. Кроме кораблестроительства учил их языкам, английскому и немецкому, рисованию, математике и черчению, работе с морскими картами, с лоцией. Олафа Конон привез из датских городов, и тот до смерти не отходил от него. Олаф уж не похож был на гулящего парнишку. Не помянет молодецких дел, хотя и бритву накладывал года три. Ему гулять не надо, нарядов не надо, не попросит уж костюма. Он и не знал, что в торгу костюмы есть. Такой не щеголь был.

Олаф со мною перво молчал. Я спросил:

— Что молчишь? Родом такой разве?

Он тогда рассмеялся. Да и с мастером Олаф больше помалкивал, а Василь придет и — разговору! Василь пьет и ест — и все говорит, не перестает, как гулял да с кем гулял.

Олаф брови насупит:

— Как хочешь — мне это не надо.

Василь недоверчиво:

— Хм... Бреешься, дак кого-ле приманиваешь. Свои и так никуда не деваются.

Олаф первый у корабельного дела помогал и всему научился, что учитель знал. Так почитал мастера Олаф, что и хлеба без него не ел.

Другой, Василь, ученик был на все талантлив, ко всему горяч, жаден на всякое добро и неистов на зло. Временем бесчинствует и мастера ничем зовет; до того дойдет — унесет с корабля дорогую какую вещь и продаст и прогуляет. Да укараулит пароход английский или норвежский, упромыслит себе приятелей таковых, каков сам, и в портовых притонах ножи кровью поят из-за подруг.

Дойдет дело до властей, и Конон по судам ходит, штрафы платит, стыдом лицо кроет перед людьми, которые лицо его честное и видеть бы недостойны. Кто Конона Ивановича любил да знал, те за него оскорблялись и на Василя были в кручине, что учителя не бережет. Однажды, когда Василь подвел мастера под ответ и дело попало в газету, мать моя, заплакав, сказала:

— Ты, Конон Иванович, как река без берегов, не только человека, а и скота напояешь.

А Конон ласково:

— Хоть и вор, да мой, дак и жалко.

. . . .

А погодя Василь опять придет к мастеру, и зовет, и рыдает, и просит Олафа. И Олаф приложит к слезам слезы. Конон, видя бледное Василево лицо и синеву под глазами, вспомнит родных сыновей, сокрушится сердцем и пожалеет. И отерев Василю последнюю слезу, начнет ему добром говорить:

— Ты теперь в совершенных летах. Поезжай в Датску на верфи. Ты, Василь, талантлив, учись. Я тебе и письма дам заручные...

И Василь ухватит мастера руками, закричит:

— Я в вашей хочу быть воле! Не надо мне датских!..

Значит, опять работают вместе. На вечерней заре сядут у реки. Олаф справа, Василь слева. И руки мастера, каждый свою, держат. Перед Кононом на береговой свае книга, Шекспир или Свифт. Читает вслух и заставляет учеников переводить.

А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье; если на ближнее, в своем море, то две.

Передняя — фок-мачта, средняя — грот-мачта и задняя — бизань.

С носа от форштевня уставился бушприт.

И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.

В оснастке весь стоячий такелаж завели по-богатому — из четырехпрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий — из обыкновенной, трехпрядной.

Да в ту же оснастку корабельную блоков одношкивных и двушкивных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скул к носу, где хлюсты — ноздри корабельные, навернули цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.

Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины покованы медью. И оконцами посветить «Трифону» не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.

Потом судно до ватерлинии окрасили красно, а побочины — ярью зеленою и белилами. А у носа и по корме золотыми литерами — имя «Трифон».

Кратко сказать — все было крепко и плотно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.

Кто посмотрит, глаз отвести не может.

А медь сияет на солнце!..

Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.

Последний день августа завелась у нас стряпня. И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городках, у вод глубоких, у песков рудо-желтых, украшен, как жених, а река под ним как невеста.

...Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени

и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит.

И мы на ответ кланялись равным образом.

Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку, и повел вокруг судна, и, обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.

В то время вода заприбылá, стала на мерную степень, да пал ветерок береговой.

Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.

В то время у старосты пуще всех сердце замерло... И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прянуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.

А отец смеется:

— Что ты, воронье перо, вострепещился?

Мастер, поднявшись на палубу и став на степень, говорил:

— В чем не уноровил и не по вашему обычаю сделал, на том простите.

Все к нему стали подходить и поздравлять в охапочку.

А «Трифон» покачивался на волнах — видно, и ему любо было.

Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол, ширяся на ветрах.

Все песню запели:

Встаньте, государи,
Деды и бабы:
Постерегите, поберегите
Любимое судно,
Днем под солнцем,
Ночью под месяцем,
Под частыма дождями,
Под буйныма ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменья.
Вот тебе подарок:
Белопарусной кораблик!
. . . .

И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.

На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домой плыли — только мама, да Конон, да еще трое-четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили — и на гору подняться наши гости не могут, заходили по взъезду на четвереньках. Вот сколь светлы были.

Конец сентября отец отвел «Трифона» в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.

А придет весна-красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с трескою и палтусом.

НОВОЗЕМЕЛЬСКОЕ ЗНАНИЕ

Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар.

Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.

Бывало, я спрошу его:

— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?

Он неизменно отвечал:

— Сто лет в субботу.

Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька», или «Викторко». Я и пеняю отцу:

— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?

Отец засмеется:

— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки начал проходить.

— Батя, как же он тебя учил?

— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание [1] брали с практики. Я расскажу тебе о первом мо-

[1] Плавание по Белому морю, Северному Ледовитому океану и их заливам требовало большого опыта и знаний. Наука кораблевождения в той или другой части Белого моря и океана обозначалась у поморов термином «знание». Различались новозе-

ем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились...

Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.

Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.

Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.

Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш шел подряд два дня и две ночи, шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:

— Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту.

Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.

Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.

мельское знание — умение водить корабли вдоль западных берегов Новой Земли; двинское и соловецкое знания — вождение судов в сложном фарватере Двины, среди многочисленных островов и шхер. *(Примеч. автора.)*

За обедом ученики Ивана Узкого говорят:

— Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: «Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там». Дня через три кормщик говорит: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет». А вчера, в канун вашего прихода, высказал: «Завтра, в час большой воды, можно ждать гостей...»

Прямо как колдун читал по тайной книге.

Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:

— Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство.

Анкудинов стал объяснять:

— Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.

Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?..

Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.

Как мог я в точности определить место вашей стоянки?

Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии четырехсот верст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.

Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».

Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов,

учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.

День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством.

На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю.

Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промыслы, брали с собой на корабль песню и сказку.

Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель идти на Новую Землю бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни. Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.

Дула праматерь морская — пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!

Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»

Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвенной стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер-полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!

Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Коли зверя-то,

стреляй! Вей золото в клубок. Женок, невест с экой добычи в шелк и в бархат оденем!»

До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.

Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: «Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».

Староста нас и клял и ругал. В последнюю минуту с нами остался:

— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стрелена. Твори, бог, волю свою! Вы с меня волю сняли.

Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На здвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи, будто саван белый спустился. Тихо припало... Заболели сердца-ти у нас. Защемило туже да туже.

Как-то спросил я:

— Староста, почто ты с лодьи книги снес — Четьи-Минеи, Зимние месяцы?

Он бороду погладил:

— Вдруг да кому, баюнок, на Новой Земле зимовать доведется... Они нам за книги спасибо скажут.

— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?

— Нет, дитя, от льдины...— И ласково так и печально поглядел мне в глаза.— А ты ладь, ладь гусли-ти. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.

Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник... Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень. И море увидел: белое такое... Лед, сколько глазом достать,— все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от... Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!

Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали. Староста говорит:

— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.

Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали-зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались. Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы.

Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно...

Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матерых. Перестали ходить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.

Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали, как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи».

С утра мужики шить сядут, приказывают мне:

— Пост теперь, книгу читай. Да чтобы страх был!

Слушают, вздыхают... А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оли до востока будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряные струны...

Вечером ребята песню запросят. Староста строго:

— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше ста́рину.

Сказываю Соловья Будимировича:

Из-за моря, моря Студеного,
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному,
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камню было по яхонту,
Вместо бровей было при́бито
По черному соболю сибирскому...

В пост на былину-старину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:

— Ну, разлилась масленица, затопила великий пост!

Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня было выучено.

— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.

Был у меня в артели друг, подпеватель Тимоша. Перед святками он замолчал.

Староста мне наказывает:

— Не давай ему задумываться!

Я заплакал:

— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!

— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.

Я Тимошу отчаянно любил, жалел:

— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок.

На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем.

Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.

— Староста, нам до праздника надо сыгровку делать.

— Играть нельзя, а сыгровку можно.

«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»

В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится...

У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает...

За старостой — стар и млад, ажно ветер по избе. И Тимоша с нами. Только я заметил: глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.

Я обниму его, реву над ним:

— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит...

Он рассмехнется:

— Ты не отдавай меня смерти-то.

Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти...

За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить... Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:

Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.

На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.

В сретьев день солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:

— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!

Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.

Друг друга разглядываем:

— Ты, баюнок, обородател!

— А ты поседател!

— А это кто, негрянин черной?

— Ничего, промоюсь,— краше вас буду!

И благовещенье, и пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На радоницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебе-

ди, и гуси, и гагары, и... все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!

На троицу в ночь будто орган заиграл, во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого.

По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит...

Мы, где эко место увидим, падем на колени, руками охапим:

— Мать-земля благоцветущая! Мать — сыра земля!

День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть...

Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:

— Парус! Парус! Парус!..

Подняло нас. Правда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика... Наши это! С Двины за нами идут...

Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.

ЕВГРАФ

Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там ревнителя искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву. Никогда я не видел его спящим-лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.

Евграф беседовал со мной, как с равным, искренно и откровенно.

Я восхищался легкостью, непринужденностью, весельем, с каким Евграф переходил от дела к делу.

Он говорил:

— И ты можешь так работать. Дай телу принужденье, глазам управленье, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд.

Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуюсь, удивляюсь: как они умели делать прочно, красовито...

Нагляжусь, наберусь этого веселья — и к своей работе. Как на дрождях душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела — на чужой успех полюбоваться.

ДЛЯ УВЕСЕЛЕНЬЯ

Владимиру Сякину

В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.

Льдина у Терского берега вынудила нас взять на восток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.

— Заповедь положена,— пояснил старик.— «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».

Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Иван и Ондреян, фамилии Личутины, были родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска. По штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме корабля. Изображался олень, и орел, и феникс, и лев; также кумирические боги и знатные особы. Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнод, или герб, того становища, к которому приписано судно.

Вот какое художество доверено было братьям Личутиным! И они оправдывали это доверие с самой вы-

дающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков.

К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу была у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.

На малой каменной грядке живали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола мокра́, дак брюхо сыто́».

И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семена дня, летопроводца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда.

Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от расхожих морских путей. По времени осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи черева — то и питание. А питье — сколько дождя или снегу выпадет.

Иван и Ондреян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.

Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменения не будет».

По обычаю надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то, приведется, случайный мореходец даст знать на родину.

На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.

При поясах имелись промышленные ножи — клепики.

Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званью — были вдохновенными художниками по призванью.

Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.

Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах.

Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.

На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьев. Золотистая доска в черных камнях была хорошей приметой. Племянник все обрядил и утвердил. Списал эпитафию.

История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся...

В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.

Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на веслах. В этот тихост-

ный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.

— Теперь где-нибудь близко,— шепчет мне Максим Лоушкин.

И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поет, с кем-то беседует... Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами как со дна моря всплыл. Камни вкруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли — это легкий прибой. Волна о камень плеснет да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят, как изваяния. Все как заколдовано. Все будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.

Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной, светлой тусклости неба!

Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.

Посредине доски письмена — эпитафия,— делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:

Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.

Осенью 1857-го года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своею оплошкой
Карбас утерялся со снастьми и припасом,
И нам, братьям, досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки...
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,

Мезенски мещана.
И помяните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана.

Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова —«для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел —«на долгий отдых повалились».

Проплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали.

Боялись — не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.

Да разве потеряешь?!

ПОКЛОН СЫНА ОТЦУ

Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал.

От юности до старости жизнь его прошла в службе Студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень корабельного мастера первой статьи. Ряд лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

Мы видели отца дома, в Архангельске, только зимо́ю. Прибежит в обед с верфи или из Мурманских мастерских. Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит — не убрано.

— Мне некогда. Машину пробуем...

За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может:

— Я устал. Я лягу.

Жизнь скоро скажется, а трудно тянется...

Я еще мал был, беда стряслась над нами: у отца жилы с правой руки машиной обрало и до смерти пальцы худо разгибались.

Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла: «Пароход «Чижов» у Зимнего берега разбит».

А на «Чижове» отец ходил... Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой.

Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как есть по-корабельному — и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет.

Лет семи начал я у отца проситься в море, а он не внимал:

— Рано тебе, свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет.

— Я рыбу хочу промышлять.

— Вот и промышляй у себя ложкой в тарелке.

Только на десятом году попал я в море до Мурмана.

Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдет отец на бор поохотиться, тут я ему закаблучье обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я юн забегал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать...

Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет:

— Праздное слово сказать — все одно, что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть... Прежде вечного спокоя не почивай... Слыхал ли, поют:

Лежа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.

И еще скажу — никогда не печалься. Печаль — как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь; а горе — упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели...

А и весело подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, ажно посуда в шкафу звенит. У Ледовитого океана, у Грозного промысла, без шуток да без песен и век проживешь — не усмехнешься.

А отец много на веку работы унес, много поту утер на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни ни в ночи.

В Мурманском доке у отца был кочегар — парнишка недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит:

— Молод, бедной... мне эдак-то смала пришлось... Теперь легче, теперь двенадцать часов. А пускай поспит.

Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации.

Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.

ИЗЯЩНЫЕ МАСТЕРА

ЛЕБЯЖЬЯ РЕКА

Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом — деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Того ради народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги — злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твое слово,— отвечали Губа и Щека.— Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под

снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в складчину-братчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы. Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни на песках у Лебяжьей реки сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей, мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы поослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить? Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, «тьмо-лимонный» да «светло-осиновый», голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять не надобно. У всякой ягоды свой скус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да стребовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожаленью, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили на том, что будут сыскивать вестей и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать не мешкая, для того что время горячее.

На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи пооскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столе́ц чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.

— Вот, Михайлушко,— толковал Федот талантливому пареньку,— вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домок-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье.

Муха — Горюха,
Блоха — Поскакуха,
Комар — Пискун,
Таракан — Шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.

Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек родится, чертить, да красить, да что-нибудь мастерить вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателя приманиваю, друга столько себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На

деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжаясь в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль...

Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился.

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, эких два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню...» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем...»

Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней водой Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.

Гуля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина

артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.

— Вот уж, Ананья да Маланья, Фома да кума, да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня.

— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть... Они и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланяться. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру.

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести... Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодежь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павлиены к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старина сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое нова тематика. Из артели парни шли и про каку-то «нову тематику» песню квакали».

Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.

Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.

— Ты это сделал?

— Я,— отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельным. Те смеялись:

— Иван Егорович, уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет, Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит... Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить — никоторый не перетянет.

Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо летние ночи на Севере светлы, как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом.

Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок чернильцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов,— готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый веничек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:

— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под

нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорила:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.

Мастер усмехнулся:

— Кобальт и ультрамарин... Краски добрые, а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно... Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор на приятное:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа.— А разумеешь ли ты силу и смысл письма?

— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?

— Это Слава с трубой,— улыбался старик.— Изображено «Пришествие Красного флота на Север...». Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:

— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божницу при освещении електричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать,— всхлипывает старуха.— Вылизарий-то кто?

— Оскорбленная невинность,—хмуро отвечал Губа.

Вскоре ему надоело жалобить самого себя:

— Председателя нет, щегольну перед артельными.

Разбирало любопытство: что-то наготовили для выставки?

Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иван? — удивилась жена.— Артель-то вся небось на пристани. Пароход пришел.

— Мели, Емеля... Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу... А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой.

— Ишь какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить... Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность каку-нибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю...

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку:

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно.

— Ничего, товарищи артельные... Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать...

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идет! Егорович идет!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.

«Ладно,— подумал Губа.— Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года...»

В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.

Иван буркнул:

— Некому меня там знать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели,— то в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.

Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.

Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился, и... слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез не видя Гулю Большакова, старик нашарил его руками и обнял:

— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не я украшение, это вы, молодые, великодушные, всемирное наше украшение!

Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул:

— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали — артельные в ладоши загремели, закричали:

— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович,— решено и подписано!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.

— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю,— скажет деревенская хозяйка,— а цветочки как сегодня расцвели. Щекина Ивана рукоделье!

Еще зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же, у морской пристани, узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — никоторый не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.

О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое сутки, обеспокоились: «Не захворал

ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился:

— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посек ногу топором.

— Умысел и хитрость... Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы приклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался умягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприпасали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: «Знать, мошну толсту набил, то и куражится». Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека.— Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под

крыльцом,— отзовусь я,— заместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться? — загремел старик.— Ты посольство править послан или зубы скалить?!

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок. вдруг да обойдется стариковское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок? Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними поспевал Федот.

Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухватив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу: «Ладно, приятели... Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо...»

Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:

«Кого же это народ встречает?.. Федот в красной шелковой рубахе... Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда... Не начальник ли какой в каюте едет?.. Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Ивана, гремя, покатилась по палубе... Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:

— «Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника...»

Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:

— Васенька, пройдем-ка в каюту. Сундучок пособишь снять.

В пустой каюте Иван спросил:

— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?

— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги.

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота... Пол-то платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твое именье,— объяснил Федот.— Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распорядители! Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, я этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищурив глаз, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали —«с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и на собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:

— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:

— Небывалый гость идет! Раскатись, моя поленница без дров!

Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька,— сказал Губа,— сколько годов мы друг по друге тужили?!

— Ванька,— отвечал Щека,— пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули... Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении Земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать, и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася... стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение... Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И... почувствовал себя учеником.

ДОЖДЬ

Эта оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по Северной реке причаливали к деревням, красили пóртна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:

— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.

Фатьян отмахивался:

— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-та река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что... Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.

Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали россказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход был в диковину не только деревенскому парнишке.

А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:

— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят: срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян,

полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.

Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.

Работали — как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:

— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет... Тогда куда мы, человеки разоренные и многодолжные?

Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:

— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.

Фатьян горячился:

— Один уеду! Околевайте без меня.

— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.

Приятели согласились неожиданно:

— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.

Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:

— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет.

Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!.. Столько товару нет, сколько пошлин правите».

В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:

— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.

Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну:

— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!

Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:

— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю... Какой державы будете?

— Верноподданный заморских королей.

— Чем изволите заниматься?

— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возьмите нас в компанию, и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и К°. Шикарно?

Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал:

— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные. Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званью и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.

Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо:

— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами... Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!

У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:

— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?

— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.

— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?

— Барыши пополам, мистер Фатьян.

— Слово дадено — как пуля стрелена,— сказал Фатьян.— Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал — крепче узла завязал.

У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:

— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?

— Для производства моделей. Недельки на две.

— К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделывай свои кадрели-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот какая: на чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.

— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!

Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:

— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.

Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:

— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.

Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:

— Они какой державы люди? Званья какого?

— Верноподданные заморских королей... А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.

Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну:

— Намешано у них в ведрах всякого сословия: желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает... И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. А сидят не со свечой: новомодный свет, карасин горит.

В конце другой недели Тренька доносил:

— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полнvю красу: сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.

Фатьян поскреб в затылке:

— Твори, господи, волю твою!

Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым.

— Портной гадит — утюг гладит,— стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем: опытный земляк ушел по должности в море.

Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.

Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:

— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.

— Из пены! — огрызнулся Пых.

— Хм... пена — дело легкое.

— У нас за морем из пены веревки вьют.

Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:

— Парохода вы домогались — получайте пароход!..

Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:

— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!

Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани.

Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затейку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску: «Пых и К^{0}. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них: взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.

Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще зазывает:

— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн кустюм! Три рубля комплект!

Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты»:

— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?

Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки сидел, как невеста женихов дожидаючи.

Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:

— Эй, бойся, копайся! Отеческим узором украшайся!

Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:

— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты как цветы.

Фатьян негодовал:

— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.

— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик...

Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.

Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.

Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной:

— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.

Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами:

— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись! Пленти мони вери гуд до добра не доведут.

Фатьян становил его:

— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.

— А ты спросил бы, дядюшка.

— Совестно.

Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых... Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища — версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в край моря:

— Теменцá заводится...

Заежилась древняя бабка:

— Не быть ли дожжу — вся дрожу.

Погодя старики опять проговорили:

— Гром гремит, путь воде готовит...

Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:

— Идут! Идут!

Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на бревнах запели:

Слеталися птицы,
Галки и синицы,
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.

Одночасно весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разнопестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И что

тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:

— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!

— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.

Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье...

И в те поры дожжинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заполивало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.

Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-та плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновенье вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросали в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.

Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:

— Ха-ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!

Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:

— Косматки вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.

Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:

— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья простить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.

Еще до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:

— Маврух в поход собрался... Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли де бабы меня трепать придут!»

— Пущай он хоть в утробу материю спрятался, и там добудем! — вопияли женки.

Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.

Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.

Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит.

— Вот дак мистер заграничный! Присчитается и мне на орехи. И я с ним в паю буду... Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.

— У тебя откуда барыши-то? — спросил Тренька.

— Да ведь половину барыша мне Пых-от посулил!..

— Ох, дядюшка Фатьян! Нет у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.

— За мою добродетель?!

— За твою дурость, не во гнев будь сказано.

— После дела всяк умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер.

Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела...»

Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки:

— Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти.

— У меня не кабак...

— Табак не надо... А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.

Так и сидел Фатьян до свету:

— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде...

На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:

— В воду посадить еретиков!

Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:

— Дедко, вчерашний Пых где?

— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.

— Ты смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя есть дело.

Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:

— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи?! Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.

Поняв, в чем дело, Сенька бородатый заревел:

— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?

Тренька заорал на обоих:

— Мужики вы или нет? Бежать надо!

— А товар как? — опомнился Фатьян.

— Ведь ты помирать срядился.

— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю,— торжественно сказал Фатьян.

Тренька уважительно поглядел на мастера:

— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ко сунутся которые... А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?

Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.

Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился; насупив брови, сел.

— Охо-хо!.. Ждать да догонять — нет того хуже...

Со стороны берега донеслись два пароходных свистка и вслед за тем крики, брань... Фатьян опять схватился за топор.

Прошел час. Фатьян простонал:

— Тренька, ради бога, сбегай, поищи бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!

Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:

— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.

Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.

— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?

Докладывать начал красноречивый Тренька:

— Ух, дядюшка Фатьян!.. Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат: «На секурс! На секурс!»

Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. Но мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:

«Вы что скажете, мистер каптейн?»

Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:

«Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснений на его товар. Это есть обычная матерний аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год».

Управляющий к народу:

«Вот что, женочки и девицы: вы в памяти, в сознанье эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуете да лижете: не марко ли, не линюче ли?.. Цену-то какую иноземец брал?» — «Три рубля за канплект». — «Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится... Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?» — «Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!»

Тут бабы и капитану словцо ввернули:

«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».

— Уплыл Пых-то? — спросил Фатьян.

— Угреб.

— Меня-то не помянули?

— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-от отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не

брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь»...

Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:

— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довезли.

Фатьян приосанился, прищурил глаз:

— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны, против модного базара не задорны...

Бабы застыдились:

— Карасином бы этот базар облить было да спалить!..

— То-то,— наставительно сказал Фатьян.— За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли, и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Земляную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою набойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасиба, другого слова не слыхал. Я не хвалюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведенье вековое-цеховое...

Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.

— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвел заморский пес.

Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску. Важно говорили:

— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.

Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:

— Мастер, как по-вашему, это виноградье нам к лицу?

Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи орнамент «попристальней».

Иноземцы торговали полтора дня, Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.

По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вкруг палатки, балаболили, хвастались покупками.

Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:

— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переворотить да опять носить!

Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:

— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили.

И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:

— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер...

Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.

Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».

И объясняют:

— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.

УСТЮЖСКОГО МЕЩАНИНА ВАСИЛИЯ ФЕОКТИСТОВА ВОПИЯЩИНА КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей.

Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — дёру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и празд-

ничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из «Родины» и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно.

Пятнадцати годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева, каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке.

Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за пять рублей в месяц.

С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи: теперь кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством.

Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавши в обучение к маляру Ионе Неупокоеву?!

Истинно был Неупокоев: на одном месте не любил сидеть.

С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологоцкой и Архангельской губерен. Иону ничто не держит: ни дождь, ни снег. Он все идет да едет. И я за ним, как нитка за иголкой. Окроме всякого малярного поделия, как-то: левкас, окраска, отделка под мрамор и под орех,— с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на Севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи.

Поновляли божество и писали изнова, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма.

Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять

владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье, под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманным оком караулило нашу работу местное население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов.

Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Перьвой мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удерьгивали из рук роботу или заказ.

Самозваный художник, а по существу малярешко самое немудрое, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории, якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту:

«Де мортуи нпзиль ни бебэне». Но таково было повседневное поведение самозваного Варнашки и К⁰. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме божием, где имели пребывание по месту работ! Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекание проживающих деревень.

Но, мастер призва́нный, а не самозваный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязях, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах, тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.

С Ионой Терентьевичем ходил я десять годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить.

Преставился в 1895 году в городе Каргополе.

Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом: одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только ко краскам да кистям, к столярным

да к щекотурным снастям, а не ко граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал.

Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел милиатюрное письмо, так что предельная величина не превышала зенадцать вершков, каковым портретом занимался среде мещанства и торгового сословия.

Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее.

Иона для сортовых писем холстинки накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кардонку да, наведя тонкий левкас, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать — много обрядни. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездряным или рыбным клеем, оказывало как дощечка.

Такого рода живопись на паволоке имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Верпаховского в Рыбопромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа два шкапа на красках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельской город с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов.

У иконного письма теперь такого рачения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки.

Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов».

Я тогда не доспросился, а видимо, господин Менк понял: потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил.

Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись как под стеклом. Но и краска дол-

жна вмереть в дерево, в левкас. То уж письмо вековое. Правнуки подивятся.

— Ишь,— скажут,— прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужектами: вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски во льняном масле.

Но возьмем предметы благородной страсти господина Верпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперича годов по девяносту и по шестьдесят. Но они сохраняют следы былой красоты.

Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописный стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу.

Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах.

У стоющей работы сухое дерево приклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуринку загладим. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи.

Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И, по просу́хе, лощить зубом звериным, чтобы выказало как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки нехороши.

Как деланы были шкапы на морское собрание и у чела писал панораму соломбальского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу: «Бомбандирование Соловецких островов от английской королевы Виктории в 1854 году». Писано яичными красками и самой изящной работы.

ПАФНУТИЙ АНКУДИНОВ

Быт и искусство архангельского Севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской. Поморянин, поэтически

одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии — песню, сказку, былину. Но в этом стиле, в этой стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности.

Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывал со своим бытом и укладом.

Отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печорцы, мезенцы, двиняне, онежане, кемляне непременно подряжали с собой сказочника, певца былин на очень выгодных, сравнительно с рядовым промышленником, условиях.

Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причетов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья («муж утонул в море» и т. д.), тут же, не отходя от домашней обряди, коров, складывает она песню-плач. Далее со всем родом погибшего выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором... Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленицы, пронзительный напев — картина незабываемая.

Весь народ северный вдохновенно отдается всякой игре, всякой обрядности — «театру для себя». Любимая пословица: «Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть».

Украшают песней любую работу. Например, звякая ножницами, поет портной:

. . . .
Вынимаю солодóново сукно,
Солодоново с россыпью.
Шью (имя заказчика) кафтан.
Чтоб он не долог был,
И не долог, и не короток.
По подпазушке подхвáтистой,
По середке пережáмистой,
По подолу растрýбистой.

Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.

Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпали перед своими учениками и

перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.

Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца. Пафнутий Осипович что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали,— плачем.

По древним крюковым нотам рыдально выпевал он страшные вопли покаянных opus'ов Ивана Грозного:

Труба трубит,
Судия сидит,
Животная книга
Разгибается...

По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, эво»:

Дэнэсэ, весна благоухает
Ай, эван! Ай, эво!

Старые манускрипты, разбросанные на Севере, были преимущественно светского содержания. Это — «антологии», «диалоги», «мелисса», «хроники» — литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особой речитативной мелодией. Считалось невежеством читать «хронику» напевом новеллы из пролога.

Глухая бабка умиляется, бывало, на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги, а книга-то «Семидневец» («Гептамерон» — родной брат «Декамерону»).

Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось Белое море — пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет «время наряду и час красоте». Запоет наш штурман былину:

Высоко, высоко небо синее;
широко, широко океан-море.
А мхи-болота — и конца не знай
от нашей Двины, от архангельской...
. . . .

Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину... Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю,

столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают, как мед пьют.

Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду — на полатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отечеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори... Вечером народ соберется, я засказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим... Дале — один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори...»

В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.

Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:

Не грозная туча накатилася,
Ударили на Русь злые вороги.
Города и села огнем сожгли,
Мужей и жен во полон свели...

Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рог-рупор и звонко кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте, государи!

Шкипер встречного судна спрашивает:

— Далече ли путь держите, государи?

Анкудинов отвечает:

— От Архангельского города к датским берегам.

И встречное суденышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами.

И опять только ветер свистит в парусах да звучит размеренный напев былины:

А и ехал Илья путями дальними.
Наехал три дороженьки нехоженых.
На росстани Алатырь — бел горюч камень,
На камени три подписи подписаны:
Прямо ехать — убиту быть,

Вправо поедешь — богату быть,
Влево ехать — женату быть.
Тут Илья призадумался:
— Не поеду я дорогой, где богату быть.
Богатство мне, старому, не надобно.
Не поеду дорогой, где женату быть,
Жениться мне, старому, не к чему.
А поеду я дорогой, где убиту быть,
Любопытствую увидеть, как меня убивать будут. —
А и едет Илья прямой дорогою.
По дороге накрыла ночка темная.
Добрый конь идет, не спотыкается:
Что по сбруе у коня камни-яхонты,
На дорогу светят, как фонарики.
Подводит дорога к лесу к черному.
В том лесу застава зла, разбойничья,
На дубах сидят разбойники, как вороны,
Под корнями караулят, будто ястребы.
Разбойники Илью заприметили,
Со высоких дубов стали прядати,
Из-под дубовэ коренья завыскакивали,
На Илью они стаями насунулись,
Ладят богатыря с коня снести.
От седла Илья отхватывает палицу,
А и весу в этой палице девяносто пуд.
Вздымет, вздымет палицу выше могутных плеч,
Ударит палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо и влево стал нахаживать,
Разбойницкую силу стал настегивать.
Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету!..
Валятся разбойники увалами,
Увалами ложатся, перевалами.
Не осталося в живых ни единого.
А и эта ночь кромешная скороталася,
Утренние зори зарумянились,
Над зорями облака закудрявились.
Снимал Илья с головушки свой златой шелом,
На все стороны стал Илья отслушивать...
Тишина, тишина безглагольная.
Только слышно, край дороги ручеек журчит.
На лету птичка утренняя посвистывает,
На болоте сера утица покрякивает...

МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА КРИВОПОЛЕНОВА

Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — Река Пи́нега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север еще в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала:

«Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезéни чудь жила: народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волос тонкий, как лен белый или как сноп желтый.

Мы, русские, еще для похода на Пинегу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чудь знала, что русь идет,— раньше здесь леса были только черные, а тут появилась березка белая, как свечка, тоненькая.

Вот мы идем по Пинеге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перёные, а чудь молча, без спору давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались.

Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки — они любопытные. Им охота посмотреть: что за русь? Похожа ли русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что русь мимо пробежала:

— Ах мы, дуры, прозевали!

Для увеселенья и запели свою песню. По сказкам-то, никому во вселенной чудских девок не перевизжать.

Было утро, и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали:

— Вот наш берег: здесь сорока кашу варила. Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить...

В эту пору здесь у водяного царя с лешим царем война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь елки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шибал. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега...

Это все мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с девяти лет возраста внялась в его былины и до вас донесла».

Имя шестидесятилетней сказительницы Кривополеновой известно стало науке еще в конце прошлого

столетия. Но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности: «Не замогу работать, пойду побираться».

Побиралась, на свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Тем и кормилась до семидесяти двух лет!

В 1915 году отправилась на Север О. Э. Озаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву:

«Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу ее в Москву».

Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Не многоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова. Все, о чем пела она всю жизнь в былинах,— все оказалось правдой!

Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота,— она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали «бабушку Марью Дмитриевну». Шел 1916 год.

Помню ее выступление в большой аудитории Московского Политехнического музея.

Слушателей набралось до трех тысяч: студенты, гимназисты, художники, ученые.

Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодежь приветствовала ее рукоплесканиями и возгласами:

— Здравствуй, милая бабушка!

Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами на три стороны, по старинному обычаю:

— Здравствуй многолетно и ты, Москва, юная и прекрасная!

И зазвучала странная, непривычная мелодия, несхожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь.

Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Маленькая, худенькая, одетая в темный, старинного покроя сарафан, застегнутый сверху донизу на серебряные пуговки, в темном вдовьем повойнике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из дремучих лесов Севера, она не боялась многолюдной аудитории — наоборот, полюбила ее, чувствовала себя непринужденно и всегда и везде умела держать ее в напряженном внимании.

Слушатели воочию видели древних богатырей — Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню, слышали тяжелую поступь богатырских коней.

Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь:

В солнце знаменье страшное,
В полночь звезды хвостатые,
Пред зарями земля тряслась,
Шла Орда на святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По угóльным башням дозорщики...

И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.

Не раз приезжала Кривополенова в Москву.

Посетила Марья Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая — день ее начинался с четырех часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко,— обратилась она к окружавшим ее посетителям.— Жили-были преславные богатыри. Не сказка-побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела былину:

Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо, влево стал настегивать,
Вражью силу обихаживать...

Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой:

Трн года Добрынюшка стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врожденное,
Хитрость-мудрость природная...

В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что рад познакомиться с знаменитой сказительницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовет:

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!

Кривополенова сурово отвечает:

— Марья Митревна занята. Пусть подождет.

Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна наконец вышла:

— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы...

Марья Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством.

...Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы.

В 1924 году на Пинеге был недород, бесхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням.

Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоет петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки...

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.

СОЛОМОНИДА ЗОЛОТОВОЛОСАЯ

Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию.

Здесь передаю дословный рассказ пинежской крестьянки Соломониды Ивановны Томиловой, в замужестве Черной.

«Наша река Пинега выпала в Северную Двину. Тут леса дремучие, реки быстрые, обрывистые горы — берега.

Мы прибежали на Пинегу в те времена, когда татары накладывали на Русь свой хомут, значит, годов семьсот назад.

Наши мужья, сыновья уходили на промыслы. Мы, женки, девицы, сидели в своих деревнях, как приколочены. Я от юности до старости не бывала и в уездном городе.

Держали мы коров да овец. Промышляли семгу. Земля у нас нехлебородимая. Когда мужа взяли на первую Отечественную войну, я одна выпахала сохой поле, посеяла шесть пудов жита-ячменя. Сочти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от нее не отвяжешься. Посеемся, всходы зазеленеют, а ночью с моря упадет мороз, значит, своего хлеба не будет. Тогда мужики по первому снегу пойдут промышлять белку и куницу, каждый хозяин со своей собакой. Которая собака куницу понимала, та на белку не глядит. Бывало, что муж и брат по пятьсот беличьих шкурок выносили. Куница, белка, семга — товар дорогой, а скупщики платили дешево. Одевались мы пряжей: пряли лен, пряли овечью шерсть. Пряжу красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. Изо дня в день сидим за пряжей, за тканьем. Я, бывало, за один день вытку двадцать четыре аршина полотна.

Еще у нас, у девиц, у женок, летом была забота — ягоды собирать. Я, бывало, по два пуда черники вынашивала. В лесу и ночую. Чернику вычесывали из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубьями. Однажды беру чернику, ссыпаю в корзину и вышла на поляну, а передо мной медведица стоит с двумя медвежатами. Я прижалась спиной к березе, а медведица начала на меня плевать, потом стала мох драть, всю меня мхом залепила. А у меня с собой были спички, я и за-

жгла на березе ленточку бересты. А зверь огня боится. Медведица пнула ногой медвежат, они полетели в кусты, как мячики. И она за ними ушла.

Однажды проходили нашими деревнями ученые люди. Говорят: «Какая у вас природа прекрасная!» А мы работаем, не разгибаясь. Бывало, ужинать сяду, ложка в руках не держится.

Так и прошла моя молодость день за днем, год за годом. Одна была отрада: я в пятнадцать лет украдкой выучилась грамоте. Отец отпускал меня к одной уважительной старушке помогать по хозяйству, а она положит передо мной книгу. Книга в кожаном переплете с медными застежками. А я не знаю, как к книге приступиться, открываю книгу с конца. А старушка стала называть мне буквы, из букв складывались слова.

И я пристрастилась к книгам. Дома читать было нельзя: девке грамота ни к чему. А меня пошлют хлев чистить, я управлюсь быстро, из-за пазухи книгу выну, сижу около коровушки и читаю.

Исполнилось мне семнадцать лет. Маменька вынула из сундука свой подвенечный наряд, в этом наряде и бабка моя венчалась. От ворота до подолу круглые серебряные пуговицы, на голову стали прилаживать жемчужное кружево, в уши вдели жемчужные серьги. Вижу на себе подвенечный наряд. Спрашиваю: «Кого замуж выдаете? Почему на меня примеряете?»

Отец отвечает: «Выдаем тебя замуж за Степана Черного. Сегодня к нам придут сваты».

Я заплакала. Отец говорит: «Сядь, молчи. Реветь будешь по уставу, когда девицы запоют песню».

А в доме у жениха такие же сборы: надели на него шелковую рубаху румяного цвета, серебряный пояс, жилетку с часами.

Сваты собрались, а Степана нет. Не в лес ли убежал? А он дома за углом сидит с ребятишками, в карты играет. У Степана были кудри мягкие, как шелк. Отец и схватил его за кудри, и ведет по деревне к нашему дому, а Степан идет, слезами обливается, плачет с причетью: «Тятенька, не хочу жениться!»

Народ смеется:

— Невеста твоя дома сидит, молчит, как каменная, а ты на всю деревню причитаешь.

Зашли в избу. Я встала, поклонилась. Спросила:

— Степан Дмитриевич, почему ты меня выбрал?

Его отец говорит:

— Выбирать не его дело и не твое. Мы, родители, сговорились, и мы тебя не за красу берем, не за отцово богатство. Берем тебя за твой ум-разум. Ты в деревне всех девиц умом-разумом перевысила.

Стала я жить у мужа в доме. Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь.

Муж меня ни разу в жизни не толкнул, не ударил. Разве в сердцах обзовет меня «рыжая беда». А в деревне прозвище мне было Соломонида Золотоволосая.

Кроме книг у меня от юности до старости осталась еще одна отрада: каждый день что-нибудь деревянное поделать. Помню, нарубила чурок, вытесала птиц, зверей, людей и приколотила к крылечным столбикам. Отец забранился: «У тебя на уме одни потешки». Тогда я под князевое бревно, которое крышу содержит, вытесала солнце со звездами. Отец это похвалил.

Был у меня брат Трофим. Я с топорком, а он с лоскутками, с нитками, с иглой. Мастер был шить куклы. Сошьет полотняного человечка, набьет льняными оческами и оденет по нашей моде.

Однажды пропадал где-то целую неделю, только обедать домой прибежит. Скрывался в лесной избушке и сшил целый хоровод девиц. Вся деревня приходила любоваться. Он везде лоскутки выпрашивал — шелковые и бархатные.

Трофим не любил сидеть на одном месте. Часто уезжал в Архангельск. Будучи женатым, пропал на целый год. Уж стали поминать за упокой — и получаем письмо из Москвы. Все российские города обошел и объездил.

После Октябрьской революции прибежал домой, жил неделю. День и ночь уговаривал меня:

— Ужели ты, сестра, как пень в лесу, будешь здесь догнивать? Поезжай в Москву. В Москве новая жизнь открылась. Там тебе дело найдется. Слово мое тайное и крайное. Весной по первому пароходу плыви в Архангельск, оттуда по железной дороге в Москву. Адрес дал точный.

Всю зиму я жила сама не своя. Дочери говорят:

— Ты, маменька, что-то задумала.

Я отвечала:

— Задумала сплавать в Москву на месяц. Вы взрослые, с отцом будете хозяйством управлять.

Пришла весна — большие воды. Пароход к нашим деревням подошел. Я сумку-котомку за плечи. Со всей семьей большим обычаем простилась, коровушкам в ноги поклонилась. Никто из семейных мне поперек слова не сказал. Муж до парохода проводил. Крикнул мне вслед:

— Соломонида, не плавай!

Я заплакала.

Больше я с ним никогда не видалась.

В Москве я определилась уборщицей в институт. Сюда приходили дети слушать рассказы и читать книги: один день — старшие, другой — мелкие ребятишки. Я стояла у входа, сортовала детей, чтобы старшие не путались с младшими. Канители было много.

Вечером к заведующей приходили художники казать свои рисунки. Меня пригласят к чайному столу:

— Соломонида Ивановна, расскажите что-нибудь о вашей родине.

Я рассказываю и рисую промышленные снасти — что на зверя, что на птицу, что на рыбу. Они слушают, слова не проронят. Вечера не хватит, ночи прихватим. Художники показывали свои картины. Я тоже пристрастилась к большим листам. У себя в кухне расстелю во весь стол кусок обоев и обдумываю рисунок. Чем я рисовала и красила? Наколю лучинок, свяжу в снопики, положу в печь, чтобы обуглились. На листе проведу дорожки крест-накрест, из одного угла в другой. Обозначится середина. Тут нарисую человеческий лик или звериный. По сторонам жительство людское или звериное. Круг меня художники стоят, переговариваются тихо и умственно.

Подарили мне рисовальную тетрадь и краски в ящичках. Это я убрала в сундук: пригодится внукам.

Краски мои были: вакса черная, вакса — коричный цвет. На веретено навяжу тугие узелки с черникой и другой цветной ягодой, и начнет моя рука летать, как птица, из края в край. Нельзя уронить капельки: обои — материал рыхлый, ягодный сок жидкий.

Художники стоят, дивятся. Я говорю:

— Что же вы, государи, хвалите безграмотную старуху?

Они отвечают:

— Соломонида Ивановна, редкий из нас умеет распределить по листу рисунок так соразмерно и с такой быстротой и чистотой разнести жидкий ягодный сок.

Ночью я лежу, разбираю их речи, как книгу читаю. Великое дело, когда всем наукам обученные люди художество понимают. Не напрасно я в Москву приехала!

ВИКТОР-ГОРОЖАНИН

Какие мысли-воспоминания сияют нам, как зори негаснущие? Не угасает то, что стало сокровищем от юности.

Художнику свойственно любить культуру своей родины и вникать в эту культуру. Непонятно, почему еще детское сердце устремляется к чему-то единственному, и этой любовью человек живет и дышит всю жизнь.

Примером такого целеустремленного призвания к единственному любимому в искусстве был художник — певец русского Севера Виктор Гаврилович Постников. Удивительна была целость ума и целость жизни этого человека. Удивительно изящество внешнее и внутреннее.

Меня и Витю сблизила любовь к рисованию. Во младенчестве мы с упоением размалевывали гравюры немецкого журнала «Гартен ляубе». Лица красили желтым кадмием, одежду — кармином. Потом начали переводить на сахарную бумагу сытинские лубки, полюбили рисовать «виды». Сыскали образцы, доступные нашей руке. Я без конца изображал пейзаж на фаянсовом блюде: остров — чистая охра, вокруг синий бордюр — река; дерево в виде трилистника, под ним город — домик с киноварной крышечкой.

Затем с увлечением копировали мы виды Соловецких островов, изданные монастырской хромолитографией. Казалось, что картинки эти рисованы цветным карандашом. Подсознательно мы сыскивали образцы, техника которых была нам понятна и посильна.

До лет юности мы шли слепым ходом в поисках чего-то желанного, единого на потребу. На пятнадцатом-шестнадцатом году жизни нам пала под ноги наша дорога. Нам в руки попало несколько серий били-

бинских работ: северное зодчество, типы севера, иллюстрации былин.

Билибинский стиль очаровал нас. Кстати, в «Журнале для всех» напали мы на статью Билибина «Искусство в северной деревне», прекрасно иллюстрированную. Все в этой статье было для нас откровением. Радость одна не приходит: в городе появились репродукции с картин Васнецова и Нестерова. Первые книги Пришвина «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком» стали для нас настольными книгами.

Здесь многие художники скажут: «Это он про меня говорит. Я в том же порядке зачинался».

В 1912 году в Архангельске жил знаменитый архитектор, академик П. П. Покрышкин. Мы с Виктором отважились предстать перед ним во время реставрации Успенья на бору. Черная бородища, орлиный взгляд, одежда, залитая известью,— все поразило нас. Мы истово поклонились, и Виктор произнес заученное приветствие.

Вместо ответа он налетел на нас, как мальчишка, и дал нам по шеям.

«Это я благословляю вас. Художники не живут сладко, а живут терпко. Не будьте «спящие красавицы». Не спите — не дремлите».

Жадно наблюдали мы освобождение древней живописи от почерневшего лака олифы. Чернота отодвигалась как туча, уступая место светлому перезвону красок. Корпусные краски — киноварь, охра, белила — объединялись нежно-прозрачными: голубец, празелень, багрянец. Легендарен был сюжет, сказочно изящен рисунок. И деревья, и горы, и селенье — все на фоне легкой позолоты. Она мерцала, как немеркнущая вечерняя заря.

Нам открылась неповторимая красота севернорусской культуры. Точно былину сказывали нам исполинские избы поморов. Гениальные зодчие возводили эти сурово-прекрасные шатровые церкви.

Сколько художественной старины оказалось в наших домах: расписные столы, сундуки, шкафы, резные прялки, ендовы.

Летняя ночь на севере разнится от полдня только тишиною. Сияющую ночь посвящали мы реставрации живописи. В такой час бежит Витя по тихой улице к моим окнам, кричит:

— Гляди, какие тона хризоэлефантинные!

Я поглядел:

— Витя, ты до грунта, до левкаса все стер.

Как праздник, вспоминаются мне годы пребывания нашего в Москве, в Строгановском училище. Талантливые педагоги-художники, такие, как С. С. Голоушев, С. В. Ноаковский, П. П. Пашков, искру любви к искусству умели раздувать в пламя.

Как благодатный дождь, принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем.

Сколько душевного веселья получили мы от наших походов в Абрамцево, Сергиев Посад, в Хотьково, в Богородское. Мы знали, что здесь начиналось возрождение народного искусства.

В деревнях из уст крестьян слышали мы рассказы о Васнецове, Врубеле, Нестерове, Поленове. Здесь, в царстве деревянной и глиняной игрушки, знали Андрея Рублева, предания о татарщине, о Грозном. Здесь Нестеров сыскивал прекрасные детские и девические лица и увековечивал их на своих полотнах.

Русь Московская стала второй моей родиной. Виктор Постников наезжал сюда редко. Помню последнее его посещение:

— Не спрашивай здоровья, гляди в лицо!

— Витя, ты совсем фарфоровый!

— Нет, я перышко гусиное. Я карандашик костяной. Не сломай меня. Я из трех лучинок складен.

Чем бы его развеселить? Начал я открывать дверцы шкафов, изнутри расписанные в поморском вкусе.

Витя обрадовался:

— Живо наше ремесло! Живы наши праздники! А модели северного зодчества все растерял?

— Все на дым пустил. Вот осталась надворотная башня Николы Морского.

Глубоко запавшие глаза Виктора засияли. Веселясь сердцем, он говорил:

— Помнишь, друг, как на карбасе подошли мы к Никольскому урочищу. Помнишь неизрекомую тишину июньской ночи и это видение древней красоты. На взлобье серебромшистого холма стоял древний город: вековые бревенчатые стены, сказочная, с высоким шатром надворотная башня, башни угловые.

Этот древний город как бы оборонял великолепный ансамбль новгородского зодчества. Будто лебедь, возникал из-за стен белокаменный Никола; будто крылья, опустил он к северу и к югу торжественные

крыльца-всходы. Я и сейчас вижу: нежное золото зари охватило запад и восток. Солнечный венец, как золотой кораблик, плыл край моря. И берега, и острова, и воды — все виделось как бы написанным на золотистом перламутре.

На прощанье он сказал:

— Я эту красоту видел и этим счастлив.

— Виктор, счастливы будут и те, кто не видел, но поверил тебе.

Виктор Гаврилович Постников не дожил до старости. Из Архангельска ушел он на Вычегду. Там и прижал к сердцу художные свои руки.

В Москве в 1958 году на выставке областных художников представлены были акварельные пейзажи Постникова. Печать с похвалой отозвалась об этих его работах. Но художник уже не дождался ни хвалы, ни оценки.

ПОСЛОВИЦЫ В РАССКАЗАХ

ПЛОТНИК ДУМАЕТ ТОПОРОМ

Ваня и бабушка наблюдали работу плотника, который обновлял ограду и крыльцо напротив Ванина окна.

— Гляди, Ваня,— говорила бабушка,— плотник выбросил дряблые доски из ограды. На месте остались крепкие доски, но между ними оказались просветы разной ширины. Чтоб закрыть просветы, плотник взял новые доски и начал обтесывать их, сообразуясь с шириной просветов. Теперь плотник посадил новые доски между старыми. И так они плотно сели меж старыми, будто век тут сидели. Теперь хоть молотом бей — ни одна доска не выскочит. И гвоздей не надо. Не гвозди держат, а добрая пригонка.

Теперь мастер принялся за крыльцо. Крыша на крылечке была как шапка старая: виду не давала, на глаза лезла. Подпирали крышу два столба, вкопанные в землю. Плотник выкопал оба столба и выдернул из земли. Оказалось, столбы сильно подгнили. Плотник начисто отрубил всю гниль и слегка обтесал столбы снизу. Далее, на место нижней худенькой ступеньки

он кладет добрую. По концам колоды вырубил гнезда и одним махом посадил в эти гнезда оба столба.

Так все рублено и тесано соразмерно, будто эти столбы выросли из колоды и верхушками своими приподняли кровлю крыльца. Крылечко теперь смотрит молодцевато и щеголевато.

Теперь плотник сдумал привести крылечные столбы в полную красоту. Он вырезал на столбах пояски, будто браслеты надел. Звенья между поясками сверху и снизу закруглил. Получилось, будто столбы составлены из кувшинчиков. Просто все и нехитро, но как нарядно! Простая снасть топор, но в умелых руках всякое дело родится красовито. Неправильно говорят, что, например, живописец — это художник, а плотник, столяр — это просто рабочий.

Живописец что сдумает, то изобразит краской, кистью. Можно сказать, что живописец думает кистью.

То же можно сказать о плотнике. Плотник что задумал, то сделает топором. Отсюда и пословица: «Плотник думает топором».

СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ — НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК

У Вани была бабушка — добрая, приветливая. С малышами говорила весело, каждого утешит и рассмешит. Со стариками беседовала рассудительно. Приветливая улыбка всегда была на ее лице. Старики говорили: «Хоть какая беда, а эта старуха ладно сдумает, тихонько скажет». Один старичок как-то сказал Ване:

— Твоя бабка из песен сделана, из пословиц сложена.

— Моя бабушка и рисовать умеет,— сказал Ваня.

— Это особое дело. У твоей бабки есть звание «мастер малярного дела». Она и штукатурное и малярное дело умеет, и краску всякую знает, и древесную породу понимает. В клубе художники с ней советовались, какую краску на чем разводить, чтобы прочно было и красовито.

Вот как-то раз Ваня допытывался:

— Бабушка, о чем ты разговаривала с Митей-паркетчиком? Ты кивала головой и говорила: «Верно, работа любит не молодца, а незалежливого». Ты еще сказала: «Глаза страшатся, руки делают». О чем тебе рассказывал Митя?

— Митя рассказывал о своей работе. Очень любопытно.

Митя — художник. Но работает не краской, не кистями. Он украшает деревянным узором шкатулки, столы, шкафы.

Под рукой у Мити тоненькие дощечки из дерева разных пород. Тут красное дерево, черный дуб, коричное дерево. У каждого дерева свой цвет.

Распилены эти дощечки на квадратики, шашечки, кружочки. И Митя выклеивает этими шашечками узор на шкатулке или на шкапчике. Эти деревянные листочки присаживает один к другому на клею. Иногда узор простой: полоски идут сверху вниз, но у Мити выходило красовито и нарядно. Дорожка черная, коричневая, потом дорожка черная, потом красная, белая.

Эти дорожки повторяются в том же порядке. Благодаря прозрачности цветного дерева любая вещь кажется богато украшенной.

Недавно мастер поручил Мите выклеить столешницу — верхнюю доску стола — и сказал:

— Эго заказ от академии. Сроку дано две недели.

Митя с жаром принялся за дело. Обдумал рисунок и в один день закончил верхний угол и сам пришел в восторг от своей работы.

Целую неделю Митя радовался, что ему доверена такая важная работа. Утром проснется рано и до полдня валяется в постели. В воображении своем видит работу законченной, любуется ею, всплескивает руками от радости: одеваясь, танцует и поет. На минуту присядет к столу, подберет нужные дощечки, но радость подмывает его. Бежит на улицу, встречает приятелей:

— Подумайте, ребята, моим художеством будут любоваться профессора и академики.

Вечером побежит в кино.

За неделю работа не подвинулась ни на полмизинца. В субботу вечером Митя вдруг устал веселиться. Снял газету, которою была прикрыта доска, и смутился, и испугался. Прекрасно сделанный узор одиноко красовался, как цветок на фоне голой земли.

Митя всплеснул ладонями:

— Что я наделал! Сроку осталась одна неделя. Я не успею ничего...

Часом позже мастер, проходя двором, увидел, что на крылечке сидит Митя.

— Митька, ты плачешь?

— Мастер, я обманул ваше доверие.

— Иди покажи мне твою работу.

Зашли в Митину комнату. Взглянув на столешницу, мастер сказал:

— То, что ты сделал, сделано отменно и прекрасно.

— Мастер, милый, какие же участки надо отхватывать мне каждый день, чтобы поспеть к сроку? Работа будет тяп-ляп, а я привык красовито и тщательно.

— Слушай меня, Митя. Я твой начальник и даю тебе норму работы: каждый день выклеивай и отделывай на доске столько, сколько покроет твоя ладонь. Ни меньше ни больше. И дело будет подвигаться, и отделку будешь производить не спеша, в твоем вкусе.

Митя прилежно, как ученик, начал выполнять урок, данный мастером.

Митя сначала не верил, что при такой малой норме успеет кончить работу в срок. Пригоняет пластинки одну к другой тщательно — комар носа не подточит. Но окинет глазами, сколько еще пустого места остается, и испугается. Однако глаза страшатся, а руки делают.

А руки у Мити были золотые.

Тихо подвигалась ладонь по доске, и вслед за движением художной руки доска превращалась в цветущий сад.

За сутки раньше срока Митя закончил работу. Пригладил утюгом и вылощил волчьим зубом [1].

Мастер долго любовался работой, потом молча обнял Митю...

Бабушка закончила свой рассказ словами: «Собирай по ягодке — наберешь кузовок».

СКАЗКА СКОРО ГОВОРИТСЯ, ДЕЛО МЕШКОТНО ТВОРИТСЯ

Давно это было. Меня тогда кликали не бабушка, а тетенька. Я в городе пристрастилась к малярному мастерству. Но о родной деревне тосковала.

---

[1] При полировке дерева иногда пользовались волчьими или медвежьими зубами, которые, не царапая дерева, помогали вылощить (отполировать) его.

Тут сорока на хвосте принесла вести, что директор нашей деревенской школы своими силами обновляет давно обветшалое школьное здание. Я стремглав полетела из города в деревню. Директор обрадовался мне, как майскому дню. Договорившись с ним, побежала смотреть школу.

Плотники перекрывали школьную крышу. А два мужичка, печные мастера, месили босыми ногами глину. И так-то потешно, подбоченясь, плясали друг перед другом. То опять кружатся, взявшись за руки.

Я спросила:

— Дядюшки хорошие, слышала я, что три печи подрядились вы сложить в три недели. Вряд ли вы успеете вовремя.

Они говорят:

— Нас не двое, а трое. Старший заболел: колени и локти покою не дают.

Я взяла на себя внутреннюю отделку: покрыть мелом потолки, стены, печи. Мел преподнесла наша речка: в половодье вымыла крутой берег. Объявился самородный мел. Этого мела мы наломали целый воз. Я с помощницею стала этот мел дробить, на ручных жерновах молоть, просеивать.

Сказка скоро говорится, дело мешкотно творится. Мел дробила, мел молола, мел сеяла. Тут в мелу и усну, недосуг нос утереть, три недели на это потратила.

Старухи меня жалеют:

— Ох, мастерица, ты как есть кукла белая глиняная. И личность на вершок оштукатурена. Давай мы тебя на речке отмоем.

— Завтра приходите.

А назавтра за мной из школы бегут:

— Тетенька, иди с печниками прощаться! Они сегодня домой уходят.

Я со всех ног по деревне лечу. Собаки с цепей рвутся, на меня лают, малые ребята со страху ревут.

Я в школу порог переступила. За столом директор сидит и два молодых мастера. А старый мастер, такой прекрасного вида старец, руками на клюшку оперся, в сторонке находится. Они меня увидели и покатились со смеху:

— Кто ты, статуй алебастровый? Человек ты или привидение?

Я их не слушаю, я мастерству дивлюсь: каждая печь как город возведена, а выглядит как игрушечка.

И кирпичики, и карнизы, и уголки — все слажено хитрым вымыслом.

И я ахнула от восхищения:

— Отсохни мои руки, если я это художество буду слепым мелом мазать!

Пречудный старик, старый мастер, подошел, обнял меня за плечи:

— Ты, дочка, сам истинная художница, но побелка необходима. Побелка будет свет дневной отражать, а в школе светлость — первое дело.

Я говорю:

— Если начальник какой прикатится, каким глазом взглянет!

Директор отозвался:

— Ответственный человек был. Вот оставил похвальный лист с благодарностью на имя каждого мастера. А вот здесь договоренные деньги сполна... Ты, старший мастер, первый расписывайся в получении.

На лицо старику будто туча накатилась:

— Шутить изволите, директор? Я сюда приходил заместо прогулки. Только два человека работали здесь. Они, как птички вокруг гнезда, сновали. Я на стуле сидел, палец о палец не колотил. Никакого касательства ни к деньгам, ни к похвалам не имею.

К старику прискочили два других мастера:

— Не гораздо твое слово, государь-дедушка. Мы у работы летали, как птички, потому что ног под собой не чуяли от радости. Веселились тому, что при нас находишься. Твоя личность силы придает. Твоего труда здесь большая половина, а ты и малую законную треть не признаешь. Или ты, государь-каменщик, не ведаешь, что все наше окружное сословие — и мастера и подмастерья, может, нас триста человек,— тебя знаем и тебя называем: ты наше угревное солнышко.

Лицо старика просветлело:

— Детища мои, вот это и есть мне самая великая награда! А денежная придача как полынь горька.

Я не стерпела этой преславной тяжбы, вышла на улицу и заплакала. Следом выбежал и директор, схватил железную клюшку и начал звонить в чугунную доску, что висела у крыльца школы.

На этот набат вышли три мастера, сбежалась толпой вся деревня. Директор статно и внятно обсказал весь спор каменщиков и закончил:

— Вы, честной народ, рассудите: вправе ли старший мастер отказываться от пая?

И весь деревенский люд вымолвил ясно, громогласно:

— Приговариваем тебя, государь мастер каменных дел, принять этот пай беззвучно. Возьми твою долю непрекословно.

Старый мастер постоял молча, потом большим обычаем поклонился двум своим каменщикам, потом тем же обычаем всему народу...

Ваня спросил:

— А ты, бабушка, умываться побежала?

Бабушка рассмеялась:

— Конечно, меня старухи сутки в корыте отмачивали, потом сутки в корыте стирали, потом в речке полоскали, потом сушили и утюгом гладили... Нет, Иванушка, я с мастерами простилась, клей обдумывать побежала. Без клею побелка не живет.

Тут опять помогла наша речка-матушка. Наказала я мальчишкам ловить рыбу мелкую и крупную сетками и бреднем. Напромышляли они рыбы вдоволь. Стала я эту рыбу в котлах варить, а уху сливать в ведра. Это и есть клей, крепкий, терпкий. Тогда я стала в эти ведра мел сыпать по пропорции. Сыплю и лопаточкой разбалтываю. Эти ведра снесли в школу. И принялись белить потолки, стены, печки, сени. Теперь белят — из брызгалок фукают, а я кистей мочальных навязала и кистями побелку делала, да во всю мочь.

Печи топятся, окна и двери настежь для просухи. И заблестели потолки, и стены, и печи, и сени — как из белого мрамора. Школа наша светом налилась.

У АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДА

ЕГОР УВЕСЕЛЯЛСЯ МОРЕМ

Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.

А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:

— Ты, Егор, всему берегу диво доспел. С тебя будут пример снимать.

— Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.

Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк. Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о коргу.

Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая команда звала меня по-старому — кормщик — и шутила:

— Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.

— Мореходство — праведный труд. Море строит человека.

Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на нем. Пятнадцать человек — все как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.

Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски. Где меня ни встретит: «Дядюшка Егор Васильевич, срисуй кораблик!»

На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.

Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей жизни.

Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.

Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись...

Мне стукнуло пятьдесят годов.

Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились:

— Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.

— Ребята, я вернусь через неделю. Может, любознательность какая.

— Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.

Я ушел от них на десять дней — и прожил в разлуке с ними десять лет.

Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует:

— Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о примененье парового двигателя в парусном ходу. Мы в этом направленье оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.

...Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?

Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр, чертежник и художник.

Покатились дни и месяцы.

Сравнялся год, пошел другой.

Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу:

— Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.

Так прошло пять лет. И такое у меня чувство, будто меня обокрали. Нет,— будто я кого-то обокрал. О покинутой семье, то есть о морской моей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть...

Как весна придет, я места не могу прибрать:

— Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатал бы якорь, открыл бы паруса — да в море...

...Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался к берегу еще на пять годов.

Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что, за смертью отца, желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.

Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.

Встретил их на пристани. Со шкуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут... Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не во вкусе по нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.

Они стали жить у меня в верхнем покойчике.

Мне — за пятьдесят, Варе — двадцать, а я по первости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под занавески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»

Дальше — Варя поступила в школу, учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Укараулю Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой:

— Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из коллег-учителей вам больше нравится?

Варя шутливо:

— Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?

— Кто-нибудь да утонет в вашем сердце...

И мать вздохнет:

— Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.

Я за это слово ухватился. Представление привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я. В домашности даже касательство руки предосудительно, в театре — близкая доверчивость. Притом воздушный туалет и аромат невинности...

В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:

— Ишь, папенька как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?

Дома в зеркало погляделся: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая... Что же, старее тебя есть кобели, и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!

Ум мой раздвоился. Корабль руль утерял, и подхватили его неведомые ветры.

Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцом пиджачке, бородка а-ля Фемистофель. Во рту папироса, курить не умею.

Приглашаю Варю в оперетку. Половина действия не досидела:

— Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!

Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:

— Егор Васильевич, жениться задумал?

— Кто вам сказал?

— Примета такая. Рассеянность чувств.

Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.

Первый-то год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушны поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь и снег предсказывает. Изучил тонкую светскую манеру поведенья — ножкой шаркать и ручку цело-

вать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.

А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.

Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.

Таковым пóбытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет,— будто я кого-то обокрал.

Было ненастливое лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о крушениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:

— На Соломбальском острове находится шкуна по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, что шкипер этой шкуны — аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.

— Не слыхал такого,— говорю.

Пришел в Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на эту шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:

— Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего...

Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.

— Вы кто будете? — спрашиваю.

Детина сострoил мальчишескую рожицу и выговорил только:

— Дядюшка Егор, срисуй кораблик!

— Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный...

Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.

Спрашиваю Колю:

— Они где теперь?

— Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.

Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека, когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.

— Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.

Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:

— Так это вы... Это вы мне вышили платочек?..

Я хохочу впокаточку:

— Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?

— Судьбы не было, Егор Васильевич.

С весельем я у этой шкуны работал.

Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.

Варя иногда придет, шанег горячих принесет.

Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом: чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по угору шиповник на букет. Она боится оступиться, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет. А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.

Стал я у́росить и обижаться. Ну, посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.

Коля за столом пустяк соврет — Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объ-

яснять — в ней захватывающего вниманья нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий...

А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности... Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть, что располагающие глаза да зубы со смехом.

Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то ревновал и оскорблялся.

Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:

— Я без мужа ездить неповадна.

Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И, отделав дела, как с домом отеческим, простился. Николай остался жить в Соломбале.

Потянулась ненастливая осень. Залетали белые мухи. Варя ни разу Соломбалу не помянула. Николая не проименовала.

Николай приехал к нам по первопутку. Завидев гостя, Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег...

Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги? Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.

Думали, конца зиме-то не дождаться...

Однажды Варя мне сказала:

— Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.

Я процедил сквозь зубы:

— За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.

Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой. Я выговорил ехидным тенорком:

— Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, господи, слезную тучу». Я спишу для вас?

Остегнул ее таким словом и — ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.

Коля явился к нам на масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая.

Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:

Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?

Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.

Плетью ударит, тела убавит,
В щеку ударит, румянца не станет.

Пою... И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину. Заплакать бы — еще не могу.

На другой день Варина мать мне «по тайности» высказывала:

— Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел-глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок. Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала: «Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилося. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».

Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?

Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову». Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!

Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. При-

ходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:

— Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.

Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху, в светелке, дверь скрипнула.

Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она где плакала, у окна на сундучке, тут и уснула. И столько было ейного возрыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней ночи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль на сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.

Жалость пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы не нарушить скорбного сна, зачал говорить:

— Дитятко мое прежалостное, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость? Ты мало со мною порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла — я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах — и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, но гордость удержала.

Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется,— ты в холодном гнезде привитала. Ты, как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-покровитель...

Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.

Так я в эту ночь свою гордость обрыдал и оплакал.

Но часы-время коротаются, утро — в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле на квартиру и ждала меня там, у Зотова.

А сам достал из сундука поморскую свою одежу коричневых сукон, вязаную, с нездешними узорами рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.

В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив вниманья на людей, сидящих вдоль стены:

— Господин начальник, я по личному делу...

Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:

— Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?

Я оглянулся и... повалился в ноги им, старой дружине моей.

Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:

— Голубчики... Единственные... Простите.

Они встали все, как один, и ответно поклонились мне большим поклоном:

— Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!

Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры.

Начальник говорит:

— Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати... Да ты ведь по личному делу?

— Я шел сюда проситься в команду «Обновы».

Начальник говорит:

— Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.

Я спрашиваю:

— Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?

— Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.

Я говорю:

— Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний — судовой механик с аттестатом.

Начальник даже крякнул:

— Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельскую экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах...» Уперся, уговаривай его хоть год.

Я стукнул кулаком о стол и говорю:

— Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.

Все глаза вытаращили.

— Каким образом?..

— Цепью его прикую к пристани.

— В добрый час, Егор! Орудуй!

Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остоялся в сенях, слушаю... Варя плачет с причетью:

Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:
Что любовь наша — печаль без утешенья.
Мне не честь будет старого мужа бросить.
Он не грозно надо мной распоряжался,
Не обидел меня грубым словом.
Он много цветов посеял, мало уродилось.

Николай говорит:

— Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!

Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:

— Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу на́веки... Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!

Он прослезился горько и отер слезы:

— Егор Васильевич!.. Мы вас не согласны обидеть...

Варя пала мне в ноги:

— Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.

Ты мужскую обиду прощаешь,
Превысоких степеней отцовских доступаешь,
Перед тобой мы безответны и не́мы.

Я подхватил ее с полу, как ребенка:

— Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здорово. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.

Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра.

Я учредил их в моем домишке и, как куропать вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.

Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в

том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильева.

Вот и настал этот торжественный день моего освобожденья, день отпущенья. Низменная конторская палата будто светом налилась. Все мы собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:

— Подписывайся, кормщик.

Я говорю:

— Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.

Товарищи зашумели:

— Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.

Я говорю:

— Совесть моя так повелевает.

Они сели вдоль стены чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, рука к сердцу, и выговорил:

— Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу принять меня в морскую службу, в каков чин годен буду. И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.

И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол. Они встали все, как один, и выговорили равным гласом:

— Осударь Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и пословны.

И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами.

Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Я отвечаю:

— Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!

От них опять доносится:

— Куда путь правите?

Я отвечаю:

— Из Архангельского города в Мурманское море...

И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами.

О море! Души моей строитель!

ВАНЯ ДАТСКИЙ

У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды-морошки по белому мху; торговок — пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу! А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.

— Умрем, дак выспимся,— отвечала Аграфена.— Я тружусь, детище свое воспитываю!

Был у Аграфены одинакий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: поздорову ли шли? Его угощают солеными «би́шками» — бисквитами, рассказывают про дальные страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела, как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:

— Кэптен, тэйк эброд! (Возьмите с собой!)

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился.

— Хайт ин зи трум! (Ступай в трюм!)

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь: «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет...

Нету слез против материх. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушка спросила...

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плаванье. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая...

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельской город.

Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собрала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там...

— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой... Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:

— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!

Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит...

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: «Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как?»

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти файф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».

Опять жена плачет:

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!

Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые... Упасть бы в ноги! Может бы и простила и отпустила!.. Нет, страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних! Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала.— Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя... Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры, кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать...

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают русские берега... Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки?

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-те пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабя-ят!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!

Аграфена закричала с плачем:

— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говóрю забыть... Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца...

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди.

Аграфена веселится:

— Вери гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси.

По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.

МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ

Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали?.. Горлопаниха: на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередый, крашеный? Дак от Хионии Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская...

...Дело давнишнее: после первых забастовок пустила Хионья Егоровна петербургского студента ссыльного... И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры... Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к Корытихе чашечку кофейку выпить и, грешны богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагност поставили: не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. Два-три письма еженедельно в Питер Катюше своей пошлет. Одно-два от нее получит. А уж ни с Хионьей Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тайной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.

Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он как лебедь унылый, который улететь-то не в силах.

Этак сидим однажды у Хионьи, не то по пятой, не

то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Павлович и заходит.

— Не откажите в любезности бросить письмо... (Почтовый ящик у нас на воротах.)

Хионья и осмелилась:

— В свою очередь, Лев Павлович, окажите любезность дамам выпить с ними кофейку. Также, извините за нескромный вопрос, почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастие — быть возле вас.

— Да. Катя там тоскует без меня, но климат здешний...

— На! Чем этта не климант — у дров да у рыбы?!

— У Кати там должность.

— Этта тоже можно — письменны упражненья найти!

— Катя такая хрупкая...

— Будь она хоть рюмочка хрустальна — она бы здесь кофейком отпилась!

Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает: здоров да благополучен. Мы с сестрицей взяли да на семи ли, на восьми страницах вкратце и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является, как майский день! И, знаете, действительно принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при черных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно втолсту отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних: в туалетах можем понимать!

Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой досталось по нескольку поцелуев... А багажу-то дорогая гостьюшка не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном тряхнуть... Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и насколько личность, много знающая в науках, может найти упражнения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства, и весь бомонд на вестях. Раскинули умом да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных.

Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, рыбой торговали.

Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Романовне шили гардероб домашний и а-ля променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение, в рассуждении застать домовладыку.

И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадесяти языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм... Какая-нибудь на велисапеде приехала.

Одним словом, принялась наша протеже служить в маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, поднявши нос, как две виновницы торжества. Ох, ежели бы знать, к каким это приведет плачевным результатам, дак волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать... Тем более под ярким впечатлением видела я сон: будто катаемся в шлюпке при тихой погоде я с сестрой и Катя с Левой. И вдруг нас качнуло... Агромадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом... Я заревела... Сон сестре рассказываю, а она:

— Вольно тебе рыбну кулебяку на ночь под носом оставлять...

Ну ладно... Не успела наша Катя на должности показаться, все мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин ус крутить и ножкой шаркать... И нельзя винить: прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была из поморского быта. Платья по журналам шить согласилась, а уж парчового повойника с головы сложить не соизволила: «Это женский венец! Не от нас заведено...» Ну куда же современный муж такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут на глазах, при своей конторе, богиня красоты — юбка плиссе с воланом, блузка с утюга...

Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а ка-

кими средствами ее достигнуть, не знает. Это не певичка, в «Золотой якорь» не позовешь.

Каких только промыслов он над Катей не чинил! В Пасху плюшевое яйцо, ростом с бочку, четыре оленя к Хионьиным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионья этими духами больше году поливалась.

Опять на Катин день рожденья пряник от Маляхина, в пуд весу, прикатился. И литеры «К» и «Ф» — Катя и Федя — сахаром на прянике выделаны...

На улице молва пошла: ссыльна барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила...

Убежала Катерина из маляхинской конторы. Хотя мы и советовали: «Терпи с выжиданием». Да уж Федька-то... что ступит, то стукнет. А ведь этаку фарфоровую штучку, вроде Катеньки, надо полегонечку обдерживать, вкруг да около манежно переступывать.

Соболезнуя Настасье Романовне, мы не раз к Маляхиным для ради примерки являлись, испытующим оком выраженье ейной личности изучали. Но ничего прочесть не могли. Уродится же такая дура не от мира сего!

А Левушка не долго прожил после этого. В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги.

На провожании мы с сестрой Катю под руки вели. Хионья Егоровна заместо духовенства впереди ступала. Шла в старинном косоклинном сарафане, в шитом золотом платке. Несла в руке ветвь благоцветущего шиповника и пела плачную причеть. Мы с сестрицей подхватывали на голоса. Все плакали, выключая молодой вдовы.

— Катя, для чего ты не плачешь?

Она — что каменная. А мы выревемся, нам и легче.

Шесть недель она к Леве на могилу ходила. Молча сидела. Домой воротится вся в комарах искусана.

Тут опять на сцену донжуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием принебрегал, то теперь открыто повел лобову атаку.

В Ильинску пятницу идем с сестрой из магазина, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионья из окна подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом.

— Душенька, что у вас?
— Формальное предложение сделал!
— Кто?
— Федька.
— Вам?
— Черт ли мне! Катерине...

Мы даже заплакали: «Забыть так скоро!..» Коварная, прельстилась на богатство... К дверям Катерининым припали... Нет! Почтения достойное творенье ничем не обольстилось.

Федоров голос из-за двери:

— Дом отделаю во вкусе и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине.

А Катин голос:

— Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены!..

Мы в куски рвемся под дверями-то: «Дура ты, дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю. И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты: «На содержанье возьму!..»

Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить?! Смолоду на нее шьем! Слова худого, взгляду косого не видели.

...Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел да хлоп Хионью дверью в лоб!.. Пал в коляску, ускакал. Еще бы: обожаемый предмет заместо сабли все чувства становит.

Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркою пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. «Ну,— думаем,— ежели сердечного участия не понимаешь, дак и черт с тобой!»

Домой шли, ругались, а дома заревели:

— Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да сводними. Через нас твой благоверный в рассужденье Катерины изумился.

Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плюшеву ротонду на лисьем меху. У нас перво-

статейны дамы шили. Прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно:

— Ох какая роскошная упряжка мокнет под дождем!

Я посмотрела да и села со всего размаху на пол: у Хионьиных ворот старика Маляхина карета.

— Душенька, что с вами?

— Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух.

Сдали барыню помощнице, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела, к Корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись — наплевать!

Хионья в коридоре на своем посту обмирает; молча нам кулаком погрозила... Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести.

К началу представленья не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит:

— Возьмите отступного полтысячи, даже тысячу и удалитесь в родные палестины.

Катя с гневом:

— Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?

— А вы какое имеете право женатого человека завлекать?

— Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении.

— Порядочная женщина должна оберегаться мущин, а не действовать над ихним воображением. Мало тысячи — получите полторы, ежели вы такая практикованна особа...

Тут Хионьюшка двери рванула да как налетела на Маляхина-то:

— В моем доме нету практикованных! Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза! Я честна вдова, тридцать лет вдовею! Меня сам отец Иван Кронштадтской знат да уважат!

Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал.

Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хионья кофей жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла огромадну сковороду. Пока окна-двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом, с самым жалким

выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хионья говорит:

— Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю. Она кофейком отопьется.

А моя молчаливая сестрица и провéщилась:

— Может, Катя-то тонуть ушла...

Хионья заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля помпадур и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лева-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала:

— Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?..

В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось:

— Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упала.

— Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели! И в корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфорову тарелку посадим и по комнатам будем носить.

Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал и солнышко выглянуло.

Однако до Хионьи кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван Брейгель, супругу датского консула. И Хионья налетела, будто туча с громом:

— Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадтской знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!

Тут опять является на сцену Феденька Маляхин. Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный донжуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе, мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться, Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размахнет, выпучит глаза, а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит.

— Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?

— Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума.

— Ах ты, раковы глаза!..

— Ах ты, сомова губа!..

Мы браним Хионью-то:

— Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связываетесь.

— Не подумала, что пьяной. Катенька, прости меня. Не могу своего характера сдержать.

Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а назавтра еще с большей талантливостью сыграла... День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть. И покажись ей, что Маляхина нету. Обрадовалась: «Хоть один,— думает,— вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов». Окна-то распахнула — под окном-то Федька!

Хионья Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина... Прохожие путники во главе с уличными детями вопиют:

— Гордись, гордись, Корытиха, не сдавайся!

А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра да мадам Корытову и окатил с головы до пят... Страм!

После этого день прошел и неделя прошла. Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту.

А вечера чудные, не похоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки, побежали за Катей.

— Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!

Катя, как птичка, радехонька...

Вот и шествуем, три элегантные дамы. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте.

Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу. Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба. Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят. А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий визг. На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим... О ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут, ажно ветер свистит...

Лампы и свечи то вспыхнут, то померкнут... Федор опух, обородател, глаза остолбели... И он вопит:

— Сволочи, песню! Мою песню!

Прихлебатели и девки грянули под музыку:

Кат-тя, ты меня не лю-убишь!
Кат-тя, ты меня погубишь!

. . . .

В толпе кто-то и выговорил:

— О-хо-хо!.. К каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалу, любовь-то утолить не может.

Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила Катю за руку, перебежали через дорогу и — окаменели, как две Лотовых жены: у чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон «Золотого якоря»...

Катерина моя охнула — да бежать. Чем дальше бежит, тем громче плачет.

...Что вы думаете — в одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионьюшка сидела на полу да причитала:

— Опустеть хочет корытовско подворьице!

У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на маляхинскую набережную, неутолимо глядела на маляхинский дом.

Она не велела никому сказывать о своем отъезде. Но разве в нашей провинции могут быть секреты! Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионье Егоровне явился Федор Маляхин, в черном сюртуке, в черном галстуке.

— Куда уехала? Докуда билет брала?

Хионья и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь, в лавке сидел. Пощелкает-пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде ним-

фы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина «Мимолетное виденье».

МИТИНА ЛЮБОВЬ

У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было.

Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а... все не мои. Притом холостой да мастер корабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка:

— Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна некрасива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.

— Скажите, как напужали!

— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.

А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают.

...Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубоки, ударили морозы новогодни. Три дня отпуску, три билета в соломбальский театр. Соломбала — города Архангельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.

У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться.

Другой день ушел в гости к вечеру.

Народушку в театре — как тараканов на печи.

— Ишь лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил лапы-то!

Ейно место охраняю... Идет. Голову гордо несет, щеки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения, значит. Привстал ей. Мило улыбнулась.

«Грозу» Островского представляли... Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракт осмелел:

— Не угодно пройтись в фойе?

— С кем имею честь?..

— Такой-то.

— Марья Ивановна Кярстен.

И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.

— Что на меня зорко глядите?

— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль...

— Оттого, что родом я со печального синя-солона моря...

— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?

У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

— ...Ну, как вас не заметить?

— Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.

А в последнее действие уливается моя соседка слезами:

— Люблю слушать, как занапрасно страдают...

— Любите, а эдак плачете.

— Я сама в том же порядке.

Проводить не дозволила, одна убежала.

На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу — скобы у дверей и у ворот в тесте...

А она:

— Говорите, говорите!.. Я потом вашу говóрю буду разбирать, как книгу.

— Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!

— Да что вы! Ведь я замужем!

Как нож мне к сердцу приставила...

— Дак... от мужа гуляете?..

— Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала... С добрым человеком поговорила... Может, до смерти нигде не бывать...

— Теперь эта неволя отменена.

— Неволя отменена, да совесть взаконена!

— Вот вы наделали делов — бросаете меня... Куда я теперь?!

...Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса:

Зачем я встретился с тобою,
Зачем я полюбил тебя?
Зачем назначено судьбою
Далеко ехать от тебя?

Марья Ивановна сделалась в лице переменна... Встала, выхватила у меня из грудного карманца батистовый платочек... Публика музыкантам хлопает, а я слышу тихое, но внятное слово:

— Пока я жива, это мне лучезарная память. А умру, глаза вашим платочком накрыть прикажу.

И ушла. Как век не бывала. Опомнился да побежал вслед — знай метелица летит в глаза да адмиралтейская часозвоня полночь выколачивает...

А Смывалиха на квартире:

— Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво — Машенька Кярстен в театре показалась, второе диво — с некоторым молодым человеком флиртовала.

— Она чья? Она кто?

— Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучилась, а уж ни с кем ни-ни... Сама портниха, рукодельница...

Замужем живет... Честь наблюдает... Мне тоже бесчестно баловством-то сорвать. Кабы навеки моя, а так, баловством, мне не надо!..

И той же ночи побежал я домой. Бежу пустыми берегами, громко плачу, как ребенок:

— Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!..

И поклялся я забыть эту любовь. За троих работу хватаю. Сам себе внушаю: «Не думай про нее! Знай, что она не твоя». Да, а ночь-та моя, а кто же рад одинто!.. Бывало, не лягу в хороших брюках, все увертываю да углаживаю, а теперь... Обородател, похудел...

Зима на извод пришла. На верфях стук да юк рано и поздно. У меня топор в руках, чертежи в глазах, на уме Машенька Кярстен. Голос ее, духи ее слышу — «Лориган»...

Эх, Митя, Митя, упустил ты свое счастье!..

Не курил — закурил...

Притом эту сплетню из Соломбалы принесли в нашу Корабельщину. То прежде дамы по своей части меня хладнокровно укоряли, теперь, видя полноту пере-

живаний, в другую сторону заобиделись. Заведующая парикмахерской как-то при гостях на меня затужила:

— Не желаем соломбальску прынцессу! Счас парикмахерску замкну и ключ в море брошу. Пущай населенье ходит в диком образе!

Пришла весна-красна, с летичком теплым, с праздничком майским. Со всем народом, со всем славным шествием пришел я в Соломбалу. И скопилось три дня свободных. Куда пойду?.. А Смывалиха на углу и стоит.

— Здравствуй, Митенька! Да, помнишь Машеньку Кярстен, в театре-то увлекались?.. Овдовела: до краю допил...

— Она где живет?!

— В город переехала отсюда.

— Улица какая, дом какой?!

— Дом номер восемнадцать, улица... Погоди ужо; дом номер восемнадцать... улица... Забыла. Ново какое-то переменено название.

— Она где с мужем-то жила?

— Эво, где домичек зеленый!

В зеленом домике самовары лудят да паяют, никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся в возледворные соседи...

— Мы у ей на новоселье не бывали, городского пива не пивали. Гордиянка была и скрытница...

Я на перевоз да в город. В адресном бюро дежурна подает адрес прежний, соломбальский.

— В город она переехала!

— Может, и год проживет не прописана. У нас не торопятся.

Все пропало! Машенька Кярстен, утерял я тебя!.. Вылез на крыльцо, а кругом-то весна! Река ото льда располонилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты... Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая!

Искать пойду! Обойду город с верхнего конца до нижнего. В каждую улицу загляну, в каждой улочке дом номер восемнадцать найду. Везде спрошу Марью Ивановну Кярстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом, пошел этими домами. Номер восемнадцать увидаю — так сердце и замрет. У старушки пить попрошу:

— Здесь проживает портниха такая-то?

Ответ один:

— Не знаем, не знаем никаку Марью Ивановну.

По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На Мхах одушевленна собачка, за штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых щиблетах, пальто серого драпу, норвецкая кепи. Дома «Дели» или «Спорт» курю за шестьдесят пять, тут «Пушку» купил. Инде домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки:

— Санитарный инспектор являетесь? Помойны ямы смотреть?

— Иду своим путем, за своим делом.

Ничего не доспел, а той же отвагой к Смывалихе ночевать явился.

— Нашел?

— Найду.

— Присушили тебя. Приворотным зельем опоили. А то опять кошки есть троешерстны... Завтра пойдешь шляться, зайди в «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет...

На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельну квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкапах посуда говорит... Спрашиваю:

— Что это у вас, кабыть... последний день Помпеи?

— Это у нас пенсионер Иван Авдеич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает.

«Нет, моя жемчужина сюда не закатилась».

В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинна избушечка, кабыть из-под ягой бабы. Постучался.

— Хозяйка жива?

— Жива маленько-то...

Хорошенька беленька старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест.

— Бабушка, я не гадать.

— Что тут гадать, без гаданья видать. Нарядной, возволнованной, судьбу свою ищешь.

— Бабушка, я остался без невесты!

— Значит, курвяга кака-нибудь.

— Нет, уж всех честнее да прекраснее!

— У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоющая женщина, ты у ейного сердца прижат.

— Потеряю ее — буду пить, в карты играть!

— Не дичай. Праведная любовь не потеряется.

— На тебе, бабушка, на гостинцы.

— Не надо, не надо! Свадебного принесешь, прянички мятных.

Как меня эта маленькая старушка развеселила! А к вечеру еле ноги перекладываю: новые ботинки жмут. О полночь в Лодейную улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом номер восемнадцать, а как зайдешь... Стою, булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился.

— Вам кого?

— Дозвольте с вами на крылечке посидеть, опоздал на пароход.

— Даже прилечь не угодно ли! Вот вам оленья постель. Я как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвистнет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрела...

А я на оленину пал, пальтишком накрылся... Как у мамы за пазушкой.

Пароходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся да наутек... И не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя: весь в оленьей шерсти. О, кто бы меня шомполом оловянным настегал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец; невеличка осталась Кузнечевская слободка. Домишки как коробки худые, а нельзя не пройти. По дороге канава: с горы вода летит, льет. Мостик был, да сплыл. Я размахнулся да — р-раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках!.. Тут я духом упал, тут весь форс потерял.

«Эх, Митя, Митя!.. Век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил!»

И поворотил я обратно — скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит.

«Эх, Машенька Кярстен, потерял я тебя!..»

А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук.

— Мастер, вы худо сделали.

— Худо сделал, дак и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, дак и без денег сиди...

— Мастер, вы мне карман не прилепите хоть на живую бы нитку?

— Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво где, за углом, портниха живет, дом номер восемь.

Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного... Дом номер восемь... Крылечко и сенцы чистенькие, половички тканые. За дверью швейна машина стучит. Поколотился.

— Зайдите.

За порог ступил, у оконца... она!

...Радость любезна бывает слезна... Захватилась за меня, руками за шею напала.

— Вы въявь ли мне видитесь?! Не во сне ли мне кажетесь?!

— Машенька, в день веселья моего не плачь!

— Жить-то начинать без вас тошно было! Как в погребу сидела, с вами рассталась...

— Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали: надо восемь — восемнадцать сказали...

Третий год с нею живу. Каждый день как в гостях гощу. Така хозяюшка, така голубушка!.. На пароходе со мной в море выпросится.

— Машенька, там тебя заплеснет валом.

— Митенька, ты меня крепче держи-то.

Смывалиха встретилась:

— Поздравляю, Митенька! Умно ты родился, да умно и женился.

— Соврала номер-то, вралья редкозубая!

— Забы-ыла!..

РАССКАЗ СОЛОМОНИДЫ ИВАНОВНЫ

У нас родитель беда грозный был.

Еще ребята никто не родились, мамку пришли подружки на игрище звать:

— Марфа, пойдем на качели.

— Ивана дома нету.

— А что там Иван, приведем таку же.

В вечерню домой явилась, муж не глядит:

— Где была?!

— На качели.

— Неси вожжи.

Она сходила за вожжами — да в ноги:

— Прости, Иван, боле никуда не пойду.

До старости нигде не бывала.

Братишко пяти годов баловал да окно разбил. Татка его схватил, засек до кровей. А мамка ткет, слезы ручьем бежат, не смеет молвить. Братишко из-под ремня ей кричит:

— Мамушка, мамушка! Не плачь, мне совсем не больно!

Я семи лет овец пасла, с ягнятами заигралась, овцы в огород зашли... Татушка был ростом велик, я маленька... Меня за рубашонку повесил — да ремнем. Я как птица... Сек, сек — под порог свиснул.

Братья уж не молоды были. Андрей вдовел, у Мартемьяна ребят двое. Жили — не делились. Родитель коня купил с изъяном. Мы не смеем язык высунуть, что конь худой. Уж через месяц в праздник братья выпили да проказались:

— Кто рад — эку клячу!..

Родитель с палатей и заспущался, страшной, грозной.

— Андрей, подай сюда узду!

Брат узду в руки подал. Родитель схватил узду лошадину — да удилами его по лицу.

Шибанул узду под порог.

— Мартемьян, подай узду!

Тот увернулся от отцовской руки — да в двери. Неделю прятался. Татка его в соседях нашел, в ноги сыну падал, прощался.

Никто никого эдак не боится, как мы татки боялись.

Так его боялись, без брани, а как он заходит в избу — в глаза глядим, какой взгляд.

Мы рады, как он на промысел уплывет. Мы его не порато жалели. Он и маленьких нас на колени не бирал.

Девкой я семь годов кряду с таткой семгу промышлять ездила по рекам. Семь годов молчала... Я как вода. Он куда скажет, я туда. Он меня не бранил. Он жалел меня...

Не очень так, чтобы припадал... Однажды на полатях лежу, шубу с краю подложил:

— Моя-та дева упадет!

Я выросла в такой грозе, дак человека не найти, чтобы я не уладила. Худо без добра не живет.

Было купил мне татка о празднике шелковой плат.

Надо в ноги поблагодарить, потом нарядиться, я не поспела, в часовню обновкой хвастать побежала. Татка и обиделся:

— В нонешних детях благодарности нету. Им бы схватить, а за труд не покорились.

Мамка выскочила мне навстречу:

— Поди скорее, поклонись отцу!

Я — в избу, он на печи. Я думаю: пасть бы в ноги, дак спит. Что печке кланяться? Лучше подожду — с печи полезет, упаду ему в праву ножечку... До ночи караулила в обновке...

У нас река была бедна; серо-серо наряжались. Заведем обновку, дак уж навек. Завод у нас очень трудной.

...А мы не тужим. Работа грязна, в тряпках весь век ходим. Починенное лучше нового радеем: хранить не надо.

Татушка восьмидесяти годов помер. Болен не бывал, голова не баливала. В избушке сине от угара — ему ладно. Сколько он зверя — медведей, лисиц, куниц, росомах, белки, сколько птиц, сколько рыбы добывал!

...В умерший день с утра заскучал:

— Подайте ружье, я хоть к сердцу прижму... Нет... Напромышлялся... Возьмите мое ружье!

Лег на лавку. Больше и все. Я плакала ему:

Кого мы будем бояться?
Кто теперь будет грозить?
Все будем сами себе больши,
Все будем нарозь глядеть.
Некому будет связать...

Я замуж ушла. В нашей стороне замужем жить — надо лошадину силу иметь. Мужики — с лесом, а женки — с пашней. Земля не оправдывает, а от нее не отвяжешься. Кабы не лес да не белка, мы бы померли.

Мужа на все лето в леса провожу, сеять надо. Шесть пудов ржи посею. Поле одна выпашу сохой. Дома ложки не могу донести до рта, трясутся руки. Лица умыть не могу. На гору с ведрами ползунком ползу. Страда у нас, как гора, прикатывается. Свое рано выжну, к чужим наймусь. Смолода я триста снопов в день жала. Уж не глядела на небо, без расклонки жала, стоять нехорошо и сидеть нехорошо, жнея коль совестна.

Однажды я пять рублей выжала у богачки.

Вот эдак пашем, копаем, сеем, смотришь — утренник пал и все пропало... Урожая нет, дак леса начнем проведывать: леса уж сколько опять поддержат. А иные пойдут за белкой, за зверем — снег-то нападет.

Когда хлеб приходит, тогда и ягоды — морошка, черника, брусница. Вот дело-то у баб! Я за десять верст по ягоды ходила, по две ночи в лесу ночевала. По два пуда зараз вынашивала. Устану как!.. Опять без грибов не прожить. По борам хожу, все посматриваю: медведь бы не попал. Медведицы — они бедовы! Съест не съест, а уж выпугат!..

Осень придет — прясть надо, и ткать, и молотить.

С тканьем да с пряжей все, все убились!

Тканье еще легче, а пряжа — ой!.. Кудели-то чистишь... Легче стало: машины пошли да ситцы.

Горе и с ребятами было. Одни растут, другие родятся. «Уа» да «уа» — уши сквозь. Бедны байкают:

Спи-усни.
Хоть сейчас умри
Татка с работки
Гробок принесет,
Мамка у печки
Блинков напекет.

Мужа на германскую войну спроводила, лес рубить в артель вкупилась с маленьким Ванюшкой.

Снег под пазуху, лес охватом не охватишь... Дерев шесть-семь ссеку и снег сгребу, обделаю всю кору. Тяжело порато кору обделывать морожену — она ледяна; топор соскакиват, топор со всех сил надо держать.

Иванушко мне помогал, девяти годов, топорком.

В потемни в лесную избушку бредем. Там повалком мужики лежат: угар, табак, матерщина. Под порог упаду, сплю как убита, на себе все мокро. Мужики меня в артель брали, думали: «Бабенка — как кошка, пустяки на ейну долю приведутся». А увидели — не меньше их выколотила. Стали посматривать косо.

Канун рождества стали от артели отбрасывать. Слез у меня сколько было! А Марута, мужик рассудительный, уговаривает: «Не реви! Плюнь на всех! Проси на рознь...» Выпросила участок особо. Мороз градусов сорок — сорок пять. Идешь в лес-то, зубы ломит. А там как слупишь дерево, да снегу аршина на два, да кору как железну обделаешь, дак все сбросишь. В одной холщовой рубахе — и то мокрехонька, как мышь...

СТАРЫЕ СТАРУХИ

На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.

«Домоправительница» наша Наталья Петровна привыкла в деревне с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят, керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет у лучины.

— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащепал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть... А керосин — вонища от него, карману изъян, на стекла расход; лампу от ребят храни... Люблю свет, который сама сделала.

Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает, сено в охапке.

— Петровна, дом спалишь!

— Вы с лампами не спалите.

Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа,— керосиновая лампа.

— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивой пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях остались... А уж Лампияда Керосиновна не выдаст... лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.

Бывало, заведут избомытье — подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей,— Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:

— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!

Мать равным образом поклонится в пояс:

— Мойте-ко, голубушки, благословясь!

Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашеные. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под го-

лика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой да во всю мочь. При этом вслух сравнивают обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой: «Мной хоть полы мой да пороги затирай!..» А пол «отдерет» — как желтилами выжелтит.

Наталья Петровна любуется на нее:

— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.

Гризельда польщена:

— Бело не бело, да дело-то ведено!

— То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.

— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я...

— Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Все минуло...

При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют... Обеим по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:

— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!

И Глафира Васильевна не поддается:

— Беда с теми играть, которые из ума выжили!

Одна другую не слышат, им и не обидно.

Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:

— Вот он! Вот он, бубновой-то король!.. Под Люрсихиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!

Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта...

Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол — чернику не скоро выживешь.

Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фанта-

зия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула, что это банна обдериха, заверещала не по-хорошему да в чем мать родила — на улицу... Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:

— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка́ и вышла!

Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банну дверь да орет:

— Где ты, обдериха?! Зашибу!..

Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить (первые восемнадцать чашек без сахара). Пьет и в зеркало на себя любуется:

— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвецкой на мне сватался?

— А?

— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?

— Медвежин?

— Тьфу! Молчи, глуха,— меньше греха... К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-от оказался женатой!

Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:

— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять...

И тетеньку и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:

— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?.. Как живые вышли. И не так давно было, в турецкую войну... Только Боре-то не надо говорить, что не умеет... обидится. Бог с ним...

А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать.

Мамина мать, Олена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернуть стул, обидится:

— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется... Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся... Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!..

Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:

— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навытяжку, как рекрут на часах...— Застучит тростью, уйдет.

Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней: бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:

— Аниса-то где у вас?

Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает.

— Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Верно, чаи да кофеи с пароходскими распивает.

— Давно ушла?

— Часа два, поди... Пока у тех кофейники-то скипят...

В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение.

Сядет рядом:

— Олена Кирилловна, как поживаете? Невесткити каковы?

— Ничего невестки.

— Лучше-то котора?

— Обе хороши.

— Котора-нибудь лучше уж?

У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:

— Петькина-то уж не совсем... не очень... (а «Петькина» с нею разговаривает). Кофейком уж не угостит...

— Бабенька, да ты целый день за кофейником!

— Свой пью. Никому дела нет...

Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.

У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже áредовы веки доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:

— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.

Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит:

«Ко-ко-ко-ко...»

Мы жили в городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:

— Бабушка, прощай!

— Какой такой среди ночи чай?

И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито:

«Ко-ко-ко?»

Восьмидесятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела; однако, потрясенная операцией, захворала... Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:

— Ты промолви нам последнее словечушко!

Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.

Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?..

Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:

— Попов сколько было? Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно...

Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:

В печи вода поставлена
Олену Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у вас
Тепере часова,
Не векова...

Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми рукавами, взяла Псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать... Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет... Косо так на Петровну посмотрела:

— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?

— В баню пошла... к вам забежала...

— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?!

Но Петровны и след простыл.

Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.

Дочери говорят:

— Мама, мы батюшку пригласили.

— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то — «ба-ба-ба», да и все. А наши-то старухи за рублевку три часа поют да поют.

Однако иерей явился.

— В чем грешна, раба божия?

— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загоришь в аду-то.

— Тебя саму за эти слова в му́ку!

— Я тоща, я худо загорю: головней возьмусь, да и... Ох, кабы кучей мучиться-то... Все бы веселее...

— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.

— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко, со всех сторон, пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?

Священник недоумевает, все молчат...

Старуха рассмехнулась:

— Могила, кто же больше!.. Ну, простите. Не велю вам скучать.

Тут и все.

А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:

— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.

АНИСА

У отца было три сына. Старшие вовремя выучились и к торговому делу присвоились. Во пору женились и гнездо развели. Только про младшего родители горевали, а люди судачили. Санька в грамоту был вострой, кончил коммерческу школу, а про торговлю слышать не хотел. Три дела держал на уме: первое — на корабельных верфях мастерам пособлял, еду и сон забывал; второе — в картишки играл; третье — солом-

бальскую красавицу Анису обожал. Знаком не был, издали любовался. Ее увидел Санька на масленой, во время гулянья, когда бывает шествие по Архангельскому городу оснащенного корабля. Корабль везут по главной улице одношерстные кони. На корабле стоит живой бык с позолоченными рогами; кругом нарядные девицы и кавалеры. Увидел Анису Санька и закручинился. От людей слышал, что девка насмешница, баловница, почтенных родителей дочь. Санька в городе жил, она на Соломбальском острове, и парень редкий день в Соломбалу не бегал — взглянуть, как с крылечка спустится, в карбас сядет, рукой парус возьмет. А попадись она лицом к лицу на мосту или в лодке, Санька в воду бы пал. Так его юность проходила.

Потом прошел слух, что Аниса замуж ушла в Норвегию. Санька надолго пропал из дому. Выпросился в подмастерья к именитому кораблестроителю Конону и два года работал в Помории — забывал свою любовь. Санькина мать радовалась:

— Теперь я спокойна,— Конона корабельщика вся вселенна почитает.

Отец в ответ:

— Конон Иванович отменитой мастер. Только не страм ли нашей фамилии, если мой сын с топором в руках будет за гроши поденщичать, а сторонние люди его корабли станут товаром нагружать, за море отправлять да тыщи загребать. Не для того я парня от солдатчины откупил, чтобы он чернорабочим сделался.

Весной Санька приехал домой на побывку, и отец начал со старшими сыновьями советовать, как бы беспутного в купеческое дело впрячь. Те говорят:

— Сосед в Норвегу шкуну сряжат. Пошли-ко с Санькой мучки хоть немножко. Пущай на рыбу выменят. Рыба сей год у нас будет дорога́.

Отец вызывает Саньку:

— Ты, парень, в полных годах. И красен телом, да мал делом. Пора робячьи бобушки бросить. Сосед в Норвегу похо́дит и тебя прихватит. Доверяю тебе муки двацать кулей. Норвега промену даст рыбой. Трешшочки, па́лтасинки привезешь, этта продадим, у барыша ты в паю будешь.

Парень затужил было по мастере Кононе. Конона кто раз узнал, век почитать будет, однако и за границу попасть охота. Сошили нашему путешественнику

тройку хорóшу шевиотову, рубах накрахмалили, подорожников напекли. Спровадили.

Когда в море выбежали, на волю, на ветер да на простор, радость Саньке припáла. Будто новый сделался.

Капитан дразнит:

— Порато весел, Саня! Обратно ужо плакать будешь.

И в Норвеге все веселит, он тут сам себе барин. Бритой да модной сходил с визитом к консулу, дале отправился в город. На угоре норвецка керке и там орган играт, было воскресенье. Санька зашел да и перекрестился. И кряду на него некотора прекрасна дама глаза приворотила. Народ сидят, в книжки нос улепили, а эта на парня зарится. И Санька на ей зглянул, и сердце у него остановилось. Така она, каку ему надо. У ей все тако, как он жалат. А дума думу побиват:

— Я эту особу где-то видал?! Ейно лицо мне знакомо...

Народ из керки завыходили. Санька сзади этой барыни ступат. Она оглянулась, говорит:

— Думаю, не русской ли вы?

— Русской. И вы по говори-то русска?

...И вдруг его как ударило:

— Аниса!! Я вас знаю! Вы Аниса!

Норвежана на них запоглядывали. Санька застыдился и отстал. Однако досмотрел, что дом, куда она дошла, с магазином. Вернулся на шкуну, пал на койку, костюма не сложил. Капитан подивился:

— Саня, здоров ли?

— Болен. Влюбился.

В виде шутки помянул про свою встречу. Капитан говорит:

— А ведь я слыхал про эту особу. Взета сюда из Архангельска за старого куфмана. У мужишка-то, бывало, во всю навигацию притон, карты, пьянство. А твоя-то красавица, сказывают, многим была на радость. Ты сходи, понюхай...

Назавтра Санька таким ли щеголем ходит мимо тот дом. Из лавки и лезет пузатой старичонко, кричит:

— Тузи так! Заходи в мой крам!

Санька не отказался, думат, не покажется ли она. Купчишко около юлит:

— Может, в картишки перекинемся? А то... есть у

меня на дому товар тебе по уму. Приди, как магазины закроют. За погляденье сто рублей.

Парню жарко стало: «Видно, капитан-то не соврал!.. Не чай пить куфман приглашат».

На пристань прибежал, муку свою, не спросившись, не сказавшись, первому попавшему покупателю за сто рублей бросил и в потеменках явился к бретому старику. Тот лавку замкнул и садом провел его к себе на квартиру. Посадил в большой залы на диван, зажег лампы, занавесил окна и позвал:

— Аниса!

Зашла в зало Санькина красавица. Разделась перед зеркалом гола, и старик провел ей нагу кругом залы. Санька вскочил как безумный, кинул сто рублей и убежал на шкуну. Там спешка — завтра плывут обратно в Русь. У Саньки ни товару, ни денег. А всю дорогу от любви плакал, не о товаре:

— Эх, Аниса, Аниса! Как ты мне на сердце села.

Дома отец покричал, покричал, да и махнул рукой. Санька эту зиму из-за прилавка не выходит, кули таскат, счета ведет. На уме-то: уважу, дак в Норвегу спустят... Зимы конца не было, а весна пришла. Санька не пьет, не ест:

— Папа, спусти в Норвегу, сейгод не подкачаю!

Отец и доверил на полтретьяста норвецких крон.

Как пьяницу на вино, так Саньку в тот дом с магазином. Товар прилюбился, дак и ум отступился. Опять старичонко его зазвал и нагу красавицу при свете ламп и свечей показал. Она этот раз тихонько, как бы в танце по залы прошлась, против гостя приостановилась, рассмехнулась. Санька бросил старику весь бумажник и убежал на шкуну. А в бумажнике вся выручка, без мала полтысячи... И тысяча была бы, не пожалел бы для этой Анисы.

Домой приплыл, будто после запоя. Отец — ни на глаза. Всему племени бедно над злосчастным:

— Беда с Санькой! Оприкосили, испортили его норвежана!..

В зиму мати стряхнулась было с женитьбой — на сына не худы зарились, да он и разговору не повел. Об Анисе пуще старого заскучал. И ото всех таит, никому не сказыват. Это тяжеле всего.

Опять весна пошла, лето и... о Норвеге заикнуться нельзя. Санька дробовку за плечо да на бор. Неделями

дома нету. Обородател, похудел. Родитель только однажды ему проговорил:

— Жалко, ах как жалко, что тебя от солдатчины откупил. Люди-те при мне тебя бродягой взвеличали!

День за днем, мрачно время приходит, осень, распута. Бредет оногды Санька по набережной, а знакомой почтовой чиновник и окликат:

— Саня, тебе гранично письмо до востребованья есть!

Санька на почту прилетел, конверт разорвал, читат: «Вызнала ваше дорогое имя у пароходских. Почто сейгод не гостили? Ждала цело лето. Обажаю вас, Саничка, с первого взгляду в керки. Я тогды тебя забыду, когда закроюцце глаза...»

Письма не дочитал, полетел по пароходским конторам.

— Пароходы в Норвегу еще будут?

— Завтра последний с тесом походит...

Дома матери в ноги:

— Где хошь, к утру сотенну добывай! Нать в Норвегу.

— Дитетко, не плавай! Санюшка, не теряйся!

— Маманька, напрасно... Папы скажи — уехал либо добыть, либо домой не быть...

Этот раз и Белым и Мурманским морем из-за осенних туманов долго шли.

Санька лежит в каюты, не думат ни о чем, никаких планов не строит... У норвежского берега те же дожди. Нашему путешественнику это на руку. В воскресенье он застегнулся дождевиком, кепку на нос нахлупил, шагат в керку. У норвежан в праздник работы не задевают, как в клуб, в керку свою идут. Аниса хоть не моляша, тоже была. Санька из дверей смотрит, ждет... После пенья народ повалил. Санька в темном переходе прижал свою прекрасну даму за бок... Не охнула и не ахнула,— вот сколь бабы не крепки! — только побелела, как береста, уронила сумочку, и пока Санька подымал, шепнула:

— В полночь, черным крыльцом!

О полночь он зашел во двор — ни дворника, ни собаки. Залез в сени... Кто-то его обнимат, припадат, в горницу тащит. Золото с золотом свилося, жемчужина с другою скатилась!

Санька говорит:

— Ты меня весь мой век мучила...

— Нет, ты меня мучил! Разве настояшшой мушшина так поступат? Придешь, эдаки деньги из-за меня старому черту бросишь да издале и любуиссе!

— Я к тебе и дороги не смел прокладывать. Думал, эдака королева...

— А ты чем не король? Я отсель тебя скоро не выпущу. Согласись у меня в секрете пожить?

— Да, Аниса. Я тебя с семнадцати годов жадал.

— А о старичонке не беспокойся. Я его во свои комнаты года два не пускаю. Да он что-то стал временем будто не в полном уме. Знат, деньги считат да в карты тешится.

Жирует Санька у своей желанной тайно от всех. Спит под ейным отласным одеялом. Утром кофейку попьет, книжку почитат, а там завтраки, обеды... Подружка куда пойдет, дружка на ключ закроет. Эдаким побытом зима на извод пошла.

Санька что-то невесел:

— Аниса, бесчестно мне у твоего куфмана в доме жить.

Честна жена на него с гневом:

— А я здесь не хозяйка? Я разве гола сюда приехала?! Мало приданого сюда привезла? Мало денег ему здесь нажила?!

— Что я спрошу тебя, Аниса, почему ты за старого пошла?

— С дику, бажоной. Перед подружками нать было похвастаться, что муж иностранец. Вышла шутя, думала, что за Европа, что за Норвега. Дале узнала... У старика тогда шикарной ресторан был, картеж... И я главна приманка. За одно погляденье англичана деньгами, американа бральянтами платили. Пять годов я как на горячем отюге жила. Дале заскучала, домой, в Русь тошнехонько захотела.

Мужишко заметил, что я приуныла, до копеечки меня ограбил. Судей купил, в опеку меня взял, сундучишки мои к себе перенес. Ну, я всегда была на это незавидна. Хватай, думаю, только меня в покое оставь... И вот ты, Санюшка, жизнь моя, явился. Я как из гроба встала...

Стариковы комнаты находились в верхнем этаже, и внизу было слыхать, как супруги бранятся по хозяйству. Как-то раз Аниса прибежала от мужа в слезах:

— О, надоело, пятаками да четвертаками у этого Кощея выманивать: на керосин и то спрашивай...

Этой ночью она вдруг спросила Саньку:

— Вот что, бажоной, ты в карты не мастер?

— Игрывал.

— Дак вот како дело, хватит тебе мышью в подполье сидеть. Сходи сразись со стариком в картишки. И еще я придумала — наложи егову шапку оленью. Он будет на шапку дивить, а ты не зевай.

— Ведь он тому подивит, что я не в показанное время явился?

— Не подивит. Есть этта от пароходов остается шляющих.

Санька намылся, набрился, нарядился, вылез задним двором, обошел сад и ступает мимо лавки. Куфман сбарабанил в окно. Санька зашел. Хозяин стул поддерьгат:

— С приездом! В картишки сыграем?

— Можно.

Играют, и вдруг купчишко обратил вниманье на гостеву шапку: «Моя шапка!.. Ни у кого такой не бывало...» А спросить неловко... Спутался несчастной и проиграл. Три раз сыграли, и все он не о картах, а о шапке... Продул Саньке триста. Заерестился:

— Подемте красавицу за сто рублей глядеть?!

— Благодарим, насмотрелись.

Хозяин лавку запират, а Санька к Анисы.

Она шапку схватила, бегом унесла наверх. Старик пришел, зашумел на лестнице:

— Аниса! Где моя шапка?

— Кака шапка?

— Моя шапка белой оленины со звенышками!

— А куда ложишь? Верно, в шкапу!

Шкап открыли, она там и висит. Старик дивится:

— Что за лешой! Чик в чик сегодня таку шапку у покупателя видел... Тьпфу!!

Санька говорит подруге:

— Против совести, против характера мне этот картеж.

Аниса вспыхнула:

— Ты для меня добывашь! Это мои деньги! Судом не высудишь, силой не схватишь. Одно остается — хитрость.

Опять сколько-то времени живут. Аниса забралась к мужу наверх, добыла праздничну вышиту рубаху. Нарядила любовника.

Куфману отыграться охота, увидел, выскочил из магазина:

— Пожалте, пожалте! Вы гуляете, а картишки скучают!

Санька пальто скинул, партнер на рубаху бельма вылупил.

Карты на руках, а в головы двоит: «Моя рубаха... А пес знат, мало ли рубах... Нет, моя, руска вышивка...»

Из-за этой рубахи парень опять триста рубликов унес.

Только рубаха на место попала, муж летит:

— Черт! Тьфу! Кому ты, тварина, мою рубаху дала? Я други триста от рубахи прогадал!

— Где быть твоим рубахам, кроме комоды?.. Вот она! Что ты орешь-то, скоблено рыло, еретик! Ах ты, балда пóла, сатана плешива!

Досыта наругалась невинна, обиженна женщина, отвела душу.

На третий раз (на дворе-то уж весна пошла) Аниса перестень мужнев выудила. Санька перчатку напялил, идет. Куфман за ним в сугонь:

— Не дам с выигрышем уехать! Хоть раз нажгу!

За игрой наш обдувало перчатку снял. Кольцо-то и воссияло. У бедного старика опять игра сбилась: «...мое кольцо... Мой фасон... Спрошу... Нет, неудобно...»

Всего за три раза наказали наши земляки почтенного старичка на девять сотенных. Теперь они сами себе господа!

А Санька о другом забеспокоился:

— Аниса, я в городе показался. Время вешно, народу людно. Заметят, что у тебя живу.

Она день-два со стариком ладно поразговаривала, сказыват любовнику:

— Барину моему на лето прикашшик надо рыбу закупить. Ты эким анделом зайди, дешево запроси. Он тя схватит.

Санька заходит в лавку, куфман козой глядит:

— Нет уж, в карты наигрались!..

— Не до карт, господин куфман! Я посоветоваться. У меня шкуну разбило, незастрахованный товар потонул. Я разорен. Ищу работы.

— Так и надо! Потому и потонул, что не обыгрывай в карты. А каку работу можешь?

— Доверенным, приказчиком...

— Мне русской приказчик надо. Сколько просишь?

Санька назвал смешную цифру. Старик на дешево лакомой. Сладились.

Теперь не надо прятаться, входя-выходя. Ловче жить стало.

— А мне этого стало мало,— припадат к дружку подружка.— Мы с тобой молоды да могутны, нам песню-ту во весь голос надо спеть. Мне при всех хоть однажды охота с тобой рука в руку погулять, чтобы все увидели, все позарились. Шурочка, век наш недолгой, выпьем по полной!

— Аниса, у твоего старика в дому я связан... Каша не наша, котел не свой...

— Ужо погоди, проведаю, ладит ли он у моря дачу снимать.

Невдолги видит Санька — его любезна пляшет да поет.

— Что за радость?

— Меня посылат на дачу, тебя по рыбу, сам при лавке останется. Что губы надул? Дача-то ведь в том же рыбном становище. В одном домичке будем жить у водички. Вечерком двоима в лодочки — ты грести, я править... На мох по морошку пойдем.

— Кряду и донесут.

— Пушшай доносят. Я придумала запутать муженька.

Назавтра и приказчик наш с новостями:

— Хозяин спешно выпроваживает, боится, как бы конкуренты впереди не забежали. И тебе, Аниса, велит сряжаться.

Аниса полетела наверх.

— Вот что, милостивый осударь, ты помощника имеш, и я без прислуги одна в рыбну бочку не полезу.

— Оставайся дома. На прислугу лишних капиталов нет.

— На лешой твои капиталы! Ты прикащика жени, вот мне дарова кухарка.

— А то верно! Только с улицы бабу в дом не допущу.

— Черт ли с улицы! У соседа девка — куда с добром!

— Не помню такой. Надо посмотреть.

— А завтра чуть свет она крыльцо мести будет. Ты сходи.

На заре вверху половицы заскрипели, тот девку смотреть засобирался. Аниса набивной сарафанишко надернула, ситцевым платком завязалась, задним двором в соседи забежала и пашет крыльцо. А благоверный ейной пройдет мимо да поглядит, пройдет да поглядит. Дале ушел. Она опять кругом обежала, переоделась и наверх.

— Видел девку? Какова?

— Что за черт! До чего на тебя похожа! И ростом, и постатью, и всем. Как же люди разбираться будут — где барыня, где кухарка?

— Знамо, что котора в хорошем платье — дак барыня, а в немудром — дак кухарка.

Аниса и на самом деле бедного соседа девчонку взяла, только никому не показала, а скорехонько и с ней и с любовником усвистала на дачу. Оттуда бросила мужу открытку, что приказчик женился.

У старика делов тоже выше головы. В гавани полно пароходов, моряков. Он винишком поторговыват, с шулерами заодно деннонощной картеж заварил. Спать некогда.

Аниски с Санькой давно хорошо. Открыто с прихехе жоночка загуляла. Хоть день, да мой! Всякой вечер в шлюпке под парусом катаются, на угоре при публике в обнимку сидят, в ресторанчике вместе выпивают, закусывают. Аниска завсе в новых туалетах. Санька тоже вытягается. И все на их глядят, все завидуют:

— Ах, кака прелестна парочка. Это счастливы молодожены медовый месяц провожают.

А дни, как гуси, пролетают.

Санька увидал как-то два-три знакомых лица. Ночью поскучал:

— Нам аккуратно бы надо, Аниса! Прихлопнет нас твой благоверный.

— Ты меня, Саня, не брани. Я как чудный сон гляжу — с тобой гуляю. А туда написано, что приказщик соседской дочерью оженился. Пусть разбират.

Экой приятной скандальчик, что супружница кавалера наружно любит, старичку, конечно, рассказывают — каждой, кому не лень.

Он над дураком хохочет:

— Бросьте, господа! Сплошно недорозумение! С ним не моя жена, а его собственна. Это кухарка наша. Действительно, она с женой очень похожи. Я сам поражаюсь...

А счастливым молодоженам как-то вдруг стало не до смеху. Им письма обидны заподкидывали, сторонни люди нахально заощерялись... Санька брови хмурит:

— Довольно, Аниса, по ножевому острею ходить. На волоске повисла наша хитрость.

И вдруг на Анисе телеграмма:

— Буду по первому пароходу. Встретить вышли приказчика с женой.

. . . .

— Что, Санюшка, дале хитрить да прятать али расставанье приходит?

— Аниса, убежим со мной!

— Возьмешь, дак...

— Я бы с первых ден. Да некуда взеть-то! Везде кошелек спросят.

— Саня, я тебе всеише нать?

— Век будешь нать, Аниса!

— Велико ты слово сказал... Теперь бежи, купи вина корзину. Половина коньяку, другу́ — рому норвецкого. Сам-от завтра будет, срядим встречу на радостях, а там увидашь...

Утром хитра баба спровадила настоящу-ту кухарку в гости на три дня, а к пароходу вышла с Санькой.

Старик не здоровается:

— Зачем сама? Где его жена?

— Прихворнула, ко своим отпросилась.

Молча пришли к Анисы в номер... Цветы, закуски, салфетки, бутылки в четыре ряда. Старик хлопнул стаканчик-другой и отмяк.

— Ну, поздравляю тебя, любезный, с законным браком. Бабу свою завтра же мне предъяви. А пока выпьем.

Рюмка за рюмкой, дорогой гость песню запел. Три дня его поили. И когда в лежку лег да кокушкой закуковал, Аниса говорит:

— Он, таков, ден пять проживет. Я за кухаркой побежу, ты чемодан увязывай. Корабли на Русь по утрам уходят.

Управились. Наказывают девчонке:

— Хозяин заболел, наблюдай его, не отходи. Мы по торговому делу дня два проездим. Вот деньги, хватит на поправку.

На катере к утру добрались до города. В тот же

день сели на русское судно. Саня ни праха не дозволил Анисе с собой взять:

— Оставь куфману эти часики да браслетки, шляпки да гаржетки. В Архангельске я у корабельного строения кряду работу добуду.

И таким побытом в радости угребли на Русь.

Ни Санька, ни Аниса наперво не показались своей родне. Он с парохода побежал на Соломбальские верфи, к корабельщику Конону. Сразу получил работу и квартиру.

Потом и у своих побывали Саня и Аниса. Никто слова поперечного не посмел нанести.

Эту пору так радовался Санька, что и времени на сон тратить жалел.

В солнечную ночь плывет с Анисой под парусом, сам все рассказывает:

— К этому берегу, Аниса, я лета два ходил, тебя караулил... Под этой пристанью, Аниса, я однажды ночь просидел, тебя с гулянья дожидаючи, весь от дождя перемок...

ВОЛОДЬКА ДОБРЫНИН

У Архангельского города, у корабельного прибегища, жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нем после мужа повелся сиротский. Добрыниха держала у Рыбной пристани ларек. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку сряжала.

Володька еще при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу. Знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию — печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины.

Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли.

И случилось, что один товарищ поспоровал с ними и донес властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла.

Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной — тревога. Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул а́ншпугом половицу:

— Спасайтесь, ребята!.. Лезь в тайник! А я останусь. Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит...

Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери:

— Один ты у станка?

— А что, вам сотню надо?

Повели Володеньку под конвоем.

Дитятка за ручку, матку за сердечко.

Плачет, как река течет. А сын говорит:

— Не плачь, маменька! За правое дело стою смело.

Конвойный рассмехнулся:

— Какое же твое правое дело, мышь подпольная?

Володька ему:

— Ничего, дождемся поры, дак и мы из норы.

Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы.

Близ рот на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в роты, носила милостыну. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором.

Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до семнадцати годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше и запечалилась. От няньки секретов не держала,— старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть.

Отец Маринин, как на грех, в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку:

— Не опущайте такого случая. Против Добрынина мало в Архангельском городе ученых. Молодец учтивой и деликатной. Суд когда-то соберется. До тех пор ваша дочь пользу возьмет.

Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятею.

Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеянны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращенье в роты.

уж очень быстролетные часы свободы. О полной воле затосковал. Бывало, придет, рассмехнется, а теперь — как мать умерла у маленького мальчика.

Нянька спросит по Марининому наученью:

— Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька.

— Ох, нянюшка, думу в кандалы не забьешь!

Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Марининому ученью.

Смотрит бедный учитель в окно. Не слышит, что читает девочка. За окном острова беспредельная ширь устья двинского, а там море и воля.

Нянька говорит:

— С вашей читки голову разломит. Вышли бы вы, молодежь, на угор.

Володька говорит:

— Меня вдаль караульны не пустят.

— С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода.

Пришли на взглавье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит.

Нянька толкует:

— Сядем этта. Солнце уж на обеднике, а в окурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдет. Матросы сказывали. Подождем, насмотримся. Вишь ветер какую волну разводит... Володя, почто побледнел?

А у Володьки мысли вихрем: «Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину?.. Нет, бросится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, дак всяко наскитаюсь. Жалко ее. Поскучает да и забудет».

А вслух говорит:

— Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу — сходите на болото по ягодки на полчасика. А я выкупаюсь.

Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.

Володька еще крикнул:

— Потону, матерь мою не оставьте!

Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то ему вслед, но пловец уже не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.

Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой. Видя, что Добры-

нина долго нет, встревоженная и обеспокоенная девушка заставила добыть лодку, и, сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный и отважный, утонул. Нянька натака́ла до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли.

Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купанья. Свидетелем ставил сам. На том дело и покончили.

Только мать, как узнала, столько пролила слез, дак ручей столько не тек. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила: сколько было в сердце нежности к сыну, всю на матерь его перенесла.

Володька не погиб.

Есть счастливцы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах. И берут людей без разбора. Почто не испытать судьбу?

Чтоб избежать горького расставанья с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дождаться и объявить о себе криком.

И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирко выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут нагой, зубов не может сцепить, мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу.

Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почуяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем — от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, и пригожеством лица, и речами, и очами.

Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал:

— Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Ес-

ли угодно, представлю вас своему другу, бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем.

Добрынину остается только кланяться.

В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику.

В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался вольный город. Председателем был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своем веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познаньям молодого пришельца.

Кроме родного Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский, и его положили доверенным к приему иноземных послов.

Так четыре года прошло. Четыре холодных зимы, четыре летичка теплых прокатилось. Володька доверие Гамбургского совета полной мерой оправдал. Он кому и делом не приробится, дак лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег — как сон вспоминаются. Здесь все иное и дума другая.

Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.

Скоро сказывается, а дело долго делается.

Тут приходят на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел и больше в Гамбурге воле не быть, а быть порядкам прусским. Сроку дается месяц.

День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой противустать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трем главным советникам.

Один сказал:

— Берусь вырядить вольности на полгода.

Другой сказал:

— Моего ума хватит добыть воли на год.

Третий, годами старший, сказал:

— А и моей хитростью-мудростью больше как на три года вольности не вырвать...

Володька был тоже созван в ту ночь к городской думе.

И тут его сердце петухом запело.

Встал и сказал:

— А я доспею воли городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит...

Выбирать не приходится.

Его и послали рядиться с пруссаками.

С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит — как рублем дарит. Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело, как гусли, гудет. Складно да ладно. Пруссаки против его доводов и слова не доискались:

— Вы, гамбурцы, люди речисты, вам все дороги чисты.

Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо:

«Быть Гамбургу вольным городом донележе солнце сияет и мир стоит. А королю не вступиться, и прусским порядкам не быть».

Только и вырядили послы ежегодно два корабля соленой рыбы королевскому двору.

Ну, рыбы не жалко. Рыбы море-кормилец несчетно родит.

В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина[1]. А сам он возведен в степень верховного бургомистра. По заслугам молодца и жалуют.

И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на седьмой год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине:

Мамушка, жива ли ты?
Может, где скитаешься!
Марина, помнишь ли меня?
Простили ли вы меня?

И слезы его, как жемчужные зерна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибегищам похаживать, с архангельскими поморами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь в больших русский человек. Вдаль простираться с рас-

[1] Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас.

спросами Володька не стал, а пришел на совет и заявил:

— Прошу отрядить под меня приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою матерь.

Советники понурили головы:

— Любезнейший наш бургомистр. Время осеннее, годы трудные... В море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас!

Он на ответ:

— Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного Гамбурга... А не отпустите — умру!

В три дня готова шкуна трехмачтовая, команда отборная и охранная грамота.

Парус открыли, ветер паруса надунул. В три дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька и с палубы не сходит, не спит и не ест. Так и смотрит, так и ждет.

У Архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье и направился окраинными улицами в обход, чтоб на кого не навернуться.

И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду и хотели убить. Темна ночь, черны дела людские...

Володька закричал:

— Что вы, одичали, на своих бросаетесь! Я сам мазурик, на дело бежал...

Тут один рычит:

— Убить без разговоров!

— Кряду ножом порешить.

— Убежит, на нас докажет.

Другие возражают:

— Утром зарежем. А то с кровью проканителимся, ночная работа пропадет. Петухи уж вторые поют.

Володька надежды не теряет:

— Возьмите вы меня на ночную-то работу. На это против меня не найдете мастера!

— Ну, идем... Только уж смотри, закричишь или побежишь — тут тебе и нож в глотку.

Долго шли по продольной улице, свернули на поперечную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу

ночную узнает пленник — улица их, Добрынинская, и дом их.

Главный шепчет:

— Здесь старуха живет, Добрыниха. Налево пристройка, окно с худой ставней. Тут у них кладовая клеть. Медна посуда есть, одежонка... Пусть один в оконницу пропехается, будет добро подавать, мы принимать.

У Володьки сердце то остановится, то забьется:

— Я горазд в окна попадать. Меня подсадите.

— Тебя одного не пустим, лезьте двое.

К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался еще один.

В опасности голова работает круто. Закричать?.. Стены глухие, кто услышит ли?

Стучать? Нет ли чего тяжелого...

Наткнулся на весы. Нащупал гирю. А страшный компаньон к нему:

— Мы что, гадюка, играть сюда пришли?! Ломай замок у сундука!

Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил его за горло и подмял под себя, а гирей в правой руке и ногой приправил, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича:

— Карау-ул! Спаси-и-те!

В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил его ножом, да мимо, только сукно рассек, затем кинулся в окно и выбросился наружу.

Скоро далекий топот ног известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули.

Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал:

— Не троньте меня, не смейте. Ведите сюда хозяйку Добрыниху.

А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарем.

И тут у нее ноги подрезало, и она закричала с рыданьем:

— Не смейте!.. Это сын, сын Володя, воротился!

Пала мать сыну на грудь:

Беленькой ты да голубочик!
Миленькой мой да соколик!
Желанненько мое чадышко!

Из глаз-то ты уехал,
Из памяти ты да не вышел!
Как я тебя жалела,
Да как я тебя дожидала!

Тут не бела береза подломилась, не кудряве зелéна поклонилась, повалился сын матери в ноги.

— Дитятко, не мне кланяйся. Благодари Марину Ивановну — только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня заместо матери почитала.

— Маменька, где она?!

— Тут она! За калачами пришла да и ночевать осталась... Точно знала...

И Марина, станом высокая, а нежным лицом все та же, держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится:

— Володенька, как тогда жить-то зачинать без вас горько было. Отец женился, няня померла, я у маменьки у вашей больше гощу. А вас первое время и в живых не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На остатках узнали — в Гамбурге морского найденыша главным начальником положили. На вас думать боялись, а надежды не теряли.

И Володька на ответ:

— Тошнехонько! Бил вас денечек, сам плакал годочек! Марина Ивановна, мама! Перемените печаль на радость, слезы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга. И я за вами на корабле пришел.

Погостил тут Володя сколько привелось, а потом сел с матерью да с невестой на корабль и с вечерней водой, под красой под великой отправились в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе.

ГОСУДАРИ-КОРМЩИКИ

РАССКАЗЫ О КОРМЩИКЕ МАРКЕЛЕ УШАКОВЕ

Русский Север долго хранил устную и письменную память о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.

Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.

Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621—1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «однодумно, односветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны». Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.

МАСТЕР МОЛЧАН

На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана. Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как

его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убери.

Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают. Но у старика брови, как медведи, бородища из-под глаз растет — поди улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.

— Морж, сущий морж! — обижался Маркел.

Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.

Тот пробурчал:

— Что, у меня своих рук нету?

Маркела горе взяло:

— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не прыскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда неугодно...

— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.

Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела, старик говорил:

— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь — рука как по бархату катится.

Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори.

РЯДНИКОВЫ РУКАВИЦЫ

Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные тороса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.

Братия спросили:

— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?

Маркел ответил:

— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.

Все удивились:

— Что за рукавицы?

Кожаный старец объяснил:

— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник-мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать

их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит...» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.

— Сегодня пришел и стребовал! — раздался голос старого Молчана.— Хвалю тебя, Маркел,— продолжал Молчан.— Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.

Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.

Из-за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.

Но расскажем дело по порядку.

Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся меж теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.

Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.

В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:

— Каяне идут. За туманом сюда приворотят. Беги в деревню! Нет ли мужиков...

...К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.

Маркел стоит — его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.

Маркел говорит:

— Это нельзя! Повесь на место!

Тот и ухом не ведет.

Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.

Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?

И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.

А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к своим на помощь. С ним Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.

За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.

КОШЕЛЕК

На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:

— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда...

Завтра поет другое:

— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники...

Молчан наказывал Маркелу:

— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.

Маркел удивился:

— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?

— Да. Как отец за сына.

Как-то, за безветрием, стояло у Соловков заморское судно. Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:

— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.

Маркел говорит:

— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?

Анфим твердит свое:

— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.

При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:

— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу кептена, заплачу за проезд и позову тебя.

Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске... Тут оступился, тут бухнул в воду... Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.

— Обездолил я тебя, Анфимушко! — тужил Маркел, выжимая рубаху.

— Я одного не понимаю,— горячился Анфим,— ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал...

Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.

ВОРОН

Ходил Маркел по лопской тундре, брал ягоду-морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик-лопин:

— Господине, не видал оленя голубого?

— Не видал,— говорит Маркел.

— О, беда! — заплакал мальчик.— Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.

— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас,— говорит Маркел.

Вот они идут по белой тундре край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.

— Они варят оленье мясо,— говорит Маркел.

— Нет, господине,— спорит лопин.— Я видел, у них в котле кипит рыбешка.

— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.

И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.

— Там закопана твоя оленина,— сказал Маркел.

К белому бугру пришли, ворона согнили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.

А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалились, что котел-медник на русском берегу покинули.

Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.

ХУДОЖЕСТВО

Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель. В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книги. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».

Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:

— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?

Маркел отвечал:

— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.

Маркел говаривал:

— Пчела куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет добро́ту (создает красоту).

У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало:

— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример — путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.

НИЧТОЖНЫЙ СРОК

Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.

Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна. К началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.

Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:

— Я удоволил лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.

Собрание спрашивает:

— За какое время ты управил это дело?

Григорий отвечает:

— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.

Собрание говорит:

— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.

Петр Сухой Лоб докладывал:

— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!

Собрание спрашивает:

— Сколько времени ты хлопотал?

— Сколько Гневашев, столько и я. Всю зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.

Собрание говорит:

— Что же... Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет... «Девять дён, девять верст, как сокол летел».

Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:

— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?

Собрание отвечает:

— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.

— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. По чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок...

— Сколь долгий? — спрашивает собрание.

— Девять лет...

Собрание, триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:

— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.

ВИДЕНИЕ

Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле, Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.

Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимко Иняхин.

Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:

— Друг, с тобой все ли ладно?

— А что же, Маркел Иванович? — удивился Анфим.

— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.

— Ужели? — простонал Анфим и заплакал: — Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.

УШАКОВ И ФОМА КЫРКАЛОВ

Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.

Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена — мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами. Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытанно, чая пользы своему любезному художеству.

Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.

Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов[1], поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:

— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь?..

— Нет, нет, Фома Ананьевич,— горестно и гневно отвечал Маркел.— Досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.

Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:

— Когда так, Маркел Иванович,— ты настоящий, истинный художник!

ДОСТОЯНИЕ ВДОВ

Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.

Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.

Приехавший с Петром Первым[2] знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:

— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.

Маркел отвечает:

— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.

— Ах ты пьяница! — вспыхнула барыня. — Я, слабая здоровьем, и то беспокою себя ради голодранцев...

— Нет, ты не слабая,— перебил Маркел.— Ты бо-

---

[1] «Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова.

[2] Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске.

гатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.

Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.

ДОЛГ

Молодой промысловец занял у Маркела денег на перехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на берегу нет, то у должника денег нет.

Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:

— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?

Парень снял шапку:

— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.

Маркел говорит:

— Провались концом! Какие меж нас долги?

— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович...

Маркел говорит:

— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.

На зимовьях народ поужинают да повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.

Время катится, дни торопятся,— сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»

Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по то́лкам. Наконец, стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.

Маркел говорит:

— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.

Ученик возопил:

— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бес-

ценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать?

Маркел говорит:

— Сколько ты должен?

— Без двух гривен пять рублей.

Маркел говорит:

— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой. Титла изучил — другие сорок алтын долой. Склады-слоги складывал — еще сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.

ПОНЯТИЕ ОБ УЧТИВОСТИ

Деревня Лодьма славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.

...Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.

— Эй, борода! — кричит чиновник.

— Все с бородами,— усмехнулись крестьяне.

— Кто у вас тут мастер? — сердится чиновник.

— Все мастера, кто у чего,— отвечают крестьяне.

— Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!

— За худое понятие об учтивости ничего не купишь,— слышится спокойный ответ.

Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.

МАРКЕЛ УШАКОВ И ВАСИЛИЙ КЕКИН

Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде.

В это время молодой судостроитель в городе[1], Василий Кекин, добивался на учительный разряд.

Городовые мастера сказали:

— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.

---

[1] Подразумевается в Архангельске.

Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой:

— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.

Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился:

— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.

Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:

— Поживи да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя... Тебе любо ли, Василий Кекин?

Кекин говорит:

— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!

Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.

В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:

— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.

ТРЕУХ

Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.

Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору.

— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!

На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.

Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:

— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех

на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.

«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.

ВЕРА В ЛОЖКЕ

Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу. Маркелов подкормщик говорит:

— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет.

Маркел говорит:

— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.

ПИВО

Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.

Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:

— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?

Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:

— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.

УШАКОВ И ЯКОВ КОЙДЕНСКИЙ

Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.

Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.

Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.

Старый мастер веселился сердцем и умом: есть кому оставить наше знанье и уменье.

Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:

— Уйду в российские города. Здесь тесно.

— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда.

Яков говорит:

— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.

И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.

Но скитались они недолго.

Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:

— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.

Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером... Люди подивились:

— Столь молодого ты называешь мастером...

Маркел отвечал:

— Дела его говорят, что он мастер.

КОНДРАТИЙ ТАРАРА

Слышано от неложного человека, от старого Константина.

У нас на городской верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.

Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.

Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.

А хитрость Маркела Ивановича была детская. Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ:

— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.

— Куда, Кондраша?

— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.

Маркел заговорит убедительно:

— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.

— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.

Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно. Только снег напал — Кондратий в полном путешественном наряде опять предстает пред Маркелом:

— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.

— Куда же, Кондратушко?

— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.

Маркел руки к нему протянет:

— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.

— Это верно,— скажет Тарара.— Зиму проведу при вас.

Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:

— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!

Приходит Тарара:

— Ухожу. Не уговаривайте.

— Где тебя уговорить... Легче железо уварить. Прощай, Кондрат... Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани... Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.

— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал...

Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.

В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:

— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.

Но Маркел Иванович из Койды отошел к новоземельским берегам и там, поболев, остался на вечный спокой.

А Кондрат Тарара остался в Архангельске:

— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.

О КОРМЩИКЕ УСТЬЯНЕ БОРОДАТОМ

ЧУДСКИЕ БОГИ

Шел Устьян Бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остался у Канской речки. Рядовые спросились сходить по морошку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к паужне. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море.

Еще берег не закрылся, от переднего корга проплакало по-гагачьи:

— Кык-куим! Я к бабушке хочу!

И от заднего корга отвылось — как бы гагара:

— Баба, нингад няна! Отыми у Ладошки!..

К ряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону.

Устьян выговорил:

— Чудской кудес! Весельщик, за что тебя назвали?

Ладошка пал дружине в ноги:

— Государи! Я занес на судно двух болванцев идольских. Бравши ягоды, я заблудился, набрел на халмеры, на погребенье. Тут кол одет в бабью малицу. Старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах. По той вере, что морскому ходу будет спех.

Ладошка плачется, а черная сила кочмару в берег тянет.

Якорь кинули, и Устьян кричит:

— Давай сюда болванов!

Ладошка сползал в судно и вынес две деревянные образины.

Устьян их излучинил топором и зажег на медном листе.

Из черного дыму вылетели с воем две гагары и пропали в тундре.

Тогда снялись с якорей, открыли паруса. Паруса надунул добрый ветер, и кочмара пошла своим путем.

СЛОВО КОРМЩИКА

Кормщик Устьян Бородатый стал на якорь в Нежилой губе. Дружина говорит:

— Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Прилелась соленая-то рыба.

Устьян говорит:

— Ступайте. Только не стреляйте важенку — матку с детенышем не убейте.

Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками. Видят непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко, прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился.

Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал:

— Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика!

РУССКОЕ СЛОВО

Шел Устьян Бородатый на промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у Оленницы. Здесь олений пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей.

Устьян говорит:

— Дитятко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: «Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До оленьих участков тебе дела нет».

В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь.

А олений пастух пошел в прибрежные ро́паки, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово:

— Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет.

Медведь это слово отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.

УСТЬЯН И КУПЕЦ

Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повы-

грузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лодье. Трудились за спасибо и за хлеб за соль. О деньгах разговору не было. Устьян готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Дела у починки-поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит... И ударил дождь. Устьян кричит:

— Ребята, повремените с делом! Не делайте по мокрому!

Работные скидали пеньковое прядево под лодью, а сами стали от дождя в укрытие.

Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью:

— Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!

Устьян говорит с гневом:

— Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем: горланишь, а дела не смыслишь. Видишь, дождь валит! Судовой припас нельзя мочить: проку не будет.

Купец свое:

— Твоя дружина у меня вторые сутки по две выти в день пьет-ест! Велю работать, будь хоть потоп!

Устьян говорит:

— Хоть потоп? Ладно, будь потоп.

Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум сшумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках вкруг Устьяновой лодьи:

— Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденко!

Устьян говорит:

— Это не от нас. А судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно.

Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой. А сами с поветерью ушли в море.

УСТЬЯН И ОЛЕНИ

Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку с хлебом. Увидел оленей-дикарей и скричал:

— Подойдите которые-нибудь!

Три оленя подошли. Устьян впряг их в чунку, и снасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали. Этот Устьян смолоду был знатлив.

Промысел оставит несоблюдно. Медведь-ошкуй подойдет, песец — понюхают и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет — все цело, неврежоно.

РАССКАЗЫ ПРО СТАРОГО КОРМЩИКА ИВАНА РЯДНИКА

ДИКОВИННЫЙ КОРМЩИК

Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый и искусный мореходец Рядник не стерпел:

— Ладно ли, господине, что судно ваше так раболепствует стихии и шатается как пьяное?

Кормщик ответил:

— Это не от нас. Человек не может спорить с божией стихией.

— Сроду не слыхал такого слова от кормщика,— говорит Рядник.— А сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?

— Годов десять — двенадцать,— отвечает тот.

— Что же ты делал эти десять — двенадцать лет?! — гневно вскричал Рядник.— Бездельно изнурил ты твои десять — двенадцать лет!

ВОПРОС И ОТВЕТ

Дружина спросила Рядника:

— Почему на зимовье у Мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал? А здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном.

Иван Рядник рассмеялся:

— Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье: здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки.

ПАВЛИК РЯБ

При Ивановой дружине Порядника был молодой робенок Павлик Ряб.

Он без слова кормщика воды не испивал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день.

Однажды зимним делом посылает Рядник Павлика с Ширши в Кегостров. В тороки к седлу положил хлебы житные.

Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит: житники не тронуты. Он говорит:

— У кого из кегостровских-то обедал?

— Приглашали все, а я коня пошел поить.

— Почему же отказался, если приглашали?

— Потому, что у тебя, осударь, забыл о том спроситься.

— Ну, а свой-то хлеб почто не ел?

— А ты, осударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь!

Рядник, помолчав, проговорил:

— Ох, дитя! Велик на мне за тебя ответ будет.

РЯДНИК И ТИУН

Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома в Ширше.

Его навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет тиун из Холмогор. Он хотел знать мненье Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами.

При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону.

Когда тиун ушел, я выговорил Ряднику:

— Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. Ведь тиун-то подивит!

Рядник мне отвечает:

— Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю.

ИВАН РЯДНИК ГОВАРИВАЛ

Де́ла и уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным.

В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше.

Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым.

А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?

МОРСКОЙ УСТАВ ЖИВУЩИЙ

КОРАБЕЛЬНЫЕ ВОЖИ

В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами.

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинных приятеля поссорились как раз на пиру.

Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала Новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.

— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола.— Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.

— Моя степень повыше,— отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись.

Звягин осерчал:

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новогородские!

— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин. — Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил. По копейке с плеши брал!

— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».

Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились. Который которого издали увидит, в сторону свернет.

Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый приразду-мался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».

Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец, иноземец или русский: «Сведи судно к морю»,— у Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.

Еще и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить порасспросить».

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми пре-

возносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спала: «Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!»

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!

ГРУМАЛАНСКИЙ ПЕСЕННИК

В старые века живал-зимовал на Груманте посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал и пел, и голос у него как река бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомленная сила к пенью и сказанью?

Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:

— Не стою я таких почестей.

Дружина говорит:

— Цену тебе знаем по Груманту.

Кузьма вздохнул:

— Здесь мне цена будет дешевле.

Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:

— Память у тебя по-прежнему, только сила не попрежнему. На зимовье ты как гром гремел.

Кузьма отвечал:

— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а седой океан песню пел.

КРУГОВАЯ ПОМОЩЬ

На веках в Мурманское становище, близ Танькиной губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить суд-

но. Переправку и шитье сделали прочно и, за светлостью ночей, скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе. Староста удивился:

— Какая цена! Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?

Шкипер говорит:

— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.

Староста говорит:

— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.

Шкипер говорит:

— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно.

Староста улыбнулся:

— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.

Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки.

Люди только смеются да руками отмахиваются.

Шкипер говорит старосте и кормщикам:

— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.

Кормщики и староста засмеялись:

— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дворе, у креста. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.

Шкиперу эта мысль понравилась:

— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.

Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благородному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста. Бери, кто желает.

До самой отправки датского судна короба с подарками стояли середи дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.

Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:

— Если вы обязаны помогать, то и я обязан...

Ему не дали договорить. Стали объяснять:

— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговою помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».

ГРУМАНТ-МЕДВЕДЬ

Зверобойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:

— Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки.

Старосте они говорили:

— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.

...Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-то часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.

Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают — и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Все, как дома, на матерой земле.

День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом.

— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?

К нарам подошли и вместо шкур оленьих видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился...

Не упомнят молодцы, как двери отыскали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:

— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.

Братаны в дверь стучат и в стену колотятся; их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:

— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза как свечки светят...

Староста говорит:

— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-батюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили, Грумант вас за это постращал.

ОБЩАЯ КАЗНА

Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».

Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным.

Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.

Однажды не пошел на ловы: «С меня запасу хватит». Захворал. И, бывало, как он неможет, двое при нем останутся — знают его простертую руку. А теперь никто не остался.

Он в эти дни одумался, опомнился:

— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.

Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем:

— Мы твое добро помним.

И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.

БОЛЕЗНЬ

Опять было на Груманте.

Одного дружинника, как раз в деловые часы, начала хватать болезнь: скука, немогута, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе:

«Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив».

Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудное дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.

Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслию побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.

ПО УСТАВУ

Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, добро-честно простился и, сам нагой до последней нитки, в одних бахилах, побежал к лодье.

Кормщик говорит:

— Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.

Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она озимовала.

Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощанье родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.

Больной спустил ноги на пол, встать не может. И видит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного:

— Что плачешь?

— Ноги не служат.

Незнакомый взял больного за руку:

— Встань!

Больной встал, дивяся.

— Обопрись на меня. Походи по избе.

Обнявшись, они и к двери сходили и в большой угол прошлись.

Неведомый человек встал к огню и говорит:

— Теперь иди ко мне один.

Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:

— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?

Незнаемый человек говорит:

— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?

Детина всмотрелся и ужаснулся:

— Мой плат, мой кафтанец...

Человек говорит:

— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой губы, костьé которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.

«УСТЬЯНСКИЙ ПРАВИЛЬНИК»

В северо-русском промышленном мореходстве издревле существовало «обычное право», своеобразная юриспруденция, определяющая профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу. Иногда эти жизненно деловые отношения закреплялись письменно. Таков «Морской устав» новоземельских промышленников. Как бы дополнением к нему может служить «Устьянский прáвильник».

«Устьянский правильник» представлял собой главу рукописной книжицы (или тетради), писанной почерком XVIII века. К пунктам правил, касающихся мореходно-промышленной среды, приписаны правила общечеловеческого поведения: о том, как молодой человек должен вести себя в присутствии стариков, о вреде пьянства. Подчеркивается, что если старший велит тебе идти с ним о правую руку или посадит тебя с правой стороны, то этим он оказывает тебе честь. Если женщина сидит, положив «нога на ногу», этим она навеки уронит себя в глазах общества.

Чрезвычайно интересна психология тех «устьянских» правил, где расцениваются поступки бедняков по отношению к богатым.

Если ты, не стерпев вдовьих и сиротских слез, будешь красть для этих сирот у богатого, то в этом нет греха. Поступок похвальный, но половину хвалы пусть получит и невольно пострадавший богач.

Другое постановление: если горькие, нищие люди обокрадут богатого и он не только не подаст в суд, но даже не потужит об утере, то такое разумное поведение Христос зачтет богачу за добровольную милостыню.

Имеется любопытное объяснение, почему Никола (покровитель мореходства) имеет титул или прозвище — «скорый помощник». Оказывается, когда молишься богоматери и разным святым, они твою молитву понесут к богу и уже от бога ты получишь милость. Но Николе «вперед милость дана», то есть Николе отпущен от бога как бы лимит. Этим лимитом Никола распоряжается непосредственно, без докладов и волокиты.

В статье «О хмелю» упоминается Никодим Сийский, автор трактата о «разноличных художествах». Никодим был родом с Онеги, в XVII веке именит был по всей Северной Двине как искуснейший живописец.

Что касается заглавия «Устьянский правильник», то, не имея сейчас под рукою оригинала, трудно судить, все ли заглавие рукописи было мною списано. С другой стороны, и составитель (компилятор-копиист) XVIII века выписки свои озаглавливал очень кратко: «Никодимово» (правило), «Геннадиево», «Соловецких»...

Сия книга устав,
Помните добрый нрав,
Како у моря жити:
Чтобы бога не гневити
И люди не смешите.

Мореходством нашим промышляем прибыль всем гражаном... Не доведется таковую степень тратить...

Держитеся гораздого сего обычая. Не разорите мореходства доброго уставы.

...Сказали Звенило Ластольцу:

— Три чина мореходца — когда придет морская напасть и бороться с нею веселяся. Второе — когда ходит в послушании доброму кормщику...

Собери умы свои и направи в путь. Горе, когда для домашних печалей ум мореходцу вспять зрит.

Ежели покоренье навклиру (кормщику) напоказ содержится, а внутрь молва и мятеж, то ждет нас беспромыслица.

Когда дружина слушает слово твое всем сердцем, знай, что ты отвечаешь за них перед богом.

. . . .

Ежели переступил устав и учинил прошибку, не лги, но повинись перед товарищи и скажи: «Простите меня!» — И огрех мимо идет.

Ежели кто сделал ошибку, и бедственную, но понял ее, и повинился, и исправился, не могите напомянуть ему о ней.

. . . .

За которым человеком сыщется какое воровство, или татьба, или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать.

. . . .

И хотя принятые бедственные люди промышляют из-за хлеба и доли не просят, но, по превосходному разуму, долю им дать.

. . . .

...От веков повелено начатки промыслу нищим давать, мореходных и промышленных людей вдовам и сиротам. Зверя давать мерного, а не детыша. И кожа чтобы не резана, не колота.

Которые от многие службы морские пришли в глубокую старость, давать по тому же.

В бочках пропащую рыбу сиротам не давать, а добрую себе не оставлять. (Люта неистовая жадность. Сытости не имеет деньголюбивая душа и на последнее зло идет.)

Кто свою братью, морскую сиротину, в пир созвать постыдится, того устыдится Христос на суде своем.

Дочку или племянницу хромую или кривую подчиненным и меньшим людям не навязывать. Гораздых девок в господу[1] не пихать.

. . . .

В который берег жилой придешь, где никого не знаешь, то и меньшим себя честь оказывай, как старшим.

---

[1] В сословие господ.

В чужих городах не летай глазами туда и сюда. В чужих берегах будь от баб воздержателен.

. . . .

В пустых берегах, в становых избушках, где оследиться привелось, оставлять хлебов, муки и, по силе, всякого припасу на произволящих людей. По изможенью печь поправить, дров собрать и наколоть. И огнивцев, и кудельки оставить. Что здесь о терящем человеке попечаловал, то о тебе в ином месте люди вдвое порадеют.

. . . .

Когда идешь со старшим, не опережай его.

Беседуя со старшим, не сядь, пока не повелит сесть. И, рассмеявшись, не кажи зубы.

. . . .

О, человече! Лучше тебе дома по миру ходити, куски собирати, нежели в море позориться, переступая вечную заповедь морскую.

Аще кто, радея о нищих, а самому подать нечем, и он украдет у богатого и даст убогому, то несть грех. Но с полдобра вменит бог и богатому.

Которого богатого человека обокрадут. И утеря явится велика. Но он не потужит и не поклевещет, то утерю вменит ему Христос в милостыню.

О ХМЕЛЮ

Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда пьянство. Философы мысль растрясли и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели. Крепкие стали дряблы, надменные опали. Храбрые оплошали, богатые обнищали.

...Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть пьянство. Ум художному человеку сгубит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью по миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь — пьянство ум веселит, то коли бы так кнут веселит худую кобылу.

. . . .

ДРЕВНИЕ ПАМЯТИ

ПРЕНИЕ ЖИВОТА И СМЕРТИ

Живот рече:

— Кто ты, о страшное диво? Кости наги, видение твое и голос твой — говор водный. Что гадает звон косы твоея, поведай мне?

Смерть рече:

— Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — должникам льгота, я — трудящимся покой.

Живот рече:

— Почто стала на пути моем и говоришь немо? Пойди от нас, Смерть, в темны леса, за сини моря. А се я тебя не боюся!

Смерть рече:

— Пусты темны леса, усохли сини моря. Стану с тобой смертною игрою играти.

Живот рече:

— Тише вешней воды, ниже шелковой травы, откуда приходишь ты? О Смерть, не хочу тебе! Кому будет волосы кудрити, и лице наводити, и лазореву одежу носити?

Смерть рече:

— Молодым-молодехонек, зеленым-зеленехонек, о Живот, красота твоя сердце мое услади. И любовь моя быстрее быстрой реки, острее острого ножа.

Живот рече:

— Ты — косец, коси ты нивы твои, к жатве спеющие. Я — плод недозрелый, я возрастом юн. Здесь нет тебе дела!

Смерть рече:

— Коль сладка словеса твоя, слаще меду устам моим. О Живот, слышишь ли звон тетивы на луке моем? И се из острых остра смертная стрела, тебе уготованная.

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О, Смерть, неужели я умру и не будет меня, точно меня и не было?!

Смерть рече:

— Сребролукого Феба пленивый и всепетую Афродиту низложивый Исус Христос, над богами бог, и той вкусия мене, горькую смерть, и в мрачный сошел Аид.

Живот рече:

— О смерть, власть твоя над людьми и богами! На что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота?!

Смерть рече:

— День гонит ночь. Скоро кочета звонят. О Живот! Время тебе снятися с души — и умереть...

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О Смерть, отпусти меня до утра! Я пойду, я возьму от любящих меня последнее целование...

Смерть рече:

— Не имей другу веры, не надейся на брата. Днесь целует тебя, а завтра забудет. Днесь слава угасает и любовь.

Живот рече:

— О други мои милые, о братия моя! Вот я отхожу от вас, как дым расходится, как вода разливается, как огонь угасает...

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

У Студеного моря, в богатой Двинской земле, жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая.

Столь крепко братья крестовые друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать сыру землю и синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали — очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от

обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят, на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:

— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли... Праматерь морская — попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:

— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет...

Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил.

И слышит Кирик вопль Олешин:

— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!..

Дрогнул Кирик, прибежал в стан:

— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!

Выбежали мужики... Просторно море.. Только взводень рыдает... Унесла Олешу вечерняя вода...

Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.

Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а все места не может прибрать.

В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал:

— Ах, Олеша, Олешенька!..

И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:

— Кирик! Вспомни дружбу-то милую и любовь заединую!

В тоске лютой, неутолимой прянул Крик с вершины вниз, на острые камни, сам горько взопил:

— Мать земля, меня упокой!

И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:

— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, сыру землю, зарудили!

По исходе зимы, вместе с птицами, облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети. И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:

— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!

Старики рассудили:

— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.

Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:

— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.

Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:

— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!..

Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили парусы, и пособная поветерь, праматерь морская, скорополучно направила путь...

Не доведя до Звериного острова, прабаба-поветерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. А молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.

Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:

Гандвиг-отец,
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину...

В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:

— Куры фра? Куры фра? [1]

Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:

— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!..

Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы...

Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу...

Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче, друга — столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди, весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:

— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.

И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.

В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:

— Здрав буди, Кирик, брате и господине!

Ликует Кирик о смертном видении:

— Олешенька, ты ли нарушил смертные оковы? Как восстал ты от вечного сна?..

Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:

— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.

Две тяжкие слезы выронил Кирик:

---

[1] Кто идет?

— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!..

В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:

— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую землю, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев...

Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую...

О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а Двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.

Смерть не все возьмет — только свое возьмет.

ГНЕВ

В двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и его брата Гореслава.

На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где «двор Лихославль», до сих пор называется Гнéвашево.

Лихослав был старший брат, Гореслав — младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Гореслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.

Гореслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!

Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

— Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу.

По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться:

— Я-де на ваше горланство добыл приказ.

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди ближние и дальние говорили Гореславу:

— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ай, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю.

Добыли и ошкуя и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя — знают, что в лодье их ждут и клянут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошел».

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут — надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог.

Лихослав освирепел:

— Ребята! У них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хит-

рости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.

Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Горослав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье... Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Горослав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Горослава в голенище у бахил. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Горослав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Горослав, добрый, кроткий, стал престрашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Горославу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну.

Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.

Горослав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Горославу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас.

Горослав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:

— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.

ГОСТЬ С ДВИНЫ

В Мурманском море, на перепутье от Русского берега к Варяжской горе, есть смятенное место. Под водою гряды камней, непроглядный туман, и над всем, над всем: над шумом прибоя, над плачем гагары и криками чайки — звучал здесь некогда нескончаемый звон.

Заслышав этот звон, остерегательный и оберегательный, русские мореходцы говорили:

— Этот колокол— варяжская честь.

Варяжане спорили:

— Нет, этот колокол — русская честь. Это голос русского гостя Андрея Двинянина.

Корабельные ребята любопытствовали:

— Что та варяжская честь? Кто тот Андрей Двинянин?

Статнее всех помнили о госте Андрее двинские поморы. Этот Андрей жил в те времена, когда по северным морям и берегам государил Новгород Великий.

Андрей был членом пяточисленной дружины. Сообща промышляли зверя морского, белого медведя, моржа, песца. Сообща вели договоренный торг с городом скандинавским Ютта Варяжская.

В свой урочный год Андрей погружает в судно дорогой товар — меха и зуб моржовый. Благополучно переходит Гандвиг, Мурманское море и Варяжское. Причаливает у города Ютты. Явился в гильдию, сдал договоренный товар секретариусу и казначею. Сполна получил договоренную цену — пятьсот золотых скандинавских гривен. Отделав дела, Андрей назначил день и час обратного похода.

Вечером в канун отплытия Андрей шел по городской набережной. С моря наносило туман с дождем. Кругом было пусто и нелюдимо, и Андрей весьма удивился, увидев у причального столба одинокую женскую фигуру. Здесь обычно собирались гулящие. Эта женщина не похожа была на блудницу. Она стояла, как рабыня на торгу, склонив лицо, опустив руки. Ве-

тер трепал ее косы и воскрылия черной, как бы вдовьей, одежды.

Андрей был строгого житья человек, но изящество этой женщины поразило его. Зная скандинавскую речь, Андрей спросил:

— Ты ждешь кого-то, госпожа?

Женщина молчала. Андрей взял ее за руку, привел в гостиницу, заказал в особой горнице стол. Женщина как переступила порог, так и стояла у дверей, склонив лицо, опустив руки. Не глядела ни на еду, ни на питье, не отвечала на вопросы.

Андрей посадил ее на постель, одной рукой обнял, другой поднес чашу вина.

— Испей, госпожа, согрейся.

Женщина вдруг ударила себя ладонями по лицу и зарыдала:

— Горе мне, горе! Увы мне, увы! Забыл меня бог и добрые люди!

Беспомощное отчаяние было в ее рыданиях. Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея:

— Какое твое горе, госпожа? Скажи, не бойся! Я тебя не дотрону.

Переводя рыдания, женщина выговорила:

— По одеже твоей вижу, господине, ты русский мореходец. Мой муж тоже был мореходец.

— Был мореходец? — переспросил Андрей.— Ты вдовеешь, госпожа?

— Почти что вдовею. Мой муж брошен в темницу.

— За что же?

— Я расскажу тебе, господине. Мой муж с юношеских лет ходил на здешних торговых судах. Когда мы поженились, загорелся он мыслью построить собственное суденышко. Сколько своими руками, столько помощью товарищей построен был кораблик, пригодный к заморскому плаванию. О, как мы радовались, господине! Тогда задумывает муж сходить в Готтский берег на ярмарку. Но где взять деньги на покупку прибыльного в Готтах товару? И опять судьба улыбнулась нам: здешняя гильдия дает моему мужу деньги в долг на срок — вернуть долг сполна по возвращении с Готтского берега. О, как мы радовались, господине! Днем муж закупал товар и погружал на судно. Ночами мы рассчитывали, сколько у нас останется прибыли по уплате долга в гильдию. Я не плакала, провожая мужа,

я радовалась. Но пути божьи неисповедимы. Еще кораблик наш не дошел Готтского берега, налетела штормовая непогода. Кораблик нанесло на камни и разбило в щепы. Дорогой товар утонул.

Муж вернулся в Ютту бос и наг. По суду гильдии его бросили в темницу на срок, покуда не уплатит долга. Это было два года назад, господине.

Я осталась одна с двумя маленькими детьми. Надо было кормить мужа в темнице, прокармливать детей. Я стала работать у рыбного засола. С рассвета до заката, на ветру, на снегу, на дожде. За труд платили рыбой. Голову варила и несла мужу, остальное доедала с детьми. Хлеб подавали соседи, добрые люди. И они же доводили меня до отчаяния. Всякий день я слышала: «Гордячка ты, бесстыдница! Рыбный засол не работа. Сама подохнешь и семью уморишь. Иди на пристань, торгуй своим телом, пока молода. Познатнее дамы торгуют любовью по нужде, а ты кто?»

С ужасом я слушала такие речи. Стать блудницей. пропащей... Утопиться бы — и то нельзя: без меня замрут мои дорогие муж и дети. И вот сегодня город тонет в тумане. И я решила: вечером пойду и стану у пристани. В такую непогоду никто из горожан не ходит, никто моего позора не увидит. Меня, господине, ты и приметил у причального столба и привел сюда. Вот и все.

— Госпожа, как велик долг твоего мужа?

— Страшно вымолвить, господине: без малого сто золотых скандинавских гривен.

Андрей соображал:

«На нас, пятерых, я получил пятьсот гривен, по сто гривен на брата. Моей долей я волен распорядиться».

Он выговорил:

— Следуй за мной, госпожа.

Город накрыт был белесым туманом. Но Андрей шел быстро, уверенно. Женщина едва поспевала за ним. На спуске к пристаням еле блазнила древняя церквица. Андрей сказал:

— Стань, госпожа, в церковных воротах и не соступи с места. Жди меня. Я тотчас вернусь.

Как птица слепым полетом, в тумане, он побежал на свой корабль. Спустился в каюту, отомкнул ларец с общей казной, в кожаный кошель отсчитал сто золотых гривен. Спрятав кошель за пазуху, побежал обратно в город.

Женщина стояла в каменной нише, как изваяние. Андрей сказал:

— Я принес тебе нечто, госпожа. Но должен проводить тебя до дому.

— Господине,— отвечала женщина,— мой дом близко. Видишь, в конце улицы брезжит огонек. Это мой сынишка поставил на окне светильник, боится, чтобы мать не заблудилась.

Андрей все же проводил ее до дому.

— Теперь ты дома, госпожа. Вот, держи обеими руками этот кожаный кошель. В нем сто золотых гривен. Завтра утром иди в гильдию, объяви о себе секретариусу и казначею. Они примут гривны счетом и весом. Также выдадут тебе пергамент с печатями, что твой муж чист от всякого долга. Завтра, до полудня, твой муж возвратится домой полноправно и свободно. А теперь прости, госпожа.

Сотворив поклон, Андрей зашагал обратно, и его накрыло туманом.

Тогда только женщина опомнилась, бросилась вслед Андрею и закричала:

— Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира не слыхана такая великая и богатая милость!

Она бежала и кричала, но не знала, в какой переулок, к каким пристаням свернул Андрей, и крик ее был как крик чайки в море. Тогда женщина упала на дорогу и, рыдая и молясь, целовала следы Андреевых ног на сыром песке.

В ту же ночь, до утренних часов, Андреев корабль покинул Ютту Варяжскую и, открыв паруса, пошел в русскую сторону.

Оминув Варяжскую Гору, Андрей проходит море Мурманское и наконец, одолев жерло, достигает Двинской земли.

В сборной избе Андрей здравствуется с четырьмя своими товарищами. Справив поклоны, они спрашивают:

— Каково путь и торговлю справил, господине?

Андрей отвечал:

— Вашим счастьем, государи, бог дал все благополучно. В Ютте казначей и секретариус товар похвалили и договоренную цену уплатили, пятьсот гривен золотом свесили счетом и мерою.

Андрей поставил на стол ларец с золотом.

— Здесь, государи, только ваша доля — четыреста гривен золотом. Свою долю — сто гривен — я вынял и стратил.

— Суматоху говоришь, государь! Общая казна делится сообща. Никто из пайщиков не вправе выхватить из общей казны ни единой серебряной копейки. Ты, государь Андрей, поступил самочинно, самонравно, самовольно. Ты переступил Морской промышленный устав!

Ни единого слова покорного не приготовил Андрей своим товарищам. Вышел из горницы — так дверью двизнул, что изба дрогнула.

С этого дня и часа остуда легла меж Андреем и четырьмя его товарищами. Эта остуда была на руку соседственной артели. Артельный староста «подвесил Андрею лисий хвост»:

— Тебе, преименитому кормщику, не дозволено копейки взять из казны! Твоей бы дружине перед тобой на четвереньках бегать, а они свою ногу тебе на голову ставят. Переходи в нашу дружину. Будешь над нами государить, а мы тебе будем в рот глядеть и от тебя слова ждать.

— Куда походите? — спросил Андрей.

— Зимовать на матку, на Новую Землю. Люди к походу готовы.

Андрей был крут на поворотах — дал согласие. Ушел на Новую Землю, не сказавшись, не спросившись со старыми своими товарищами. И те оскорблены были даже до слез: ушел, не простился!

На Новой Земле кормщик Андрей государил и осень, и зиму, и весну. Там в невечерний день к Андрею пришла та, которая говорит о себе: «Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — трудящимся покой».

Андрея положили в каменном берегу, накрыли аспидной плитой. На плите высечена надпись: «Спит Андрей Двинянин, жда архангеловы трубы».

Эта весть об Андрее прилетела на Двину, и была печаль великая, и дружина плакала — ушел и нам прощенья не оставил.

Через четыре года по Андрееве исходе, значит, через пять лет после его быванья в Ютте, пришел на Двину скандинавский корабль, и хозяин корабля стал сыскивать об Андрее. В тот же вечер встретился с Андреевой дружиной.

— Вы Андреева дружина. Вам должно принять эти гривны.

— Недостойны.

— Раздайте скудным, бедным людям.

— Не нашими руками раздавать. Тяжко нам будет получать спасибо за Андрееву милость.

Наконец сошлись на том, что надобно учредить память Андрею. А как Андрей был отменитый мореходец, то да будет память его знатна и слышна в морском сословии.

— Наша Двина ходит промышлять рыбу в Западный Мурман, близ Бусой салмы. Это место вы, скандинавы, зовете «Жилище туманов», и Андрей мечтал учредить здесь остерегательный звон.

— Быть по сему,— отозвался варяженин.— Я в эту же зиму вылью колокол и весной, на троицу, привезу кораблем.

— Быть по сему,— отвечали двиняне.— Мы явимся на Мурман раньше тебя и к троицыну дню возведем на Бусой вараке столп-звонницу. Еще кладем на тебя заповедь, государь варяженин. По ободу, по краю колокола, вылей сей стих: «Малый устав преступив, исполнил великую заповедь».

Как пообещал варяженин, так и учинил. Сыскались в Скандинавии искусные мастера-литейщики. Вылили из меди, олова и серебра художный колокол. Только стих, завещанный двинянами, вылили латинской речью. По тому же латинскому обычаю колокол был окрещен и наречен Андреем.

Весною, когда полетели в русскую сторону гуси, гагары и утята, варяженин погрузил колокол на свой корабль и, вслед за птицей, пошел в русский ветер.

В эту пору стоит на Мурмане беззакатный день и берега грезят и манят в великой прозрачности.

Варяженин видит Бусую вараку в полном лике: на вершине возведена звонница новгородским обычаем, но в один пролет.

Варяженин трубит в рог, и Русь трубит ответно. Колокол вздымали на гору на моржовых ремнях, всем народом.

Звон был учрежден западным обычаем: в пролете, в железных гнездах, ходила дубовая матица. В матицу врощены уши колокола. От ушей спущены до земли ременные вожжи. Звонарь, стоя на земле, управлял вожжами. Матица начинала ворочаться, раскачивая

колокол. Колокол летал в пролете, язык бил свободно, рождая звук певучий, грозный и жалобный.

Это звенящее нескончаемое пение носилось по океану триста лет. И проходящие мореходцы поколение за поколением поминали гостя Андрея с Двины и гостя Варяженина.

После этих времен дошел день и час: колокол зазвонил сам собою, ужасая слышавших.

«Последи же бысть трясение земли о Западный берег Мурмана».

Тряхнуло гору в Кольской губе, дрогнула Бусая варака, качнулась звонница. Колокол, звеня и рыдая, как птица слетел в глубину морскую. Но и в начале нынешнего столетия мореходцы уверяли, что звенит Андреев колокол и на дне моря-океана.

СОФИЯ НОВГОРОДСКАЯ

Сказанье о Софии «вытвердил по книгам» М. О. Лоушкин. Со слов Лоушкина вытвердил этот рассказ и я.

Видно, что новгородцы были не худого о себе понятия, если даже хозяйственную свою статистику поручили вести божеству.

Известно, что о московской вере, о московских святых новгородцы отзывались с кислецой. Впрочем, оговаривались:

— Никого не боимся, только Рыжебородого боимся. — Под Рыжебородым они разумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского национального сознания.

Но собирательница Руси, Москва, в конце концов похвалилась:

— Московские чудотворцы перекóкали новгородских!

По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Гостев оследил нехоженый берег. Тут поставил крест, и избу, и амбары. Учредился промысел, уставился ход лодейный, урочный. Лодьи с промыслом Гостев сам вздымал до Русского берега. В урочные годы допровадит товар и до Новгорода. Отделав дела, пойдет в соборную божницу кланяться божьей мудрости Софии Новгородской. Да и опять к морю, опять ветры-туманы, паруса да снасти.

Вечно ходит солнце со встока в запад. Гуси и гагары с теплом летят в север, с холодами — в юг.

Тем же обычаем сорок лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий!

Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума: «Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче...»

В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодейного: «Кому надобны неиссчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?»

...Перед глазами бескрайное море, волны рядами-грядами. И видит Гостев: у середовой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, на ней багряница, истканная молниями. Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу.

— Кто ты, о госпожа? — ужаснулся Гостев.— Что ты считаешь и что пишешь?

Девица повернула к Гостеву свое огненное лицо. Ответ ее был как бы говор многих вод:

— Я премудрость божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих лодей исчислены и списаны в книгу жизни Великого Новгорода.

— Ежели так, о госпожа,— воскликнул Гостев,— то и дальше дальних берегов пойду и пути лодей моих удвою!

ФЕОДОРИТ КОЛЬСКИЙ

Лопин век скитался с родом своим меж Русью и Датской. Летами он призажился и годами призабрался. По душу лопина пришла Смерть. Лопин говорит:

— Я жил непокрытую жизнь, но хочу, чтобы кости мои покрыла родная земля, отеческая.

Смерть спрашивает:

— Где твоя родная земля? Где твое отечество?

Лопин говорит:

— Я век свой скитался меж Русью и Датской. О Смерть, дай мне сроку семь дней. Я обдумаю место, где мне спать вековечным сном.

Смерть дала ему срок. Он спрашивает своих детей и внуков-правнуков:

— К какой земле мне приложиться?

Род-племя говорит:

— Не спросить ли Феодорита Русского? Он широко ходит.

Лопина и привезли к кережке в Русский берег, где тогда ходил Феодорит. Лопин рассказал свое недоуменье. Феодорит сказал:

— Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью, добро тебе и роду твоему и приложиться к языкам всея Руси.

Смерть пришла и спрашивает:

— Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?

Лопин говорит:

— На что спрашиваешь? Здесь хочу, родной землей покрыться.

Смерть говорит:

— Знал ты, лопин, с кем подумать! Кабы ты сдумал на Датскую сторону, то бы и род твой без имени остался и твоя память в забвение пришла.

ИНГВАР

В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свеянин, швед. По старым памятям рассказывают так.

Свейский карбас — шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар — шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужеского полку не было. Только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних наволоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы.

Свеи начали ломать запоры у анбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.

Увидя, что его товарищи шибают о землю ребят, стегают воющих старух и кидают из анбара кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал благословлять грабежников железным ломом. Бил по головам и по зубам. И гонил их из деревни, посылая ломом. Один

из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубито. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду.

Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его, как внука.

Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Также было велено имать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали десять старых бабок, самых мудрых и речистых.

Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев.

Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свеян бог нашел своим судом. Только-де шесть свейских рукавиц, с одной руки, море выплеснуло на берег. Затем тонские свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком. И его-де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал:

— Правда то, что Ингвар заступался за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда: почему ты, Ингвар, добрый, сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?

— Господине,— отвечал Ингвар,— все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех: не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добрым человеком.

Судья Филипп говорит:

— Сердце твое детское, и речи у тебя, как у младенца. Ты говоришь: «Не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей». Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава в мире носится самая зазорная!.. Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться?

Ингвар говорит:

— Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь.

Ингвар принял в Соловецке имя Игоря.

Тут и помер в старости. И память по себе оставил — «сердобольный Игорь».

БЫЛИ

КРОТКАЯ ВОДА

Несколько лет назад, читая о четырех советских солдатах, попавших «в относ» в Тихом океане, вспомнил я одну старую «мирскую оказию».

Читатель, мне кажется, без комментариев оценит разницу между старым временем и новым: в прежние времена погибавших поморов никто не искал, никто не писал о них.

Архангельские поморы, бывало, хвалились: «Морскую беду терпеть нам не диво, но когда что за обычай, то весьма сносно».

«Гибельные случаи» из своей жизни поморы иногда закрепляли в своих записных книжках.

Устный рассказ помора о своей беде всегда поэтично-образен. Но стоит ему взять перо, он, стесняясь просторечия, пишет как бы «донесение по начальству». Такой полицейский протокол написал о себе и талантливейший Афанасий Тячкин, от лица которого и ведется рассказ «Кроткая вода»[1].

В 1915 году это протокольно-деловитое донесение разыскала и опубликовала артистка О. Э. Озаровская. Между тем внуки Тячкина сохранили в памяти живые детали устного рассказа своего деда. Их воспоминания и послужили основой предлагаемого читателю рассказа «Кроткая вода».

Мы, жители посада Неноксы, знаем ветер, и воду, и всякую морскую примету.

Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая.

В тот там год весной, еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жита для посева.

На шестое мая заря всю ночь была многокровавая, а у нас договоренность плыть домой. В карбасе народу

---

[1] Попавшие в морской унос поморы спасались в «час кроткой воды», то есть во время отливного течения. (*Примеч. автора.*)

двадцать два человека, а жита двести пудов. Приятель мой, Мирон Кологреев, говорит:

— Ошалеть надо, чтобы с эким грузом в море напускаться.

Карбасник говорит:

— Ты и не плавай. Нам и без тебя не тоскливо.

Грамотница Дарья кудемская говорит:

— Чем ругаться, сходите поставьте свещу Николе Морскому.

Мы пошли в часовню, свещи затеплили, цену положили, обратно идем, а старец свещник под берегом сидит у котла с ковшом и кричит:

— Ей вы, утопленники, идите пиво пробовать никольское!

Мы говорим:

— Отче, благослови путь.

Он ковшом взмахнул и запел:

— Непорочнии в путь. Аллилуйя...

Мы это в карбасе рассказали. Одни рассмеялись, другие смутились:

— Ведь это он погребальную кафизму запел...

В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола.

Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету: белокаменный Никола, как лебедь, одно крыло распустил на север, другое — на полдень.

Карбас грузен, а под парусом ходко бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернеть. В корму поддаст шелоник, а в лицо ему вcток. Волна пошла несурядна. Кологреев правил волне вразрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились — помпы не действуют. У карбаса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от реву унимать...

Парус не поспели обронить.

Бабы взвыли:

— Святитель Никола, убавь воды!

Мужики кричат:

— Ройте жито в воду!

Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденко наше опроки-

лось вверх дном, раз за разом, трижды. Сильно страшно: вверх колодой переворачивало. И груз и людей единым мгновением вымыло из карбаса, как сор из чашки.

О, коль тошно человеку водою конец принимать! Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбаса возле самый борт. Карбас лежит на водах боком: мачта с реей и парусом не дают ему обернуться вверх колодой-килем.

Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбаса вынесло Мирона Кологреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбасник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу, и толь несоблюдно, что сдернул с ноги, с левой, сапог и унес в пучину моря.

Еще разом выстали из воды, возле карбаса, братишко мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залягнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Кологреев.

Еще сколько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть.

Но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне.

И вот мы четверо посреди смертей многих. Пособить бы, да нéкак, помочь бы, да нечем.

А нас, четырех, понесло вниз и к вечеру спустило до Летних гор. Несло в великой нужде: карбас на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, зубов сцепить не можем.

Как вода пошла на прибыль, и наше суденко покорно плывет в обратный путь. Верст за пятнадцать подносило к родному берегу. Видели Ненокотскую вараку и белый Климент на ней. Тогда Кологреев говорит мне:

— Ты, Афоня, в грамоту горазд. На тебе шило. Напиши память.

Сроду этак никто не писывал, как я,— уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было писано: кому что отдать и с кого что взять.

Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз, попутные воде летние ветры управили карбас на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но уда-

рил с Терских гор ветер, а теченье пошло на прибыль... Нас понесло обратно и стало осаживать во всток, в Зимнее море.

Только глазами ели берег-то... Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали: как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская. Прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в семи верстах. Однако вешние воды с Двины садят о Зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу:

— Ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем.

Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку.

Вот ведь злое горе! Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи, а в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились, и отогнули железные обоймы, и развязали, ногтями да зубами, бортовые снасти-крепи. Но мачту еще сдерживает штак — снасть, протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду, от носового корга этот штак отвязывать.

Восьмого мая штак был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды карбас обвернулся вверх колодой-килем. А мы, все четверо, разом ухнули в воду. Но скорополучно вычарапались на днище и сдумали думу: обвернуть карбас как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И толь ловко преуспели, что, обвернувшись карбас чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в карбас. Сели, в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает: взводень через ходит. Между тем теченье гонит мимо берег, ждать некогда.

Отодрали от поддона две доски матерых. Зачали грести и задаваться в берег. А Кологреев у руля. Румпель утерялся, и Кологреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками. А сами ведь по грудь и по пояс в воде.

Девятого мая, раным-рано поутру, шаркнул наш карбас по прибрежному песку — хряцу. Выбрели на

землю, пали, поклонились трижды. Напились водицы из ручья, сели на сухом на бережку, поплакали от радости.

Место, на которое мы вышли, находится в половине Зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в Зимнюю Золотицу. Кологреев, глядя на меня и на Лгалова, вздохнул:

— Справите ли, осудари, экой путь?

Я действительно при утоплении разбил себе колени, а Лгалов оскудел всем телом, но и у Мирона одна нога была босая. Я говорю:

— Хоть ползунком ползти, а в Золотице быть.

Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах. Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам. Изваляемся, как куклы глиняные. И везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лысунова: крест, изба, амбар. И — безлюдье. В избе на блюде — кости рыбьи прошлогодние, мы пожевали. И уснули, будто люди, в доме; на лавках, будто господа какие.

Дальше путь пошел до наволока Вепрь. А погода взялась ненастлива: сито с дождем. Мы с Лукьяном Лгаловым под руку ведем друг друга. Кологреев в Лысунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит:

— Чем так идти, поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афонасий, садись на Мирона, я сяду на Степку. Час проедем и сменимся.

Кологреев смеется:

— Я боюсь, Афонька и Лукьян зачнут скакать. Мы упадем, убьемся...

Дошли до наволока Вепрь. На полугоре часовня древняя, и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке на странных, на людей терпящих припасу никакого не оставлено. Но — год был скудный.

В часовне и обночевали. Сон отрясли — утро ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучие, мы еле ноги перекладываем.

Этак о полдень привалились на песок, забылись... Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами.

Мы по берегу забегали, закричали, замолились.

Видим: на судне паруса убавляют, лодку спущают. Кормщик и хозяин судна, дошед до нас, спрашивают:

— Вы какие?

— Осудари корабельщики, не оставьте нас, губительных людей!

Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли, а из лодки на судно затянули. Далее спрашивают:

— Куда вы попадали?

— В Золотицу в Зимнюю.

Они говорят:

— В Золотицу вас доставим. А теперь выпейте, поешьте и усните.

Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке.

Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброхоты-корабельщики нас в деревню на руках снесли.

Золотицкий староста хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброхоты-корабельщики прощаются, торопятся на судно.

Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами.

В Золотицу мы пришли одиннадцатого мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник — троица.

Хозяин наш Степан Субботин нас зовет к гостям. Мы подивились:

— Степан Иванович, какие же мы гости?!

Он говорит:

— Самые дорогие: нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте.

Прихаживал к нам и золотицкий старшина. Он советовал:

— Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поотдохнете, я наряжу под вас карбас.

Преудивленный человек Степан Субботин держал нас десять дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов от кручины.

Двадцатого мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях.

Узнали, что, когда еще нас четверых носило по морю, в Неноксу уж прилетела гибельная весть и велик был плач с рыданьем.

В ОТНОСЕ МОРСКОМ[1]

Про нашу жизнь промысловую послушаешь, так удивишься, удивишься и устрашишься. Расскажу про себя, про сынишку моего и про брата, как мы на промысел пошли и в какую беду попали.

Бе́ды терпеть да погибать помору не диво. Море — измена лютая. Спроси того-другого робенка в Поморье: «Где тата?» — скажет: «Вода взяла».

...Море нас поит, кормит, море и погребает... А мы вот от морской напасти спаслись, и таким ли дивом спаслись, дак всю жизнь на другу сторону повернуло.

Мы — Белого моря, Зимнего берега народ. Коренные зверобои-промышленники, тюленью породу бьем. В тридцатом году от государства предложили промышлять коллективами. Представят-де и ледокольной пароход. Условия народу были подходящи. Зашли кто в артель, кто на ледокол.

А я да брат старший Егор Иванович не то что на ледокол, а из своей артели убежали.

Сынишко мой Олександр в колхоз бы любил, да отчишку с дядей перечить не посмел.

Стретенева дня дождались: стали флюгера полуношник-ветер сказывать — норд-ост. Зачали наши деревни на промысел снаряжаться. Тюленьи женки в эту пору детей народят, стада зверины на отдых повалятся, и это богатство полунощник к нашему берегу льдинами притянет.

Мы, значит, троима срядились. Лодочку доспели на креньях, погрузили дровец, хлеба, котелок, пики, обулись, оделись по-промысловому, с племенем простились и поволоклись.

Сутки горой шли, други сутки — припаем береговым. На льду и огонек разведем, поедим и выспимся,

[1] В основу рассказа положен действительный случай спасения унесенных на льдине зверопромышленников.

лодочкой накрывшись. Путь вороны казали: на зверя же летели. На третий день береговой лед кончился, пошла раздельна льдина. Беда беду родит — встречу полунощнику из-за горы побережник-ветер выскочил. Зачали друг другу в лицо мокрым снегом плевать.

Опасен в эту пору побережник: он лед от берега отдирает, нашего брата в море уносит...

Остановились, глядим на своего юровщика:

— Егор Иванович, что велишь?

Он шапку снял, ветра пытает: то ту, то другу щеку подставит. А ветер явно с горы, в спину. И Егор командует:

— Заворачивай обратно! Сей день напромышлялись!

А Олексишко забежал на торос на высокой и вопит:

— Дядя! Татка! Юрово!! О, коль велико!

Мы охотники природны. Петухом сердца-ти запели. Выстали на льдину, а в полуверсте зверя-то как дров! И любо на них глядеть: посередине матки лежат с робятами. Как бабы в бане, гладят их, моют, плавать учат. Ежели робенок капризит, мамка его и круто в море роет. Кругом, ка́к стена нерушима, ограда крепка — самцы-лысуны...

— Егор Иванович, что велишь?!

— Играть давайте!

Значит, надо нам зверины ухватки принять, зверем притвориться. Он нас видит, пущай на своих думает.

Лезем на юрово, по душу его морскую, рукавицами гребем, задом подхватываем, головами покачиваем — как есть тюлени! Спину ломит, колени отпали, а любо это и весело!

Вот мы приехали. Души́на от них! Глядят, говорят меж собой, что-де ихнего полку прибыло... Тут мы прянули на зверя, как волки. Пика свистнула, да кровь пробрызнула. Песню поморским обычаем завели:

Сила земна,
Сила водяна,
Земна толщина,
Морска глубина!
Зверь идет,
Зверя ведет!
Четыре ветра,
Четыре вихря.

Ходит сила
Из жилы в жилу.
Зверь идет,
Зверя ведет!
День с ночью,
Медь с кровью.
Стрела калена,
Тетива шелкова.
Зверь идет,
Зверя ведет!

Тюлень упал, и другой — твой, и третий опрокинулся. Любо это и весело. Зверь ревет, мы поем, охота нами обовладела. Знай железо блестит, кровь свистит да туши ложатся...

И тут как пологом побоище завесило — снег стеной повалил. Опомнились:

— Егор Иванович, что велишь?

А ветер-от с горы да с горы. Не знаем, когда он полунощника одолел. И льдина под ногами завизжала, не любит тоже в море идти. Егор кричит:

— Кидай все, попадай к горе на пиках!

Не бежим — летим. И чуем: не стоит лед-от, гонит его разбойный ветер. Полынью перемахнули, другу перескочили и — аминь... Поперек разводье легло велико, широко, как река. Вода чернил чернее, а мы бумаги белее. Где стояли, тут и пали. Конец нам...

И мой Олександр затрясся и меня с дядей — черной бранью... Последнее слово кинул:

— Пошто с народом не пошли! От людей бы нас унесло, телеграмм бы наподавали на ледокол, по маякам!

Егору нельзя духом падать — он юровщик:

— Еще не ревите, еще не конец! Буде, во своем море останемся, всяко нас к тому ли, к другому берегу прикачает.

До вечера ни единым словом меж себя не перещелконули.

Ночь передремали, утром по окольным льдинкам с полдесятка зверя нашли убитого, тюленины пожевали: душная она, рвало нас. Заместо воды — снег. А тюленьи тушки — и постель и окутка.

На другой день показало Летние горы. Лодкой достали бы берега...

На третий день мы наревелись — жаланненьки Зимние горы в глазах были. Чалились мы за лед, всяко к берегу прибарахтывались. Да где тут!..

Потом трое сутки — лед, да небо, да вода. Лед, да небо, да вода... Всего семь дней, семь ночей в Белом море кружало.

Дале туманами шли сутки, не знали где. А ночь привелась звездна, по звездам прочитали, что шествие льда — на полночь, в океан. Опять Олексишко воет, опять на меня тоска, опять Егор утешает:

— Еще не тужите, еще не конец, еще не смерть! На свету Горлом беломорским пойдем, должны нас с маяков оприметить.

Утро серое взялось со снегом. Влево Лопский берег чернел. Мы до сумерек кричали. На пику рубаху повесили, махали. Никто не услышал, никто не увидел. Только нерпы в воду булькают. Брат лысуна заколол, в распоротом брюхе ноги грели.

Мы с братом каждый про себя знали, что, чем скорей замерзнуть, тем бы краше, но ради парнишки показывали вид надежды.

В Горловине заторами неволило нас пять ден. А лед мелок, не несет человека. Беда беду родит: ноги натекли, у рук персты опухли, с тюленины душу воротит, знобит — все бы спал. Докучаю брату:

— Это конец. Цинга пришла, черна смерть...

Он как стукнет меня по шее:

— Это простуда! Еще не смерть, еще не конец!

На двенадцаты сутки бедствия вынесло нас в Ледовитый океан. А нам все одно — только бы крепче заснуть. И уснули бы вечным сном, да двинуло торосом становым. Наша льдина лопнула. Тут разбудились, прянули на ноги:

— Егор Иванович, что велишь?!

Он огляделся: во все стороны развеличился окиян-батюшко...

Снял наш юровщик шапку и выговорил:

— Брат, племянник!.. Смерточка пришла!

Подает из сумки сверток мне, парню, себе:

— Хранил для торжественного дня. Сей день приходит.

Развертываем. У каждого рубаха смертная долгая, саван с кукулем, венец на голову, лестовка полотняная.

Я заплакал, кланяюсь:

— Благодарствую, братец Егор Иванович, что подумал да позаботился, срядил нас в жизнь бесконечную.

А Олександр недоумевает:

— Дядя, разве ты знал, что мы помрем?!

Брат говорит:

— Дитя, вековечной это поморской обычай — смертную одежду в море брать.

Умылись мы, волосы, бороды расчесали, обрядились в рубахи, в саваны, в венцы. Поклонились под южной ветер в родиму сторонушку, с желанными простились.

Великим надежом пал Олексишко да запричитал:

— Мила моя матушка, знаешь ли, что сына во гроб наладили? Желанна невеста Катенька, осталась у нас с тобой игра не доиграна! Дорогой подруг Герман Олегович, песенка наша не допета!

Обычай родительской — детищу своему живота, здоровья хотеть, а я тогда сыну одинакому смерточки скорей молил.

Отошел отпев, стали мы друг другу в очи глядеть на последнее прощание. Нагляделись, тогда — обычаем мертвых — глухо заокутали себе лица саванным наголовьем. Легли. И учало нас затягивать в смертные сны...

Часы прошли или минуты, услышал я звон явно, близко. Говорю:

— Брат, слышишь звон?

Он как со сна:

— Это тебе к смерти, брат. Помирай дале.

Дале я забылся... Да вдруг в самые уши гремит, гудит!.. Дрогнул я, сдернул кукуль, а над головами-то... аэроплан!!! Не блазнит ли? Не привиденье ли? Нет, кружит, трещит... Схватил я пику, машусь да реву:

— Пособите, пособите!!

И парнишко мой:

— Батюшки, миленькие, пособите!

А оно скружило над нами два накона и потерялось...

О, горе взяло!.. Лучше бы не казался, надеждой не манил.

Эту ночь наборолся я с Олександрушком моим. Кричит:

— Дядя или тата! Заколите меня пикой!

Топиться лез. И бил я его, и обымал, и опять бил, и плакал над ним.

А о полдень, как рог серебряный, запел над нами аэроплан.

Мы скакать, мы реветь:

— Помогите!!! Пособите!!!

Что же далее?.. Кружит машина ниже да ниже, да надлетела над нами и выронила посылку.

Мы опять:

— Товарищи! Возьмите нас!

Они не слышат. Улетели птичкой.

Посылка в воду пала, пикой добыли. Там консервов две коробки, в каждой фунта по три, сухарей кил пять, мазь кака-та, морошки банка. Вот сколь люди внимательны — морошечки послали! И письмо. Письмо сто раз на дню читали:

«Товарищи! Мы вчера оприметили вас и опять прилетели с ледокола, который подвигается теперь в вашу сторону. На аэроплан принять вас не можем для того, что льдина мала для разгону. Но мы вас не оставим».

Ну, ожили мы, воскресли. Шабаш помирать-то! Хлебу рады, письму рады. Холоду опять оберегаемся, больших торосов хранимся, орудуем пиками сидя да лежа. Ногами уж так себе владели. Однако ждать да погонять — нет того хуже: разводьем плывем — боимся, что от парохода утеряемся; в затор попадем — тужим, что пароходу не пробиться.

Однажды как бы стрельбу услышали, еще машину почули. С той поры без отдыха блазнило: то дымом пахнет, то мотор стучит. Без дня неделю этак... Извелись!

В последнюю ночь сменный ветер пал. Торос на торос лезет, визгу, грому... Тут и свисток донесло, и дымом запахло. И метелица нас заносит. Остатнюю силушку собираем, чтобы не угаснуть.

Но как обутрело, тишина стала в мире, и мы головы подняли из-под снегу. Пароход стоит саженях во ста...

Обезумели от радости. Кричим, как на лошадь:

— Тпру! Тпру!

Да ползунком по льдинам-то. И с парохода нас увидали, свисток дали, трап спустили.

Пароходские нас под руки принять хотят, а мы «ура» кричим да им в ноги падаем.

По трапу сами взняться не могли, нас носко́м занесли. Тут раздели, тут в тепло положили, рому поднесли норвецкого. Сам капитан Владимир Иванович

Воронин обихаживал за доктора. Он воспитывал нас и беспокоился нами, как отец родной [1].

Дён через десяток я с сынишком помогали, чем могли, на пароходе. Брат Егор до весны в мурманской больнице немог. На другой год мы втроем на этот ледокол в коллектив зашли.

Всего погибали мы в относе морском восемнадцать дён. Семь дён в Белом море, пять дён в Горловине, шесть дён в окияне.

МАТВЕЕВА РАДОСТЬ

На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес.

Матвей Иванов Корельской сказывал:

— Родился я в Корельском посаде, на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одинешенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться...

В такой маете, в такой позоре́ и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели.

Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обозначился — нать свое нажить. Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал: давно ли с сумой

---

[1] Капитан В. И. Воронин командовал тогда ледоколом «Седов».

бегал, а теперь задумал карбас, свою промыслову посудину, строить.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем, и рыбы — выше бортов.

Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно на карбас.

До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью договорился, мастера в Коле нашел.

Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу как в гости ходил.

Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал...

Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь...

Сутки океан-батюшко нашим карбасом играл, как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двои сутки на этой горе волосы рвал да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода...

Добры люди поставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молодень-

кой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку... А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился... Топнул ногой о камень да кричу:

— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору сворочу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу как бешеный хватаю.

Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву, и паруса что снег, и я вольный промышленник,— дак и окутки в сторону и постели прочь... И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются. «Пока,— говорят,— Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинялась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно, да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности...

Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр, он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:

Осудари наши,
Воля ваша!

Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситца купить негде.

Теперь понимаете, как трудно копейку-ту откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-то волюшка.

У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят, да лежат, да перевертываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят Иродом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал... Купил в Норвеге брюки-клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.

И... тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».

А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матрена моя и мужскую работу могла. Тес тесала, езы била, кирпичи работала...

Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет...

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие кораблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.

Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня немило.

Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!

— Про людей не слыхал,— говорю,— может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!..

Это он меня да матерь мою нищетою ткнул... Сердце у меня остановилось:

— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь,

ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди... Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..

. . . .

Кругом народ, стоят, молчат.

Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь. Иду — шатаюсь, как пьяный. Сердце себе разверedил.

Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга... И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул...

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два...

Он воровски огляделся:

— Ну-ко, зайди в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?

Я и глаза вылупил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью. А Васька поет:

— Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на

упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь... Понимаешь, Матюша,— Васька-то говорит,— мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то, по три тысчонки на брата...

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Ночью с Матреной ликую:

— Три тысячи барыша... Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи, говорит, Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу...» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует:

— Подпишись.

А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

Накаракулил подпись, может задом наперед,— и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бу-

магу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывают, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.

Весь распался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках, задержки. Может, Зубов и денег еще не получал.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.

В паужну сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова.

«Может,— думаю,— семейные мешают». Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голяка — деньги? Ха-ха-ха!..

Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся.

Зубов рявкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

— «Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

М. Корельской»

. . . .

...Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!

Все отнял Зубов, оставил с корзиной...

Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся:

— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку.

Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокой был. Горевал из-за робят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ох, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни,

деревня-то как за нас восстала... Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова...

— Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю... Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть,— откладываю робятам на первой подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненной путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь — не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено... Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору.

В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:

— Робята, походите у меня по спине-то...

Младший Ванюшка у ей по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:

— Мама, мы тебя сломаем...

Тяжелую работу работаем, дак позвонки-та с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрена смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:

— Матрешишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!..

Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германска война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дерьгаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительно собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасно утро бреду с завода, а в Сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг... Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь Северный край заняла...

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины как тигр выскочит...»

С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел...

Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Василий Онаньев Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо!! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!!

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротиши.

— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!

— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении...

— Я?.. В моем?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада

единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: полетим, говорит, по широкому морскому раздольицу! Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо...

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну и, я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!

...Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыма карнизами.

Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыма литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Корела».

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народишку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели... Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Кореля-

нин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»

Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».

Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят...

Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждой болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена... Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.

Уж очень это любо!..

Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики еще годы... Десять лет на «Радости» капитаном хожу.

Как посмотрю на «Радость» — будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.

Оногды землянá старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:

— Дикóй ты старик,— все не твое, а радуиссе?

А я ей:

— Дикá ты старуха,— оттого и радуюсь, что все мое!

ЗОЛОТАЯ СЮРПРИЗА

— Уточка моховая,
Где ты ночь ночевала?
— Там, на Ивановом болоте.
Немцы Ивана убили;
В белый мох огрузили.
Шли-прошли скоморошки
По белому мху, по болотцу,
Выломали по пруточку,
Сделали по гудочку.
Тихонько в гудки заиграли,
Иванушкину жизнь рассказали,
Храброе сердце хвалили.

— Сидите, заезжие гости. Не глядите на часы. Вечера не хватит — ночи прихватим. Не думайте, что я стара и устала. Умру, дак высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо украшено звездами, наша земля таковых Иванов именами. И не Иваны свою славу затеяли — время так открывается.

Иван Широкий был русского житья человек. Шелковая борода, серебряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наделять приезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто всхоже солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с наступающим...

Иван был вдовец, и моя сестра, Марья, честна вдова-баловница, против праздника набелится добела, нарумянится доала́, ждет Ивана. Он прикатит с закусками, с гитарой. Учинится плясанье, гулянье, топот ножный. Я ругаться, они смеяться: «Не тогда плясать, когда гроб станут тесать. Царь Давид плясал перед ковчегом!»

У Ивана от первой жены был сын Вася; в городах учился, до большой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался: «Сегодня Васенька письмо послал с довольным наставленьем, скоро сам прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу».

Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, пароходы провожает...

Вася строгий был:

— Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить.

— Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу експромту.

...В эту пору с Запада, из-за корельских болот, припахнули к нам ненастливые ветры, приносили ратные вести: прусская аспида пивом опивалась, во хмелю похвалялась:

— Я сера липучая. У меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать. Я ваш ум растлю.

И Красная Армия ответила просто и не спесиво:

— Ты к нам за своей смертью приехала.

Вася Широкий ушел на войну добровольно, с товарищами.

Иван разум сына любит и хвалит:

— Пущай любодейцу тряхнут, выгонят хмель-от из сучки.

Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают:

— Твой сын в невеликие свои годы исполнил лета многа. Не тот живет больше, кто живет дольше.

Иван скажет:

— Верно! Сын обо мне промышлял. Слово тайное, крайное мне припасал. Теперь я слышу его слово... Горе мне! Я летами призаживши, годами призабравши, что я живу?.. Кисла шаньга деревенска!

И пришла пора-времечко, докатилась час-минуточка — сделали деревни выбор на Ивана, везти подарки на войну. Эта дорога Ивану под ноги попала, и он повеселел:

— Не до горя, когда дела вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву глядеть... Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть.

На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Марья говорит:

— Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного золота часики.

С войны Иван писал, бойцов похвалял: «Много доброхотов наших, а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским делом. Их ни дождь, ни снег не держит. Болотами идут, по неделе бахилы с ног не скидывают, Отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я молодею. Всего меня переновило, переполоскало».

Теперь до главного дело доходит.

Пришвартовался наш Иванушко к госпитали. У Карельских пристаней. Тут лежал сбинтован молодой

начальник Марко Дудин. Днем товарищей на совет созовет и так-то их щекотурит. А в ночи не спит, Ивана за руку держит, Иван ему сказку говорит. Будто сын и отец друг друга жалеют.

Гитлерова аспида тогда разъехалась, широко щеки разинула. Наши перешли до времени на озеро. Молодой Марко уж на ноги попал. На него вся госпиталь опрокинулась. Беспомощных людей сряди и соблюди и за озеро их на пароме переведи.

Марко на всякое дело сам кидался, сон и еду позабывал. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на ходу, как собачку, кормит.

Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за озеро. Широкий не послушался. Утаился на отводном дворе, и вести о Марковых скорых шагах принашивал еврей-гостинник. Прежде госпитали тут гостиница стояла, и старобытному гостиннику поставили кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин сманить за озеро. Старичонко бородой тряхнет да костылем махнет:

— Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?

А у Дудина не то что часы — минуты сосчитаны. Некогда стало гостинника нянчить, о Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озером числил.

Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рассвету сам изладился, а в полночь враг налетел.

Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостинника добыл. Тот шепчет по тайности:

— Пятерых попавших людей замкнули в палате. Марко в том числе. На заре им будут языки тянуть — спрашивать.

Иван спросил:

— Тебе-то не потянут языка?

— Мне, Иване, за восемьдесят. Умру — и все тут.

— Дедко, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до Марка?

— Караулит нашего Марка немецкий Тырк Обезьянин. Чем ты его купишь, Иване?

— Есть у меня золотая сюрприза — червонные часы и с цепочкой.

Гостинник привел Ивана к дежурному Тырку и, хотя через порог едва ноги переволок, вежливо справил челобитье и сказал:

— Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека.

И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы.

За перегородкой храпели другие немцы, и Тырк говорит осторожно:

— Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны. Но я принял пять человек и должен сдать пять человек.

И тут дело преславно бывает. Иван говорит:

— Ежели надобно только пятичисленный конплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека, Марка Дудина, отпустите.

Тырк говорит:

— Давай часы.

А Иван часы в пазуху прячет.

— Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать — я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще ведай, немец: ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в чулане: я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря!

Тырку Обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал, Марка Дудина тихомолком отпустил со двора.

Отдал Иванушко немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе, старику, горькую смерть.

Осенняя ночь скороталась. Стали Ивана вязать и ковать. Повели под допрос.

Рыжий фашист вопросил:

— Любопытствую знать: будешь ли к нам прихаживать и слова принашивать, что в Советах деется?

Иван говорит:

— Любопытствую узнать про фашизму, где вы эту грязь покупаете.

— Я тебя муками утомлю! Выручки тебе из Москвы не будет.

— Будто вам из Москвы и писали, что выручки не будет. Столько волосов нет на ваших головах, сколько силы Красной Армии идет на нашу выручку. Будет Корела вашими головами рыб кормить.

Тогда прусская аспида исполнилась гнева и, рык-

нув, как лев, осуждает Ивана под расстрел. Небось каково было страшно и трепетно, но Иван взял силу больше страха.

День ненастливый дождевой тучей покрывается. Иванушко в последний путь снаряжается... хлопнули ружья немецкие. Пал Иван честным лицом в белый мох. Того часу и снегу туча велика накрыла болото, и лежал снег три дня и три ночи.

Безвестно уснул Иван, а слава его полетела на золотых крыльях. Вся река Иванов разум похвалила. Он верховную добродетель исполнил: положил свою душу за друга.

О смертном и славном труде Ивана Ширского узнали в деревне от Марка. Из-под немецкого замка Дудин выбежал в лес. Шел горою и водою, набрел на своих. Искал Ивана и не нашел...

По зиме, по белому снегу, Красная Армия выдула фашистскую душину из Корелы. Марко Дудин стал обыскивать в народе про Ивана. Гостинник оказался жив, только после немецкого быванья трясся всем составом и временем говорил суматоху. Однако Иванову судьбину объяснил внятно.

Дудин от Ивановых рассказов знал нашу пристань и деревню. Приехал к нам весной по первому пароходу. Стребовал Иванов портрет, припал устами и заплакал:

— Отцом ли тебя назову? Но ты больше отца, добрый печальник жизни моей! Ужасается разум, и сердце трепещет, и слово молчит, похваляя твое великодушие.

Огненными слезами плакал Марко. Не в обычай ему были слезы. Но эти мужественные слезы усладили нашу горькую печаль...

...Утолила Марья свои причитанья и говорит:

— Коли Ивану так было годно, то и мне любо. Сердцу-то жалко, а умом-то я рада. Марко, вези меня в свою гошпиталь полы мыть.

Он отвечает:

— Будешь ты моей маменькой.

ОФОНИНА БАБУШКА

Наша Корела от всея Руси болотами отгородилась. А достаток от всея Руси берем. Мужики на все лето в Русь, к морским пристаням, убежат.

В гражданскую войну мы на рубеже привелись, одна нога на полдень, в красной половине, друга — на полночь, в белой. Мы со всей волостью в красну тянули. В красну рекрута ушли, в красну промысел сдали. Бела обиделась, пала на грабежи. Разговор стал такой: «Там-то бела хлеб отняла, там-то мужиков увела, деревню сожгла».

Ждем напасти, а житье править надо. С покрова белка побелела, мужики в леса побежали. Внук мой Офонасей промышленник не из последних Бывало, шуточкой срядится, а тут оружье за плечами, собака у ноги, три раза круг дому обошел, постоял, головой покачал:

— Не идти не можно и идти тошно. Баба, карауль пуще, этта вся сила складена...

...Я молода овдовела, дочь Офоньку родила — умерла, зять у сплава утонул. Внучек Офоня смала как мужик заработал; добытчик вырос: зверя бил, птицу, рыбу добывал. С германской войны воротился, листов, книг навез, стал про Ленина внушать. Народ внялись, рассудили красной власти держаться...

...Неделя прошла ли, летят наши промышленники обратно, а Офони нету.

— Бела идет! Побегайте в волость!

— Мужики, где мой Офоня?

— Они троима в волость погонили за помощью. Там красна часть.

Мужики коней запрягают, женки причитают. Надо бежать. А с собой, кроме одежды да хлеба подорожного, ничего не возьмешь. До морозов на Русь дорог нет, только тропы зверины. Я говорю:

— Бабы, есть у нас на бору девять берез, десята сосна виловата. То наши кладовые.

По беличьим дуплам всю одежду мужску и женску, хлеб, у кого сколько запасу, посуду медну, оловянну упрятали, кожано да железно по сенным зародам распихали. А снег падат, следы замолаживат. Мышам не найти.

— Теперь, бабка, бежать!..

— Как хотите, мужики, мне от деревни не оторваться. Этта сорока кашу варила. Это гнездо мой дедушко свил. Я в каждом доме всяк сучок знаю, я всем прабаба,— мои это дома.

— Офонасей наказывал тебе от народу не оставаться.

— Велика ему радость будет: «Офоня, я все бросила, к тебе гола прибежала». Бежите, а мне без хозяйского догляду нельзя деревню оставить. Офоня с Красной Армией воротится, кто их стретит?

— Убьет тебя бела.

— Паду, да под своим потолком!.. У меня в Заозерье Егору шесть шаек банных заказано, ужели все бросить!

Ушли. Одна я осталась барыня на всю деревню. Двое сутки ждала белу-то кость, перепрятывала коечто.

С Митревой субботы в ночь на воскресенье налетело их, как ворон. По-русски говорят и не по-нашему лекочут. Иностранцы-ти высоки, под полати не входят, морды бреты.

Выпалили раз десяток для опыта, с обыском пошли.

Ко мне какой-то полковник Каськов на постой стал. Тако начальниченко бедово, с нерусскими — малина, со своими — собака ядовита. Я принялась полы мыть: увидит, что хозяйка, не сожгет дом-от. А он меня под допрос:

— Где народ?

— Разошлись по своим делам, кому куда ближе...

— Народ ушел к красным. По которой речке, в котором чертовом болоте красный штаб?

— Ты почто эко-то спрашиваешь стару старуху?

— Ах, ты по старости осталась! Мы, дураки, думали — шпионить...

— Осталась — радею своему месту.

— Пушной товар красным сдан или спрятан?

...Скажу, что красным сдан,— деревню спалит; скажу, что спрятан,— скажет: веди, показывай...

— Сдано купцам проезжающим. Откуда приехали, куда увезли,— адресу нам не оставили.

— Одежда где?

— Ваша — не знаю где, моя на мне: пестрядинник да рубаха. Еще маменькино полукапотье в коробейке — зад стоячий, перед шумячий...

— Хлеб в лесу или в поле заборонен?

— У нас этой моды нет — прятать.

— Ну, а я тебя спрячу под замок на мороз...

Свели меня в подполье. Холодно, темно, окошечко — кошкам ползать. На крыльце часовой русской, на повети — иноземец. Вот как я! У меня стража изо

всех держав! А перекусить нечего, забыли бросить кусочек.

На утренней лазори в понедельник повели печи топить. Начальниченко мимо прошел, я не поздоровалась: пропал бы ты кверху ногами! Под мой потолок зашел да, как воровку, под полом и морозишь... А меня и к допросу. Их людно сидит, стратилатов. Каськов говорит:

— Мужик из лесу нам все рассказал, где штаб, где хлеб и прочее. И тебе нет пользы запираться. У нас записано...

Я говорю:

— Записано, дак вы читайте. Я неграмотна.

Сгрубила им эту грубость, неруской в медалях и подходит:

— Ваш муж сбежаль. Его гардероб где?

— Наш муж уж двадцать годов эво куда, на мертву горку, сбежал. И гардеробу на нем — деревянный тулуп о шести досках.

Командиришко полтуши ко мне и поворотил, у его глазки сделались кровавы:

— Копайте себе могилу рядом.

Покосился мне вслед:

— Храбрый, не плачит.

Я вышла, не сморщилась:

— Поплачу, да не при вас...

Возле мужа, под приметным вересовым кустышком, снег разгребла — три аршина вдоль, полтора поперек — и моху вершка на два сняла. Мое вечно место обозначилось. Тут заплакала:

Стойте, резвы ноги,
Подо мной не подгибайтесь.
Машитесь, могутные руки,
Заступа не выпущайте.
Всем могила надо,
Никто сам себе не роет.
Я сама себе яму копаю.
Себе похоронну припеваю.

. . . .

Глаза страшатся, руки делают. По колено выкопала. Суморок пал, домой свели под пол. Смилостивился неруской солдатик, хлебца подал и половик окутаться. А то бы до смерти ознобило.

Во вторник Каськов опять про хлеб, про куньи меха нажимал. Сам с похмелья, исподлобья выглядывает:

— Ты понимаешь, Немирова, что против царя идешь?

— Царска власть из России, как вода из утлой посудины, вытекла.

— Это тебе не Ленин ли сказал?

— Хоть бы и Ленин. Ленина слово по всем рекам розвезли.

— Кто же именно разносит?

— Что лесну тетерю спрашивать. Суди, как знаешь.

— Таким, как ты, суда нет. Сострелим — да в яму. Копай иди!

Я досель не вникала в Ленина-то, а тут под горячий час за Ленина стала. Раскуражилась, дверью хлопнула, пошла.

Этот день еще по вот чему помню. С иностранным человеком прилежно поговорила. Я ширюсь в могилето, ругаю их, обменов заморских, а заморский солдатик и сует мне четыре галеты. Говорит:

— Болшевик добра.

— Есть добра,— отвечаю,— Ленин!

Он опять карточку показывает, кто-то снят молоденькой:

— Ми братер, спать земля Архангель.

У меня сердце отдало, как из-под снегу трава выскочила:

— О, верно, верно! Бесчисленно на войны пало молодых да именитых, а мне, старой гагары, что не помереть! Удалы да пригожи безвестно кучами валяются по дорогам, а я, грязна ворона, буду шириться на славном буеве, под приметным вересовым кустышком...

Он еще меня утешат: сухой листик в яму бросил, на меня указал. Опять поняла:

— Верно, верно! Лист не тужит, что завял да с ветки упал. Так и старой человек. Я, дитя, не хочу на могилу обидеться, а о том тужу, что начальники ваши — звери-съедники. У нас Ленин каплю пота славит и мозолистым рукам честь воздает, а вы истребляете честной труд. Сожгете Заозерье либо до окладного бревна раскопаете. Сколько мастерства пропадет, сколько богатства! Полы, потолки, рамы, двери, лавки, столы, бороны, сани, ушаты. Работано все гладко да чисто, тесано да строгано. Сколько у моего Офони ловушек на зверя, на рыбу, сети, верши. Два

стула венских... Сколько он работал, как трудно заводил...

Кто знает, много ли понял неруской-то. Я его поблагодарила за хлеб:

— Мне совестно у вас брать. Вас, верно, самих хлебна нужда из-за моря выгонила?..

Он это не понял.

Во вторник по пояс выкопала. Я все эти дни в памяти собрала. В какой день что было, все помню.

Со вторника на среду западной ветер переменился на север. Ночью вызвездило да пал мороз. Знай бревна лопаются. Сижу под половиком, как кукла, зуб до зуба не доходит. Хорошо бы эк до смерти затрясло... Не поспела помереть, живу отомкнули.

В избы солдатишшов толсто. Накурили — окон не видно. Болота подмерзли, дак разведка за озеро походит. Каськов тоже сряжен по-дорожному. На столе планы, начальники карандашиком пишут, волость именуют. Меня горе берет: «Не наших ли убивать походят?»

Солдаты вышли, Каськов говорит:

— Не взялась за ум, Немирова? Застрелю середи полу!

— Стреляй! Помереть нашему брату краса.

Неруской в медалях на меня поглядел:

— Что есть краса?

— Как не краса. В лесах замерзать не надо, у сплава тонуть не надо, с землей биться не надо, начальников бояться не надо, водку пить не надо, драться не надо, реветь не надо.

Неруской в очках ко мне подошел, стал возле носу рукой водить, мне велел за его пальцем глазами ходить. Вверх, вниз, вправо, влево... Верно, доктор. Засмеялся, сел. Им нечего делать, они вымышляют надо мной. Каськов говорит:

— Немирова, я буду в отлучке до воскресенья. Захочешь жива остаться — укажешь тайники, а нет — к понедельнику тебя кончим.

— Мне-то что, кончай. У меня не дети малы.

С этого часу стала сила худо забирать. Яма глубока, глыбы тяжолы, выздынешь лопату, глина обратно.

В среду я до подпазухи в землю ушла. При звездах домой увели.

А в каськовску квартиру неруской с медалями перешел. Песня да плясня учинилась для новоселья. За полночь топтались да гайкали. «Что же,— думаю,— неужели не вспомнят, что под полом старушонка мерзнет, как торокан?»

В четверг к допросу уже не водили, неруской начальник приказал могилу кончать. Четвержной у меня был прощальной день... В последний раз деревней иду, некому слушать, а не могу в себе жать:

Мое житье скороталось,
Мне три дня веку осталось.
Прощай, прекрасно место Заозерьско,
Простите, порядовные домы.
Сколько по дворам обиходу,
По анбарам промыслового доспеху!
Простите, топорища гладкие,
Ездовые шесты мягкие,
Прости, колье огородное и жердье сосновое.
О, сколько богатства, сколько хозяйства!
Не на кого оставить, некому доглядеть.
Дорога-та встала,
Кабы Красна Армия сюда прибежала.
Ужель прекрасно место Заозерьско
Белым под ногу бросят!..

До Мертвой горы шла — пела. Что вижу по пути, с тем и прощаюсь. Часовой незнакомой, а не унимат: командиров нету близко.

На морозе не будешь тихо шевелиться. Засветло пошабашила. Глубока, суха, хороша могилушка... Сама вынуться не могу, часовой за руку вытянул... Перед глазами вся красота поднебесная. Зимня заря догорат, и озеро видать, и тундру, и лес. А за плечами — земля, мати всех, ширит на меня многоядными устами...

Пора с белым светом проститься. Всему стала кланяться:

Прости, матушка тундра ягодна,
Прости, батюшко ветхово рыбно озеро,
Прости, мати сплавна Курья-река,
Прости, прямотелой бор, корабельщина,
Прости, кормилица нива житная,
Прости, сударь белой снег,
На сенных угодьицах поляживашь.
Прости, Ленин господин,
Я твоего лица не увижу,
Твоей грамоты не узнаю.
День пришел в гости к вечеру.
. . . .
Легла секира при корени.

Внученько Офонасьюшко! Ты маленькой был, баб-ки дома нет,— все на окошке сидишь да ждешь.

Теперь я тебя не могу дождаться,
Приходит на меня жатва.
Ты домой воротишься,
Далеко не росхаживай,
Широко не обыскивай.
Меня укрыла сыра земля
От частого дожжичка
И от красного солнышка.
. . . .

Мне бы жалобиться негоже, да домашности жалко, деревенских жалко... А воротятся, дак они где будут меня искать? Надо признак оставить... На мне сарафанишко красный пестрядинной. Дай флак по себе оставлю; я того достойна. Хочу кромку оторвать, не могу. Пряла сама, ткала сама, шила сама, на сто годов загадывала. Зубами да заступом отсадила оборки аршин да вересовой куст, которой у меня в головах будет, и повязала.

Часовой солдатенко давно за подол тянет, бегом в деревню погонил. Замерз, бедной.

Я тоже в худых душах сделалась, уползла в казематку-ту, пала как сноп... В головах дресвяной камень, а вижу: вот я маленька, с таткой плыву на струге речкой. Сунула шест-от [1], дна не достала, сама в воду ушла.

...Очнулась — пятнична ночь за окошечком... Опять вижу, будто избу топлю, охапками дрова ношу, а согреться не могу. Огляделась — среди снегов печьта. Ни стен, ни кровли.

Не знаю, как до всхожего дожила; спина одеревенела, руки не подымаются. Наработалась больше, хоть ременкой стегайте, не пошевелюсь. Стала пятница светать.

Над головой обмен заморской шагат, а по мою душу не посылат, ни топить, ни мыть не ведут и милостинку не несут. Понимают, что день коротенькой — много ли уешь?.. Пятница постояла, тьма голову накрыла. Ходьба перестала, ночь пошла глуха. И рука спит, и нога спит, ум во вселенной плавает, вижу грады и корабли...

И вот чую, в ворота кольцом боткают. И Каськова

---

[1] В стругах плавают стоя, отпихиваясь шестами.

голос, кричит кабыть с перепугу. И по всей деревне громко стало, снег заскрипел, люди заходили... К оконцу подобралась, стеколышко проскоблила: по звездам — немного за полночь. Что же они середи ночи засбивались? Каськов почему рано воротился?.. Оли до зорь эту хлопотню расслушивала. Изнемогла, хлопнула на пол.

...Прохватилась — в окно суббота синет.

Каськов-от приехал!.. Сон прошел, страх пришел: меня ведь стрелять потащат.

...Умерше-то платье вверху, в сундуке; рубаха там, и костыч, и плат. Срам — в грязном пестрядиннике лечь; подол — как собаки выгрызли. Дай караульного достучусь, стребую хоть рубаху да пояс. Обязаны последню волю исполнить.

Приправила в дверь стучать. Постучу да послушаю... Колотилась, колотилась, ревела, ревела — гробовая тишина! Куда извелись?.. Видно, это сонна греза была, ночной-то переполох. И Каськова голос сном показало... Для чего же вся деревня спит? Иноземец наверху не ходит почто? Ведь полдень по свету-то... Я не оглохла ли? Перстами возле уха пошабаршила — слышу.

Зимний день показался, да и нет его. В потеменках увидела домову хозяйку. Прошла с ведром и с вехтем, подол подоткнут — мыть срядилась... Я поклонилась:

— Мой-ко, хозяюшка, благословясь!

Сама думаю: «После кого же она мыть срядилась?»

...Часы не считаны, сижу середи полу... Почто же тихо-то припало? Я не умерла ли? Может, это я на будущем в мрачно место посажена без суда навеки?! Ужаснулась, щупаю круг себя. Кабыть наше подполье, и окошечко тут, и на двор захотела. Значит, еще на сем свете.

На ночных часах сбагоянело оконце-то. Кто горит? Стеколко оттаяло,— по земле снег, по хоромам снег, а небо кроваво. От востока до запада сполох играет, ходят столпы огненны, как в море волна... Что же тихо-то в мире? Может, я одна во всем свете? Хотя бы собачка лайконула, хоть бы петух звонил...

Зубы затрясло, заокуталась постилахой, залезла в угол. С этой ночи потеряла время. Ум стал мешаться, не знаю — часы идут, не знаю — дни.

На дневных ли, на ночных ли часах увидела себя на бору, бежу боса и нага. А на каждом сучке белка: в этих бы белках шубенко сошить! А впереди мужик с собакой. Ружье признял, двенадцать раз стрелил: пык-пык, пык-пык... Белки нападало, как снег... Он ко мне поворотился: «Обирай!» И узнала Ленина — красив, велик... Хотела вякнуть с радости и... опамятовалась, и чую: «пык-пык-пык» — явно палят от деревни на полдень.

— Стрелять начали! Сейчас за мной придут! Неготову, ненаряжену, без домовища в землю складут...

Ползаю по полу-то, реву:

— Красавица моя смерточка! Ты за мной сторопилась!

...Еще по разу бабахнуло близко возле домов. По улицы побежало... Скорее бы конец! По лестницы зашло, по дому застукало, зовет кого-то... Голос знакомый, а не помню... Опять круг дома и на поветь... Называт кабыть меня. Меня ищут... Сами под пол посадили да сами и забыли... Нет, спомнили — дверь подерьгало да и позвало:

— Баба!

— Офоня! — Хочу зреветь, дышанье захватило...

Он замок отвернул:

— Бабенька!

— Дитятко!..

...Я дня три глупа была. Потом стала радоваться. Дальше да больше.

Вот как дело сотворилось: Офоня в волость с вестью прибежал, они с ним враз на Заозерье отряд для выгонки белых послали. До морозу худа была попажа. Наших с обозом встретили. Офоня ругал их, плакал, что безумну старуху одну бросили. Мороз пал, отряд напрямик побежал. Каськова разведка это унюхала, как пробка из суземов вылетела.

Не до того было, чтобы наше Заозерье зорить, успеть бы людей да багаж собрать.

Этот переполох я и слышала ночью, да ко сну применяла.

Бела к субботе в ночь ушла, красна в понедельник пришла. Два дня деревня порозна была, то и тихо стояло.

Поругал меня внук-от, что осталась от народа:

— Много ты мне, бабка, печали придала!..

— Тебе, Офоня, от безделья печалиться. Мне дак недосуг было печалиться: деревню караулить надо, за белыми доглядывать надо, иностранных людей наблюдать надо, могилу копать надо... Да, Офонюшка, вы Заозерьем проходили?

— Проходили.

— Ты Егора видал?

— Мне и ни к чему.

— Вот ты делов-то наделал! У меня Егору заозерьскому шесть шаек банных заказано. Растащат теперь белы.

С Офонькой на лавке красноармейцы сидят. Он смеется:

— Моя бабушка век такая! Ей кол на голове теши, она своих два ставит...

Красноармейцы говорят:

— Достойно бы твою бабушку при почестях перед войсками на блюде носить или на кореты возить!..

Я их всех захватила распростертыма руками:

— Деточки, я заживо смертну нужду перешла. Теперь как вновь на свет родилась. Учите меня в справедливу ленинску грамоту, а то я Ленина называю, а ничего не понимаю.

ПУГОВКА

...К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричит: «Наторова, ты примешь пальто...» В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила — да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал не заметил. А пуговка немножко не такая.. И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет.

Тут порядочно времени прошло. Иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем то самое... Я попристальней вглядываюсь — и пуговка та самая, моя пуговка.

Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветной тот портрет...

Он у меня около зеркала в раме теперь.
Каждый день подойду, посмотрю да поплачу:
— А пуговка-то моя пришита...

(Слышал в Ленинграде, на Волковском кладбище, от приезжей из Архангельска Наторовой.)

КАК ФЕДОСЬЯ НИКИТИШНА У ЛЕНИНА БЫЛА

У нас папаша был кровельщик, работал в Смольном, да перед самой революцией и скончался. Так что и жалованье недополучено. Временное правительство явилось, мамаша пошла относительно денег, воротилась со стыдом, как с пирогом. Только и спросили: «А ты, бабка, видала, как лягушки скачут?»

Зима нас прижала, мамаша говорит:

— Все Ленина хвалят теперь: не сбродить ли мне в Смольной-то?..

Какое-то утро встаем — нету старухи. Думаем, у обедни, а она это в Смольной угребла... И подумайтека, ползала-ползала там по кабинетам да на Владимира Ильича и нарвалась... Пишет он, запивает конфетку холодным чаем...

Она нисколько не подумала, что это он сам, тогда портретов-то мало было, и спрашивает:

— Вы, сударь, на какой главы: на письме или на разборе?

Он россмехнулся:

— Как приведется, сударыня. Вам на что?

— Меня люди к Ленину натакали, ко Владимиру Ильичу. Говорят: «Твое дело, Федосья Никитишна, изо всех начальников один Ленин может распутать...» А я гляжу на вас, как быстро пишете, и думаю: экой господин многограмотной, уж, верно, не из последних начальников... Где мне Ленина искать, не войдете ли в мое положение?..

Преспокойно уселась да вкратце и доложила. У Ленина глаза сделались веселы, расхохатыват...

— Верно, Федосья Никитишна... Без Ленина обойдемся.

Вызвал сотрудника, выметку из книжечки дал:

— Товарищ, срочно оборудуйте Федосье Никитишне ее дело.

...Мамаша домой приходит и деньги выкладыват:

— Все начальники в Смольном хороши! И без Ленина дело сделали.

А через месяц приносит с рынка фотографическую карточку:

— Вот купила начальника, с которым в кабинете-то сидела...

Мы взглянули, да и ахнули:

—Мамаша, ведь это Ленин и был!...

(Слышал в вагоне Северной железной дороги в 1928 году, рассказывала женщина, ехавшая из Архангельска в Ленинград, к мужу.)

СКАЗЫ

СЛОВО О МОСКВЕ

Что звенит, что поет утром рано, перед зорями? Жаворонок звонкий, в красные дни утеха, летит под синие облака, поет великую славу. Летит крылатая мысль, соглядая дивный возраст великого города. Память смущается, исчисляя века и годы Москвы, а сердце ликует и хвалит ее неразоримую славу. Обветшала честь спесивых заморских столиц, но вечно юнеет Москва. Москва Великая... Не в книгах, не в письменах — в наших сердцах живет разум и сила этого слова.

Здесь, над Москвой-рекою, начала Русь собирать свой дом. И ныне народная власть кроет этот дом золотою кровлей. Город заветный, Москва заповедная...

«...Москвой-рекою налейте кувшин и пошлите мне,— писал некогда безымянный служилый человек с далекой чужбины,— я вылью в здешнюю реку, и тут будет мне родина».

Во дремучем бору Москва рублена, на веселое место поставлена. «Тут любо уму, тут сорока кашу варила»,— сказала великая Русь и плотной ногой ступила на холме Боровицком.

Суздальцы и владимирцы усмехнулись: «На бруснику, на клюкву, на ягодки обзарились московские князья, да на болотце и остались. Городок, будто белка хвостом, лесом накрылся. Мы бы и не ведали, да веник оттуда к нам принесло по течению. И владыка Петр — ни к нам, ни в Киев, а тоже туды ж, на болотную кочку. Знать, умом опростел от старости!»

Где ныне простираются улицы, там древние мужи московские деяли ловы зверины, «и княжая одежда

от поту звериного и от слюн медвежьих всегда зарудилася». Уток, гусей, лебедей москвецы стреляли с крылец.

Отец дарил старшему сыну гнездо стрел. Вместо мостков по мхам, по ручьям были кинуты жерди.

Время катится, годы торопятся. Москва «бело лицо принаполнила, русу косу поотростила». Суздаль и Владимир дивятся на Москву: гораздо невеличка, а промышляет около нас, будто большая!

Годы катятся, дни торопятся.

Москва шагнула на полный шаг и в своих многотрудных путях терпела всякую дорожную невзгоду. В огне по запаху горела, и в воде тонула, и, насилу отдыхаючи в бедах, доспела себя в разум государственный.

Москва опытно узнала, что «сладкой быть — проглотят, горькой быть — расплюют». Перед татарами Москва до поры до времени показывала вид покорности. Но крепко заботилась, чтобы «свеча не угасла», не иссякла бы под чужеземным игом живая струя народного сознанья. «Татарская журьба часовая, московская гульба вековая!»

Благодаря Москве перестала на Руси княжья крамола. Удельные князья обиделись, что Москва стала «на словах спесива, на речах горделива». Но перед гордостью Москвы преклонились наконец татарские цари.

Восстает Москва, и — внутренние обиды минуются. Восстает Москва — сторонние страхи далече катятся. Восстает Москва, и — немецкая латыня ужасается!

Москва опоясала меч. Москва белокаменная стала щитом и забралом всея Руси. Вот «швицкий король многие страхи наводит, славу пущая войною на Русь». Вот «латинские немцы подошли к русским краям»... Москва ополчается первая. «Против врага московские люди твердо стоят и бьются до смерти». Европа, хочет не хочет, слушает славную весть: «Москва королевское войско отбила, и воеводок у них полонила, и меч латынский обнизила».

В древности в боях под Москвою «пели стрелы каленые, гремели копья долгомерные, блестели топоры, как синие молнии». При отце Ивана Четвертого Москва встречает неприятеля «с огненным боем, с самопалами и пищалями». Воевода XVII века доносит: «Швецкие люди показали новые в ратном деле вымыс-

лы. И против тех хитростей старое ратное устроение показалося на боях неприбыльно».

После царя Бориса Годунова Москва «отовсюду терпит рати и бури. Извне страх, внутри мятежи». Москва ненавидела «королевских польских людей и своих миропродавцев». Московские патриоты, брошенные в тюрьмы и казематы, пламенным словом своих посланий подняли на освобождение столицы всю Россию. Когда народное ополчение Минина и Пожарского подступило к Москве, убедительное слово ее патриотов обращено было к тем «шпыням московским», которые, «живучи посреди смертей многих, потеряли правый путь». «Бегуны, потаковщики! Мертвое ваше дело! Вся тварь на вас, миропродавцев, негодует. Звезды помрачились, земля хлебородимая сохнет, поля вянут. Не хочет Мать-Земля предателям служить. Опомнитесь, отряхните мрачный сон! Горе человеку, который, упавши, забудет прежнее достоинство, но в темной измене валяться полюбит».

Московское житье-бытье Смутного времени показывает одна грамотка-жалобница: «...в ночи на овторник два человека ляцкой породы, со своим бутенантом, приходили жегчи мое дворенко. И я с ребятишками, послышав, выскочили на улку и почали гаркать. И те ляцкие люди побежали и на Коровьем броду сожгли овин. А приходили по наущенью вора, мирского захребетника Митьки Олферова».

После изгнанья врагов было указано:

«Всем того дела беречь и остерегаться, чтобы воров не укрывать по дружбе. А на добрых людей по недружбе поклепов не сказывать».

Москва не изнемогла в напастях. Корабль ее жизни плывет дальше. Белокаменная зорко следит, чтобы нигде не учинилось порухи ея имени. В Мадриде московских послов невежливо спросили:

— Правда ли, что Москву часто разоряют чужеземцы?

Послы ответили:

— Рати бывали. И теперь всему миру ведомо, что к Москве войною ходить дело неприбыльное. А ваши гишпанские пристани арапы разоряют каждогодно. Мы, идучи кораблем, разоренные ваши морские города видели. И о том печалились...

Испанская королева готовила в Москву ответную грамоту. Послы наказывали: «Чтобы в грамоте, како-

ву шлют с нами на Москву, титлы преименитого Московского государства были написаны сполна». Раз десять переписывала королевина канцелярия ответную грамоту. То оказывалось, что грамота подчищена. «И нам такой чищеной хартии казать на Москве не доведетца». Недовольны послы и новым списком. «Хотя титульные речи написаны сполна, а не по чину. И вы бы, которые слова у вас писаны позади, поставили напереди». Канцелярия доказывала: «Российских титулов гишпанскою речью нельзя перевесть слово в слово, для того что грамматика не сходствует». Послы не сдавались: «Хотя и не сходствует, но вы для всемирного покоя и тишины и для первого нашего любительного к вам приезда учините в грамоте по-нашему»

Титул Московского царства чрезвычайно высоко ставил Иван Грозный. Лично свой род он исчислял от римского цезаря Августа и большинство современных монархов считал худородными.

В ответ на «звягливое» послание шведского короля царь пишет:

«Нам твои титулы дьяк до обеда вычесть не поспел. В которых ты своих чуланах откопал, что твой род от кесарей римских? А на Москве добре ведомо, что твой род сермяжный. Ты забыл, а мы знаем: твой родитель, в рукавицы нарядяся, по рынку ходит, коней меняет, жеребцам в зубы смотрит. И ты над твоими думными боярами не больше и не краше старосты в деревне. И потому тебе непригоже с нами, великим государем московским, лицо в лицо грамотами ссылатись. А пиши ты к нам через наместника. Не обидься... Еще звонишь ты в большой звон, что Москва твои рубежи воюет. Мы про то не слыхали. Знатца, порубежные мужики спьяна подрались, а твоему величеству война приснилась... Не затевай! Не мастери кроволитья! А некоторые плачевные гласы во вселенную пущены, что московский-де царь великость новгородскую потоптал, и я спрошу: «Тем ли Новгород велик был, что с Литвою стакався, на Московское государство злоумышлял? То ли теперь Новгороду бесчестье, что со всею Русиею в единомыслии стоит?» Еще пишешь, будто Москва окраинные города от латинских королей отлучить замышляет... А и то бы не дико: вера едина, язык един... А что твое величество, взяв собачий рот, лаю пишет, будто я твою жену у тебя отымаю, и о том у нас много смеху было...

Сыщи ты переводщиков пограмотнее. Пущай новгородскую нашу грамоту ладом перетолмачат. А твоя королева нам не надобна. Никто ее у тебя не хватает».

Только через сто лет после Грозного явился на Москве писатель, столь же смело и самостоятельно употреблявший живой, разговорный народный язык. Это строптивый Аввакум Петров будоражил книжников московских искрометной, яркой речью. Книжники негодовали: «Неухищренное и нехитро плетеное писательство его зазорно. Аки бы неистовых жен вопли». Аввакум горячился: «Плюю на ваше рукоделие, плети кто хошь: сиди да кропай, путай да мотай. Подпирай русскую речь эллинскими костылями, будто она ходить не умеет!.. А я люблю свой природный русский язык. Не унижаю его чуждыми прикрасами. Недосуг мне-ка с тобой узоры-те вывязывать. А я размахнясь да брязну по роже!» Сосланный в Печору Аввакум пишет царю Алексею: «Михайлович, плюнь ты на греков! Вздохни-тко по-русски, а «кириелейсоны» оставь. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек. Греки-те с турецким салтаном одно блюдо облизывают!»

В старинной Москве только знатные и заслуженные люди имели право писать свое имя-отечество полностью. Люди нечиновные писались в деловых бумагах — Ондрюша, Митя или — Иванец, Степанец, Павлик, Карпик. «Черный» народ писался: Никитка, Павлютка, Дунька, Марфутка. Московская женщина, даже знатная дама, в письмах к мужу именовалась уменьшительно. Княгиня Голицына подписывается: «Женишка твоя Аришка челом бьет». Духовные лица подписывались: поп Еремеище, игумен Терентьище, старчище Иванище. На приеме у царя люди простого звания стояли на улице. Люди «получше» — на крылечной лестнице, кто выше, кто ниже, смотря по важности своей.

Чиновные лица стояли в сенях. Знатные персоны допускались в царские палаты. Из-за мест на лестнице и в сенях шли великие споры. Царь посылал унимать спорщиков от ругательства и от драки, «для того, что и речей в палате от того горланства и бою не слышно». Бывало, что и на царском пиру бояре, споря из-за мест, волочили друг друга за бороды.

Не о всякой старине язык беспечально выговаривает. Но весело сердцу вспомянуть московское искусство и художников. Кончилась татарская зима. Сияют зори

русские, весенние. И как верба кудрявая и как подснежник на проталинке, возвеселил Москву Андрей Рублев.

Через двести пятьдесят лет после Рублева другой старинный живописец, Никодим Онежанин, восторженно дивится светлости рублевского художества: «Не ведаю, как обсказать. Язык мой короток, не достанет тех красот. Разум мой не обнимет того преизящества. Но дивна мне и чудна светлость мастерства. Ум исхититься может от прегудания (перезвона) многоцветущих вапов...»

Как-то выпросили москвичи у города Владимира одно достопамятное произведение греческого художества. «На малые сроки, на посмотренье и умиленье». Выпросили на время, да и не захотели с «посмотреньем» расстаться. Отвечая на докуку обиженных владимирцев, москвичи сказали: «Который град честнее для пребыванья оного сокровища? Не царственная ли Москва?..» Во Владимир послали копию «Андреева письма Рублева». И владимирцы «приняли Рублево дело благодарно и с весельем. Потому что Андреево письмо все чудотворное».

Древнемосковские художники знали-ведали всю хитрость и устав ремесленный. Изготовляли доски к живописи, терли вапы — краски многоцветные, варили олифы, умели золотить, чеканить, штукатурить... Эти мастера заботились, чтобы художество для радости людской явилось прочно.

Книжица «Нарядник» говорит: «Подмастерье мастеру повинуйся. Мастер о подмастерьях промышляй. Не говори грубо-досадительно. Не возносися. Не закрывай полезных речей мудростью.

...Дарование художное подобно черпающим воду из реки. Один подымает велик сосуд, другой посредний, а иной — малый. Всяк несет по своей силе. И ты богатству дарованья радуйся. И намеренье посредственных целуй. И спех умедливших люби».

Кроме картин на липовых досках эти мастера «писали потолки на полотне и золотом и серебром, изображая круг небесный и планиды». Делали рисунки для художниц — вышивальщиц и ткачих, золотошвеек и кружевниц. Художники не презирали ремесла и были крепко связаны с народным бытовым искусством. «Которые образчики, и лица, и узоры купили в Оружейную палату Онтонидки Кружевницы из Ха-

мовников, и те листы переплести в тетради, и хранить особою статьей, на погляденье подмастерьям, а мастерам для ведома».

Мастерица Настька со Скатертного переулка при посылке сестрам в Серпухов «первоучебного тканья, вя́зьбленного и берчатого», пишет: «Рукодельице мое примите и, сочинив одежду, да носите на здоровье».

Московскую шубку, «струйчатый атлас, камку — жаркий цвет, ожерелье из соболя» московские послы дарили герцогине флорентийской. И та «надела на себя и дивилася изрядному шитью».

Королева испанская на приеме московских послов держала их подарки в руках и «лицом была светла гораздо». А пятилетний король «с золотого стула соскочил и шляпу скинул, играючи московскими гостинцами».

Изящными искусствами ведала Оружейная палата. В рядах художников «второй руки» поименованы: «Соломонида Лоскутница, Девятко Шапочник, Васька Пуговичник, Бориско Седелянный Мастер, Игнатко Часовик».

Поставщиками художников были торговые ряды — полотняный и холстинный, пестрядинный и крашенинный, тафтяной и суконный, медный и оловянный.

Москвич тонко разбирался в оттенках любого цвета. Красный цвет делился на мясной, румяный, брусничный, жаркий, маков цвет, багрянец. Белый цвет — на бумажный, сахарный, седой, облакитный (облачный).

Возле домов москвичи ставили «щоглы с ветреницами» — мачты с флагами. «У дьяка Таракана Андреевича на Яузе ветреница: пятнадцать аршин по лазоревой крашенине нашито сукном разных цветов и шахмат, клетка коричневая да клетка соломенный цвет. У гостя Нежданa Комара ветреница: шито сукном тьмо-зеленым да румяным через полосу».

Помянутый Никодим Онежанин приводит отзыв датчанина Ольса: «Сколько-де он, Ольс, земель проехал, а не видал такого узорочья и рукоделья доброго. У них-де, на Москве, и плотник рубит с вымыслом».

Ветхие листы, поблекшие письмена, выцветшие строки нередко донесут живительную весть о верности друг другу мастеровых людей в артели: «Как Прохор — каменный мастер за нас у Голицына кирпичного

заводу пострадал, так и нам друг по друге радетельно стоять повелел».

Наряду с художеством «рукотворным» стародавняя Москва любила музыку: «Москва из песен сделана». Были свои композиторы. «В созвездии творцов московского мастеропения имена Ивана Грозного и сына его Федора занимают далеко не последнее место. Их музыка столь же чувствительно действует на воображение, как и нонешняя»,— пишет один московский деятель прошлого столетия. Свое музыкальное творчество царь Иван изложил в древней крюковой нотации. Древние нотные манускрипты часто имеют пометку: «Роспев царя Ивана Московского». Федор Иванович написал музыку к песням Цветной Триоди: «Днесь весна благоухает...», «Днесь светло красуется славный град Москва...».

Мастерица была Москва песню спеть, и сказку сказать, и пляску сплясать под гудок, под волынку, под гусли. Но «всякий спляшет, да не как скоморох». Москва всегда любила «действо феатральное». Московские актеры-скоморохи славились по всей Руси. Иные жили «смирно, за царем и боярами». Но большинство скитались артелями «меж двор». Власти опасливо поглядывали на этих лицедеев-пересмешников. Благочестивые люди не любили скоморошьего «плесканья, гуденья, многовертимого скаканья». Почтенный гостинодворец тужит: «Сын мой, Пронька, стакався с веселыми людьми — перегудниками, не почал меня, отца своего, слушать».

В Москве у бродячих скоморохов была своя актерская биржа под вывеской «колашни». Соседи жаловались: «Держит подворье баба Курка Колашница да Васька Чиж, скоморох. И он ей не муж: живут без закону. А колачей николи не пекут; держат приход гулящим людям — скоморохам. Неведомо откуда придут и по ночам укладывают, куда пойдут. И у того Чижа по вся дни игра в зернь и в кости, и приходят картовщики и табашники. И та Курка и Чиж сказывают у себя на тое воровское становье грамоту, а нам, добрым людям, тое грамоты не покажут. А куда поедут, и свое дворишко запечатают тельным крестом и зубами. А земского судейку Володю Короля, и приставов, и понятых потачат деньгами и поят вином».

По Москве при царе Алексее против скоморохов был объявлен «заказ крепкий с заповедью». «Веселые

люди» артелями стали уходить на Север. Грустью веет от их «жалобницы»: «Промышляли мы на Москве необидным делом... Не убийцы, не грабежпики, не воры: прихаживали ко дворам для добрых бесед. И за что нас так тратят?»

У светлого Гандвига, Белого моря, изгнанники оставили добрую память. «Веселые люди-те, святые»,— величает скоморохов пинежская былина. Скоморошья эпопея «Шиш Московский» повествует о проказах над богатыми и сильными. На Двину скоморохи принесли икону своего патрона-покровителя — легендарного Вавилы-скомороха.

Но и кроме столбовых скоморохов водились на Москве неприписные песенники, сказочники, вопленицы-плачеи. Таких «словесных людей» показывает челобитная первых лет петровского времени: «Бьют челом нищие старухи богаделенки, Степанида Шипихина со товарищи, пять человек... С похвальные недели привитали мы у Андрона Головы на дому в Сыромятниках. А в жилом подклете Федька Шваль шьет шубы на стенной караул с маткой да с женкой. И мы, нищие, займовали у того Швaля на перехватку три рубли денег. Заложили ему для веры шубу, сукно травяной цвет, подложено бархатом черным, косматым. И он, Шваль, того закладу не отдает, надеючись на свое горланство. И о радонице звали нас, сирот, на Божедомку плакать... И тот Шваль, по наущенью иванского попа Вахромея, прискочив, да у старицы Хевроньи шлык со главы сбил и меня, нищую, при народе окосматил: «Суки-де вы, раскольницы! Воскресению не веруете: клянете, плачучи, небо и землю!..» Да по Петрове дни у того Головы, у крестницы, на зарученье выговаривали мы невестины речи. И, сидячи в пиру, Федькина матка Татьянка лаяла нас неподобною лаей: «Вы-де икотницы, чернокнижницы! Можно-де вас на кого хошь, на погибель накупить...» И мы, сироты, на Федьку Швaля, и на Федькину матку, и женку Матрешку являем: ходят они по кабакам, бражничают. Который рубль зашьют, тот пропьют. А меня, Степанидку, и матушку Хевронью с товарищи на Москве все добрые жены знают и ведают. Птичье житие проходим, что сирины. День и ночь в неумолчных беседах на общую человеков пользу... А ходим мы, нищие, по Москве утром рано и вечером поздно. И которая над нами, божьим попущеньем, беда случится, или бой-

ственное дело, или утеряется кто из нас, сирот, безвестно. И мы, опричь того Федьки Шваля, и матери его Татьянки, и жены его Матрешки, иных на себя супостатов не знаем».

Старинные москвичи охотно прибегали к гаданью и волшебству. В почете были «сведущие люди, которые умеют учение и хитрость о звездном течении и с седми планитах. Сии мужи, соглядая переходы звездные, промышляют на Москве волшебством своим».

Царевна Софья, затеяв борьбу с братом, Петром Первым, для возвеличенья своего имени задумала поход на крымского хана. Во главе похода встал князь Голицын, фаворит Софьи. Дело начато было ворожбой и гаданьями. «Царевна многажды добывала ведунов. И лопской породы мужичок смотрел в солнце и видел, что Василий Васильевич Голицын ходит колесом, а Софья Алексеевна стоит печальна и смутна. Колдун добавил: «Всех вас переведут, так что и ухватиться будет не за кого».

Не терял времени и князь Василий: «У Голицына, в Охотном ряду, гадатель Бахтияр смотрел по звездам. И звезды значат: „князь Василий в том походе казну стратит и людей изомнет"». Гадатели, конечно, знали шаткое положенье Софьи и ее сторонников.

Борьба с царевной Софьей породила у Петра нелюбовь к самому быту московских теремов. Боярыням приказано было «обрядиться на одну моду по голландскому обыкновению. Посещать галант-собрания и на оных ходить в контрадансах — танцевать. И чтоб для тех парадов дьявольские бабьи камилавки, кокошники да кики скинуть».

Но, как в дубовой бочке квасной дух, долго сохранялись на Москве и песни и гусли — любовь к сказкам. За год до нашествия Наполеона домашняя московская чтица пишет: «По модному обыкновению определили меня в должность лектрисы, и, заместо того, вижу себя в положении самом низменном. Барыня скучает чтением и оное даже ненавидит, предпочитая простонародные россказни. Каковым старухам определяют и ночь проводить на стуле, от души восхищаясь глупыми анекдотами крестьян. Что надлежит до меня, то до полуден убираю барыне голову, варю кофей... причем обхождение самое неучтивое».

Кое-где в московских домах шелестели еще в эту же пору и жильные струны прадедовских гуслей.

Один современник пишет: «Парижская парфюмерия перешибает дух московский. Слышал неаполитанские канцоны из уст подмосковных ваших крестьян... Отрицать не желаю, утверждать не убеждаюсь... Кто мне даст крылья, чтобы настигнуть дни мои прошедшие? Кто мне возвратит век мой?.. В Богородске, у деда моего, обучился я игре на гуслях. Увеселял гуслеиграньем слух Платона. И доныне увлекаюсь шелестящим говором жильных струн».

Добро хвалить море, на берегу сидя. Хорошо любоваться стариной, глядя на нее издалече. Старая оскомина у нас теперь сошла с зубов, мы их и скалим весело.

Царский амбар от подмою живой воды на наших глазах завалился. Но река этой живой воды издалече, издавна собиралась малыми ручейками. Про Москву говорили, что «у них внутренние обиды минуются, когда посторонние страхи накатятся». А внутренних обид с веками накопилось много. Еще триста лет назад один московский строптивец кричал: «Свиньи да коровы больше вас знают — перед грозою визжат да ревут. А вы небесные круги резмеряете, а что в народе деется, не видите!»

А народ видел и негодовал, что «бояре друг другу норовят и государство заодно разоряют». Кончалась война, народ «крамолился» на иных: «Вы-де и в осадное время жили сыто, потому что запасено у вас много черных людей трудами». Черные люди, деревня, жаловались на господ: «Оброк на нас кладут насильством». Пригороды вторили: «Нас, посадских людей, пятинною деньгою мучат. Обо всем об этом у меньших людей с лутчими, временем, живет смута велика». Вспыхивали бунты. На Москве — «медный, соляной, стрелецкий». Известны народные движенья Разина, Пугачева. Хотя люди в те времена думали, что «без царя земля не стоит», но с упованьем и с надеждой смотрели на смену царей, особенно частую в веке XVIII. «Анну, мол, Ивановну спихнем — Анна Леопольдовна будет истинной матерью».

«Про государей начались слова. На Москве-де прямого царя нет, а нонешний царь обманный!» На московских рынках, на площадях вслух вычитывались подметные письма. Начинаются эти бунтовские «зазывные грамоты» торжественно:

«Всем от мала до велика. Всякому возрасту и чину. Славным и неславным... Слушайте всемирную пользу внятно, буде кто и ухом туг, лишь бы был не глуп...»

Тревожилось начальство и других городов: «Люди с Москвы прихаживают и сплошные вести принашивают».

...Степан-де Разин говорит: «Вы на царские грамоты не сдавайтесь.

Не бойся, огонь, кочерги. Московские-де слободы не устрашились. Царскому указу учинились ослушны. Время-де к великим делам идет». «И многие люди к тем его, Стенькиным, словам притакивают: сбудется-де!»

Царская власть тоже свое дело правит: «Про тех мужиков сыскивают, и про их умышленье спрашивают, и пытками пытают крепко,— откуда такие слова про государей носятся?»

...И те мужики с пытки винилися: «Слышали-де те царственные слова на Москве от неложного человека».

Иногда власти посылали натодельных людей уговаривать народ: «Дохтур Матюшка Клоп с Лефортова зело красноречив, говорит, яко плачет...» Но и доктор признавался: «Легче мне у болящих в животе грыжи уговаривать, нежели тех мужиков унимать».

Много дорог исхожено было народом в поисках правды и свободы. Ленин своим светлым разумом рассмотрел эти вековые исканья. И, рассмотрев, утвердил путь прямой, новый, верный, единственный.

Древнемосковская книга «Хронограф» повествует:

«Есть птица Феникс, раз в сто лет молния сжигает ее гнездо. И сам Феникс тут сгорает. Но в том пепле возродится, и опернатеет, и обновится. И восстанет в новой, небывалой красоте».

Как в огне горела Москва, отражая вековые напасти. И восставала из пепла. И мы видим ее неувядаемую славу.

СЛОВО О ЛОМОНОСОВЕ

Ум веселится, вспоминая Ломоносова. Радуется мысль, соглядая его жизнь и дела. Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу звягливо и рогато, ты расскажи чиновно, с церемонией.

Кого любишь, о том думаешь, за тем и ходишь глазами ума... Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой-зуйком на отцовском судне... Двинская губа только что располонилась ото льда. Промысловые лодьи идут в море. Многопарусная «Чайка» Ломоносовых обгоняет всех. Михайло стоит на корме и дразнит лодейщиков, протягивает им конец корабельного каната — нате, мол, на буксир возьму. Лодейщики ругаются, а Михайло шапкой машет: «До свиданья, дожидаться недосуг!»

Пока жива была маменька-потаковщица, со слезами покидал родной дом.

С годами «маменькин запáзушник» втянулся в морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит.

— Татка, у солнца свет самородный?

— На солнце риза царская и корона. То и светит.

— А звезды? Маменька сказывала: лампады ангельские...

— Ну да! Звезда бы на Холмогоры пала, весь бы город покрыла!

— А молния?

— Это бог тянет лук крепко и стреляет метко. Где увидишь дерево или камень, грозой обожженные, там в песках стрелку ищи.

— А край земли близко ли? А почто немцы говорят несходно с нами?

— Ужо в грамоту тебя отдам учиться. Там толкуй, что откуль. Порато ты у меня любопытен!

— Ну и сын у тебя, Василий Дорофеевич! — дивился сельский дьячок.— Сколько учится, другастолько меня учит. Неладно-де называть «собака», надо — «солбака». Бог-де человека создал, и не понравилось, что лоб велик... Лишек от лба отнял и в том собаку сделал. Потому собака и умна, что со лба... Филолог!!

— Ну и парень! — вторили монахи архиерейского подворья.— Принесли владыке книгу древлеписьменную для справок. Он поглядел и очки бросил: «Витиевато и узорно, а нечетко...» А Миша зачитал, будто с парусом по ветру побежал. И кряду вопрошает: «Владыко, куда солнце заходит?» Ну, тот пояснил, что в окиян-де — умыться, чтобы лучи просветить.

Годы шли. Михайло перечитал все церковные кни-

ги, что были под рукой. Многое выучил наизусть. В особенности очаровала его Псалтырь в стихах Симеона Полоцкого.

Михайло терял сон и еду, пока не получал на руки какой-нибудь полюбившейся книги. Вот он узнает, что за рекой, в доме Дудиных, есть две книги по новой мудрости. «Как свеча я теплился перед старым идолом Дудиным,— рассказывает сам Ломоносов.— Помер, а не дал. В воду я совался ради этих книг перед наследниками Дудиными и наконец получил в вечное владение. «Арифметика» Магницкого и «Грамматика» Смотрицкого, печати 1645 года, то были врата учености моей... У мужиков разговор: «Почем хлеб да почем рыба»; у баб: «Кто где женился, богату ли взял». А книга моя беседует мне: «Разумей читать книгу природы, живую грамоту. Подивися, как из малого семени вырастает великий дуб. Поразмысли чудное устройство тела твоего: глаз, орган тончайший хрупкого стекла, безопасно прибран в чашку костяную. И ресницами от пыли загорожен; и бровями от поту со лба защищен».

Новые мысли, новые вопросы рождались в молодом уме. Бывая с отцом в Архангельске, где жило много иностранцев, Михайло начал пытать у многограмотных людей, нет ли таких книг, где бы протолковано было о дубах и семенах, о звездах и о теле человека. Городские грамотеи отвечали, что о звездах и о небе трактует наука астрология, а человеческим телом ведает антропология купно с медициною. Сия последняя знает и о растениях. Потому что «всяк злак на пользу человека...», кроме табаку... Науки эти все заморские, изложены латинским языком.

— Латинскому языку где учат?

— В Москве, в Славяно-греко-латинской академии. Принимают детей дворянского и духовного звания. Тебе, крестьянскому сыну, латыни не нюхать...

— Ну... Сей день не без завтра...

Михайлушко любил природу и очень радовался, что цветы, и травы, и деревья — это не только сено и дрова, но и наука этим занимается.

Недалеко от Холмогор, в деревне Вавчуге, крестьяне исстари занимались постройкою морских судов. Здесь Михайло узнал, что и корабли бегучие строятся,

и мельницы стоячие ходят, и материна самопрялка кружится не так просто, а по законам науки — механики и физики. Юноша пристрастился делать модели кораблей и мельниц, придумал хитрые замки к амбару и житнице, смастерил стенные часы с боем. Это увлечение сменилось страстью к стихотворству по правилам грамматики Смотрицкого и по образцам старинного поэта Полоцкого.

Отец, занятый промысловыми заботами и расчетами, а затем постройкою каменного собора на селе, сквозь пальцы смотрел на «игрушки» сына:

— Слава богу, достаток имею, могу позволить единственному сыну и побаловаться. Остарею, все на него опрокинется, не до книг будет...

Во всем покрывала детище и маменька-потаковщица. Но вот... «маменька родимая, свеща неугасимая, горела, да растаяла. Жалела, да оставила»... Василий Дорофеевич женился на другой. Мачеха, как зверь, ощетинилась на Михайловы книги и бумаги. Юноша стал прятаться по соседям, читать ночью в бане, при свете лучины. Мачеха ругалась, рот не запирала. Налетала и на мужа:

— Вырастил книжника, еретика! Целу зиму на книге лежит! Ни по воду, ни по дрова... Дармоедина!

— Пошто дармоедина?! Он на промыслах пособляет радетельно! А за книги его два игумена о празднике хвалили.

— Вот! Они его и сманят в пустыню. Они на дешево лакомы. А татенька-родитель посиди без работника... Поил-кормил двадцать лет...

— Михайло не в попы... Он цифирь, рихметику каку-то выкладывает...

— Вот! Я и говорю! Пойдет ли банна жихоня в попы?! Ночью в бане сидит, по книге волхвует... Оборотень!

Наедине отец пенял сыну:

— Горе на меня твоя грамота! Она попам нужна, чтобы в службах не сбиться. А деловому человеку при здравом уме и твердой памяти грамота все одно что костыли при здоровых ногах. Я неграмотен, да памятен, и в голове все управленье содержу — морское, и береговое, и домашнее. На умах рассчитаю краше, нежели пером на бумаге.

— Татенька! А все господа многограмотны.

— Ври больше! На что благородному господину читать да писать самому?! Он писца да чтеца нанять может. Все равно как «Иван, сошей башмаки! Марья, пеки пироги!..»

Михайле исполнилось девятнадцать лет. Управя морские промыслы, осенью тысяча семьсот тридцатого года он упал отцу в ноги:

— Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться!

У отца сердце озябло и ноги задрожали:

— Люди меня давно ума доводили и мне говорили: сын взгляду отцова должен бояться, от взгляда с ног падать, а у вас-де с сыном дружба-приятство... Добра-де не жди. Так и вышло: думал с сыном век вековать, а приходит: век горевать.

— Татенька! Ужели ты произволяешь детищу своему лучше быти враг, нежели друг?

— Как это враг? А для кого я пóтом кровавым дом и все богатство наживал? Для тебя! Кому оставлю? Тебе!.. Миша! Погляди-ко, руки-те отцовы... как крюки!.. Сколько я на веку работы унес!.. Ужели отцовы труды людям под ноги бросишь?..

— Татенька, Василий Дорофеевич! Я с божьей помощью вознамерился шире да выше свой жизненный полет управить... Татенька, государь, благослови в Москву учиться...

— Ну, сын... Воля твоя... Люди-те, люди-те что скажут: «У Василия Дорофеевича сын по миру пошел, скитаться...»

— Татенька, не плачь!.. Воля твоя...

— Нет, сын! Ты с отца волю снял!..

Той же зимы Михайло ушел из дому. Мимо шел на Москву рыбный обоз. Миша и ушел с обозом. Снес на себе шубу, да кафтан, да три рубля денег.

...Буря-непогодушка унесла его с родной сторонушки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ: «7-го декабря 1730 года с дозволенья отца своего отпущен к Москве Михайло Васильев сын Ломоносов. О чем выдан ему пашпорт».

С помощью обозников Михайло отыскал в Москве рыбного старосту, холмогорца. Земляк, выслушав юношу, умилился и прослезился:

— Неслыханно! Отрок, из одной токмо жажды знания, презирая тысячи препятствий, за тысячу верст бежит в Москву учиться!..

Славяно-греко-латинская академия учреждена была еще в XVII веке при Заиконоспасском, что на Никольской улице, монастыре. Сюда земляк и привел Михайла. Удивился и отец архимандрит, ректор академии:

— Преудивленно! У нас ребята от учения, как от заразы, бегают. Дубьем не можем приневолить, а этот ради наук с Белого моря прибежал!.. Податное сословие не препятствие: несть правила без исключений.

Принятый в Спасские школы, как называли в Москве академию, Михайло ног под собой не чуял от радости. Ежели по доме какая слеза катилась, та назад воротилась. Низшие классы он прошел в один год. Через год умел уже сочинять латинские вирши — стихи. Латынь была тогда преддверием всех наук. Сочинения писались по-латыни. Михайло быстро одолевал класс за классом. Был первым в богословии и в философии, в красноречии и в поэзии. Но в Москве не оказалось тех наук, ради которых он сюда прибежал. Ни физика, ни механика, ни астрономия, ни иные науки, объясняющие природу и ее явления, в школе не преподавались.

Конечно, пытливый и живой ум везде находил себе пищу. Библиотекарь и ключ отдал ревностному любителю наук: «Начитаешься, дак закрой! А я ужинать да спать!..»

Между тем житье-бытье в школе было скудное и суровое. Пища грубая; посты строгие: кроме хлеба звено рыбы, чаша квасу... А дома у отца нищим пирогами подавали... Холмогорцы-обозники ежегодно привозили письма от отца. Отец звал домой неотступно: «Воротись, дитя! Я остарел... на кого брошу дом и промыслы, нажитые потом кровавым... Воротись, дитя! Лучшие люди отдадут за тебя своих дочерей...»

Сытой, богатой жизнью соблазнял отец, а сын, хотя и хлеба от обеда к ужину не оставалось, наук не бросил. Еще пасмурно, неясно, неустроенно было все вокруг, но в туманных далях житейского моря ярко и призывно светил свет науки. Туда, не оглядываясь, управлял Михайло корабль своей жизни.

Отец ректор однажды, положив иссохшую десницу на Михайлины соломенные кудри, сказал:

— Преуспевай, остроумец, я на тебя надеюсь!..

Однако наш остроумец, как ни старался, не мог выжать из славяно-греко-латинских фолиантов никаких любезных сердцу сведений по физике, естествознанию, математике...

До Михайла доходили слухи, что «в Европах новые науки давно пришли в явление. Для физикус и химикус сфундованы стеклянные палаты...» Об Европах мечтать было нечего, но Михайло начал собирать сведения насчет Петербургской академии. Питерских затей в Москве не признавали, и отец ректор, сделав скучное лицо, говорил: «Академия основана там без году неделю. Петр Алексеевич опару поставил, да тесто что-то худо подымается... Сидят, надувшися, немецкие и шведские персоны. При них университет сущие казармы: семеро капралов при одном рядовом. Советую тебе в рассуждении наук опробовать Киев. Там учреждено иное и на польский образец, во вкусе новых времен... Благословляю тебя на годичное там пребывание...»

Как пчела за медом, полетел Михайло в Киев. Но оказалась верна присказка: «Жернова говорят — в Киеве лучше, в Киеве лучше, а ступа говорит — што тут, што там; што тут, што там!..»

Киевская школа отличалась от московской только тем, что была старше лет на сотню, книги здесь были толще да мантии у профессоров-монахов длиннее. И читали они студентам из века в век одну и ту же славяно-греко-латинскую премудрость. Точных новых наук наш взыскатель и здесь не нашел. Воротился в Москву раньше срока.

Пребывание в московской и киевской школах было для будущего ученого и поэта драгоценно в тех отношениях, что он великолепно усвоил здесь языки и литературы греческую и римскую, изучил классическую философию и логику.

Философия содержит начала всех наук. Логика учит правильно мыслить. И во всех сочинениях Ломоносова, которые он потом написал по разным отраслям знания, поражает нас отчетливость, стройность и последовательность мысли. Этому научился он в Москве.

А в Москву наш непоседа поторопился не напрасно. Здесь поджидала радость. Как достойнейшего, начальство избрало его к отправке в Петербург, в новооткрытую гимназию.

Петербургская академия наук и при ней университет с гимназией были основаны Петром Первым для распространения и умножения в России нового образования. Ученых для академии Петр набрал за границей, но с набором учеников дело худо клеилось. Наконец в столичную школу были вытребованы лучшие студенты из Москвы. Ломоносова ректор аттестовал как «юношу чрезвычайного остроумия».

Со всяким желанием, со всею охотою устремился Михайло в столицу. Здесь надеялся найти новых учителей, новые науки. Приглашенные в Россию распространять новейшее образование немецкие профессора палец о палец не колотили в этом деле. Однако наш Михайлушко ликует. Дорвался до физики, до геометрии, до математики!.. Нох ейнмаль, еще раз погодите радоваться, молодой человек! Преподаватели приехали в Россию «один десяток лет назад», и они не успели выучить «ни один русский слов...»

Учителю наплевать, что его не понимает ученик, а ребятам больше, что ли, надо!.. «Вас ис дас?..— кислый квас» — и все тут.

Но, оказалось, «на Руси не все караси, есть и ерши». Не смыслит учитель, с чего надо начать, но смыслит ученик Ломоносов. Учебники написаны по-немецки: Михайло сам их переводит ночами, сидя за словарем. Мало-помалу становятся понятнее и разглагольствования немца-профессора на кафедре. Ближе и желанные науки. Нет худа без добра! Скупой немец посадил золотую рыбку науки у себя в пруду. Разумный ученик немецкою же сетью уловил эту рыбку и унес домой на развод.

Пословка говорит: «Не родись умен, а родись счастлив». Видно, Михайлушко родился и умен и счастлив. Уж несколько лет правительство отыскивало подходящих, знающих людей для научно-приисковой экспедиции в Сибирь. Не было химика, понимающего горное дело. Единственный знаток горного дела, профессор Генкель во Фрейберге, в Германии, посоветовал: «Не волочите делом, искавши. А пошлите ко мне академического студента, посмышленее. Я обучу горному делу и металлургии. То вам будет свое добро — дома».

Михайла Ломоносова из смышленых не выкинешь. Он и поплыл за границу... Что там поплыл: на крыльях полетел! Это случилось в 1736 году.

Но для поступления к Генкелю требовалось совершенное знание математики, физики, механики. Поэтому академия предписала Ломоносову сначала прослушать лекции знаменитого физика Вольфа в городе Марбурге. Вольфа за дельные советы отличал еще Петр Первый. Внимательно отнесся Вольф и к русскому студенту. Не только обучал, но и следил за поведением, выдавал содержание, присылаемое из Петербурга.

И вот Ломоносов, будто к источнику живой воды, припал наконец к тем наукам, к тому знанию, которого с детства взыскивал алчно и жадно.

— Студиозус из России есть горячего сложения. Ум живой и схватчивый...— определяет новичка Вольф.

За опытами в лабораториях физической и химической студиозус наш проводит дни и ночи: «добрался Макар до опары»... «В часы же отдыха несытая душа моя, аки земля безводная, упивается литературою и языком французским, литературою и языком немецким, купно итальянским, и английским, и гишпанским».

Студенты шутили: «Старый Вольф рад носить русского медведя на тарелке...» Сначала действительно было так. Но однажды, приставив к носу Михайла указательный перст, Вольф спросил:

— Какие первые слова первого псалма?

— «Блажен муж...»— ответил тот, недоумевая.

— А первые слова второго псалма?

— «...вскую шаташася...»

— Вот!..— многозначительно закончил Вольф.

Слава профессора гремела далеко, в Марбурге скоплялось много молодежи. Жили без родительского надзора. Пирушки, попойки, драки были за обычай. Наш Михайлушко после московского монастыря и питерских казарм присвоился к молодецкому веселью с полным удовольствием.

На пирушках Михайло имел чин Бахуса, в венке из плюща восседал на винной или пивной бочке. Карлы, Гансы, Фрицы венчали «Бахуса», пели и пили, потом убирались восвояси, а трактирщик ставил вино в счет осовелого «Бахуса».

Если попервости Михайло стеснялся товарищей-немчиков, то теперь и в лектории и в лаборатории сыпал им плюхи и подзатыльники: ничего, что он один, а их сотня.

Этим методом старался подкрепить правильность своих научных доводов.

Стесняясь своих могучих плеч и широких ладоней, понурив голову, стоит наш детина перед Вольфом и оправдывается:

— Вы сами, господин профессор, одобрили мою формулировку. А Карл оспаривает... Я лично для него с пером в руках с начала до конца проделал выкладки и раз и два... А он не слушает... Я и ткнул его мордой разика два в тетрадь...

В науках Михайло был первый, да и в проказах не последний. Шуточки шутил не горазды: как-то в праздник, в базарный день, выполз он из-под церкви на площадь, накрывшись гробовою крышкой... Народишко в реку начал бросаться...

Вся затея оказалась ломоносовская. Но консультировал целый факультет.

Иногда наш прокурат вспоминал отца, родину... Тогда шел в тихий домик ратмана Цильха. Старик, ежели не заседал в ратуше, клевал носом в кресле над библией. Дочка Лизхен вязала, шила, гладила, крахмалила... Михайлушко помолчит, спросит:

— Для чего гладите вы это белое, столь нарядное платье?

— Я глажу это нарядное платье для того, чтобы надеть в воскресенье, если к нам придет в гости господин Ломоносов. Но я выгладила еще много маленьких белых платочков.

— Для чего гладите многие белые платочки?

— Я утираю ими слезы радости, когда слышу об успехах господина Ломоносова в науках, и плачу от горя, когда слышу о его поведении...

Вольф писал:

«Я любил видеть в лектории этот высокий лоб, этот взгляд, сияющий разумом. Но, ах! Как часто этот лоб украшается зловещею шишкой и фонарь под глазом светит ярче «сияния ума»... Царственный друг мой, император Петр Первый, успокаивая мою тревогу относительно количества вина, употребляемого его величеством зараз, говорил: «Пьян да умен — два угодья в нем!» Увы! Вижу справедливость сего изреченья на русском моем ученике. А в немецких буршах я многое понял, одного не понимаю: молодость — это крылья; юность — это боевой конь! Зачем же этому естественному скакуну эта презренная плеть, этот рабский

кнут, это проклятое вино? У тех, кто пьет, впустую уходит прирожденный пафос и творческая мысль не переходит в дело... Впрочем, моего русского ученика пьяным я не видал. Хитрая бестия!

...Диссертации свои сдает ранее сроков. Они блещут творческим проникновением в предмет. Недавно он затеял ученый спор с самим Гагеном об атмосферных осадках. Ломоносов — северный помор, и умозаключения его о плавающих айсбергах прелюбопытны!..»

Ломоносов также отдавал дȏлжное этому своему учителю: «...любовь мою к физике и математике переношу я на Вольфа и Эйлера. Это люди отменитые, а не по ихнему немецкому ранжиру поступают. Во студенчестве я от Вольфа всегдашнее снисхождение и добро видал. Немцы любят науку засолить да завялить, и солониною без нужды кормят старого и малого. У Вольфа малые сии едят молоко...»

Этим свойством истинного педагога — уметь преподнести знание не в виде сухарей, дерущих рот, а в виде... «млека и меда», то есть сделать предмет живым и интересным,— этим свойством в высшей степени одарен был сам Ломоносов — «отец наук российских»...

В Марбург Ломоносов заехал по пути, да и прогостил три года. Кроме точных наук, кроме языков и литературы штудировал он здесь новейшую философию.

Литературу, прозу и поэзию, Ломоносов любил не как развлечение. Он испытывал и исследовал все, о чем горела душа.

Вот он приехал во Фрейберг учиться горному делу. Из металлургической лаборатории его палкой не выгонишь и пряником не выманишь. Однако в это же время особенно серьезно, внимательно и плодотворно работает он над теорией русского стихосложения.

Оценив изящество и звучность стиха французского и немецкого, Ломоносов страстно принялся думать, в какой же склад и лад лучше и глаже укладывается русская поэтическая речь?.. Уже было ясно, что латинские и польские вирши, которым доселе подражали русские стихотворцы, не могут оставаться образцами.

Работой над стихом Ломоносов начал одно из великих дел своей жизни — преобразование русского лите-

ратурного языка. Как раз в это время Россия взяла у турок город Хотин, и Ломоносов послал в Петербург стихи в новом вкусе: «Ода на взятие Хотина». Ода понравилась. Ее поднесли ко двору. Стали переписывать ранние, еще московские стихи поэта, вроде:

Услышали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
Ах, плачут убоги:
Меду полизали,
А сами пропали.

Надо сравнить эти стихи со стихами Симеона Полоцкого, которые помещались в азбуке:

Древнии вежеству образ даяху,
зрящую в нощи сову писааху.
Якоже бо она во тьме прозревает,
тако и вежда в делех правды знает.

То есть: «Древние люди изображали знание-мудрость в виде совы. Так же, как сова видит ночью, образованный знает суть вещей».

Обыкновенно бывает так: кто посвятил себя поэзии или живописи, тот равнодушен к математике, к физике. Но талант Ломоносова был всеобъемлющ. Вдохновенно любя стихи и поэзию, едва ли не с большим волнением слушал он лекции Генкеля о богатствах земных недр. Мысленному взору юноши представлялись сокровища Урала и Сибири раскрытыми, явленными...

Первое время у профессора Генкеля и студента Ломоносова отношения были мирные. Но вот этот студент пишет приятелю в Россию: «В спасских школах почитали мы скаредом келаря Варнаву. Поглядел бы ты немецкий обиход! Генкель свечу лучше мышам скормит, нежели зажжет не для дела. Общая площадь заплат на камзоле превышает общую площадь целого места. От поставца с серебром и порцелином ключ девять годов утеряли. Тому рады и едят из оловянных торелей троеденную кашу. Мягкого хлеба вкуса не ведают, доедают вчерашний».

Начались неприятности. Дело в том, что в Марбур-

ге Ломоносов наделал долгов. Учитывая воинственный нрав русского юноши и тяжесть его десницы, марбургские трактирщики помалкивали до времени. Но лишь только Михайло Васильевич сменил резиденцию, к Вольфу посыпались счета: «Под заглавием студента Ломоносова выпито бочонков столько-то...» Вольф отправил счета в Петербург. Академия оплатила, но во Фрейбергский университет была дана жесткая инструкция насчет выдачи Ломоносову казенного пособия. Ставилось в известность, что долгов никто платить не будет. Для нашего добра молодца настал великий пост. В инструкцию из Петербурга он мало верил, взвалил всю вину на скаредность Генкеля: «Как жил я у Генкеля в столе, и прейскурант он мне ставил, что двинский плотовщик хозяину:

Сел паром на мели — три рубли,
сняли паром с мели — три рубли,
попили, поели — три рубли.
Итого: тридцать три рубли!»

Когда студенты учиняли дебош, Генкель считал зачинщиком Ломоносова. Однажды обвинил даже в покушении на жизнь своего сына. Михайло возмущается:

«Кайафа (Генкель) сказывает ябеду, будто се я ево сына топил. Я не топить, я носил ево крестить для того, что католицкое обливание почитаю недовольным. И я Генкелева Яшку трижды благочестно огрузил в реку. И то ему, Яшке, на пользу. Кряду прочухался и стрелой от меня полетел. А к купели я его, эдакова пьяную тушу, на себе нес, сам будучи худ на ногах...»

Но в конце концов на чужой стороне растерял Михайлушко свою веселость, готовность к шуткам и проказам. Нотка горечи слышится в его письмах:

«Заместо беспристрастного ученого колоквия на дыбу меня Кайафа тянет. Туды вопросы закидывает, где и самому не достать. Битый час гоняет, и я ни в чем на плошаю, ответ пущаю со смелостию. Токмо пот по спине, по жолобу бегит в башмаки... Ажно я на Генкелеву докуку плюю. Я в товарищах злорадство примечаю и обижусь до слез...»

Давно ли кругом виделись берега садовые, реки медовые? А наяву оказалося, что чужедальня сторонушка тоскою посеяна, слезами полита, горем огорожена... Всякая немецкая щепиночка торчком встала, всякой

угол толкнуть норовит. Опостылела Германия, и — не стерпела душа, на простор пошла. Не спросившись, не сказавшись, не глядя на зиму, пошел Михайло Васильевич в город Лейпциг, к российскому консулу, просить об отправке на родину. Оказалось: консул отбыл в Кассель. Михайло притопал в Кассель: консул не бывал, и не ждут, и не слыхали...

Где деться?.. Деньжонками обнищал, платьишком обносился... И пришло на мысль, что в Марбурге жил не хуже людей. Вспомнил старого Цильха и Лизхен... и сердце согрелось: «Вот кто меня жалеет...» Явился в Марбург, как майский день. Оказалось, Лизхен плакала не над горсточкой — над пригоршней,— у нее умер отец. Михайло Васильевич осушил слезы.

— Лиза, пошла бы ты за меня?

— Кроме тебя, у меня никого не осталось...

Но «князь первобрачной» вскоре сказал своей «первобрачной княгине»:

— Лизхен, вот мы пообещались жить вместе и умереть вместе, но я в Германии гнезда вить не буду. Я в России родился, там и пригодился. Сплаваю в Амстердам. Там консул природный россиянин. Он меня отправит в Петербург.

К весне Рейном-рекою управился Ломоносов до Амстердама. Но природный россиянин граф Головкин даже не принял бедно одетого студента. Ломоносов являл свои аттестаты, граф был глух и нем. Не взвеселили и архангельские поморы, стоявшие кораблями в порту. Они всячески отсоветовали являться в академию без вызова.

Земляки от Амстердама плыли в Питер. Повезли с собой и бумагу Ломоносова о вызове. А Васильевич опять потопал в Марбург, ждать...

Чтобы убавить дорогу, пошел через Пруссию. Тут едва убежал великой беды: прусский король объявил поголовный набор молодежи. Вербовщики гоняли по всем дорогам. Михайло и нарвался на них. Пруссаки похвалили рост и поступь молодецкую, поднесли чару зелена вина и поздравили с чином гвардейца его величества прусского короля.

— Я прусскому королю не подвержен!

— А что с тобой разговаривать! Надеть ему браслеты!

В кандалах привезли в крепость. Ломоносов три дня хвалил Пруссию и казармы. Его расковали, но

ход из крепости был через караульню. Ломоносов сменял сапоги на вино, напоил часовых и, когда они заползали по полу и задрались, выпал оконцем из крепости и побежал. Но уже обутрело. С крепости выстрелили. Побег был обнаружен. Беглец завалился в канаву под мост. Таился тут весь день. Четыре раза погоня проезжала над его головой: под мост заглянуть не сдумали.

В потеменки прянул в лес, не хуже зайца. Ночью перебрался через прусскую границу. И на следующий день безопасно и безбедно шествовал вестфальскою землею, не подвластной прусским королям.

Лизхен только что наладилась по крайней мере год реветь, ожидаючи свидания с милым другом, а он, что заря, у оконца стоит:

— Ох, Лиза! Ходил ни по что, принес ничего! В капкане еще был у прусского короля... А из Питера велят ждать вызова...

— Жди! Сиди! Я хоть месяц, хоть недельку с тобой еще покрасуюсь!

И... год прожил в Марбурге, занимаясь науками. Не вспомнил никаких досад и Вольф. Всю зиму ходил к нему талантливый ученик: начал переводить на русский язык капитальный труд Вольфов — «Физику».

Весною был получен вызов из России, и на первых кораблях, по распуте, поплыл счастливец в Россию. Жена опять осталась ждать.

— Была бы я алмазная искра, унес бы ты меня в своем перстне!

— Лиза! Я поехал вить свое гнездо. Зимовать и ты ко мне прилетишь!

Последнюю ночь корабельного плавания не спал, в каюту не заходил. Так и стоял, так и ждал, скоро ли где всплывет русский берег.

«...Но на рассвете вздремнул и увидел сон необыкновенный.

Вижу, будто мой корабль огибает остров Моржовец, что в горле Белого моря. Вхожу в губу Глухую. Падает снег. На берегу карбас, в нем, под снежной пеленою, человеческое тело. Я рукою охитил снег с лица

и... узнаю отца. Он испытно глядит на меня и вопрошает: «Дитятко, ты меня на страшном суде не будешь уличать, что я тебе встать на ноги не пособил?»

И я будто отвечаю ему:

— Нет, татушка, не буду. А ты на меня вечному судии не явишь, что я тебя при старости лет бросил?

— Нету твоей вины, дитятко!

И тут его накрыла мятель. Это побережье Моржовца мы не раз навещали с отцом ради промысла. В Петербурге я поспешил разыскать своих земляков-двинян, весенних гостей столицы. Они уже стояли кораблями на Неве. Здесь встретило меня известие, что отцов корабль не вернулся прошлой осенью с промысла. Неведомо и то: на каких берегах погиб... Я,— рассказывает далее Ломоносов,— немедля отправил на родину депешу, дабы искали в Глухой моржовецкой губе. Послал и деньги, потребные к расходу по сей экспедиции. Снаряженный из Архангельска гальот нашел останки отца моего в указанном мною месте. Понеже грунт явился кремнист, накрыли кости бревенчатым обрубцем».

Хотя при царице Елизавете немецкое засилье ослабло, Российскую Академию наук продолжал держать в своих цепких руках советник Шумахер. Он поддерживал профессоров-немцев, и один из русских членов Академии, сподвижник Петра, Карпов, жаловался Ломоносову:

— Накрыл нас горстью Шумахер. Жужжим, да бьемся!

Немцы поглядывали на Ломоносова с любопытством: «Этот учился в Германии и нахватался немецкого духа».

Ломоносову дали чин и должность при Академии. На заседании он говорил:

— Вот я расправлю крылья свои на родине. Академия моя, ты даешь мне крылья! Изволяю до последнего вздоха послужить отчизне разумом и знаньями моими. Академия моя! Блаженна ты, ежели во мраке невежества вознесешь светоч разума, ежели в сердцах россиян возгнетишь любовь к наукам!..

Шумахер с компанией стукали табакерками, чихали, здравствовались, казали оратору кукиши под столом. Шумахер говорил:

— На ретиву лошадку не кнут, а вожжи!..

Академия была основана для того, чтобы показать народу значение и важность наук, доказать пользу просвещения.

Ломоносов с малых лет бился и изнемогал, чтобы отцу и всем старшим доказать, что науки нужны и полезны... Теперь Ломоносов член Академии наук. Теперь не отцу, не мачехе, а всему народу русскому он должен и может показать важность, надобность образования...

Ломоносов писал: «Весь свой век я науку любил бескорыстно. Блаженство мне в ней единой полагал... А люди глядят, каков от его наук доход, во что одет ученый, что ест да что пьет?.. А глаза попялят да рукой махнут: «Решетом в воде звезды ловит». И ребятам нашим суму наденет наука-та!»

Для России было счастьем, что столь деятельный, столь гениальный ум оказался направлен в сторону наук, наиболее нужных в то время стране и народу.

Отец, бывало, доказывал сыну:

— Твоя наука от житья-бытья отводит. Моя наука что ложка у обеда, что игла у портного. Хожу в море и промышляю, руководствуясь собственным опытом и вековыми дедовскими приметами.

Сын устраивал лабораторию, отправлял научные экспедиции и тем как бы с отцом беседовал, отцу доказывал:

— Вот, татенька, и я в моем деле опыты и приметы применяю. Ежели поэзия и философия — суть соловьи в небе, то физика моя и химия — это синица в руках... Еще и то ведай, татенька, что и твой опыт, морской и промысловый, во свою многополезную сокровищницу наука прибрала.

Скоро немцы горько спокаялись, что «неистовой особе поручили важную комиссию». Думали: сядут да поедут, а вышло: ты впрягать, а она лягать!.. Бывало, Шумахер сам-друг с зятем Таубертом дела вершит. А Ломоносов всякого сословия к заседанию назовет да наберет. К президенту ездит без докладу канцелярии. А сам великая ябеда: тихи-де у нас наряды, не скоры у нас повороты. Канцелярия-де по году всяким делом волочит.

Ломоносов действительно шумел: еще батюшка Петр Алексеевич приказывал послать в Сибирь по минералы, а Шумахер тем приказом дверь оклеил... К делам академиков не допущает, а сам тихо едет, что горшки везет: «Тихой воз будет на горе!»

«Часы наши считанные, приедешь в канцелярию с делом неотложным. Шумахер сидит боком; заместо ответа вынет свою табакерку, постучит по табакерке, откроет табакерку, держит табак щепотью, не нося еще к носу. Вдруг нюхнет обеими ноздрями. Закроет табакерку, утирается, чихает, сморкается. Ты с огнем, а он с водою... а се и своя братия-академики тужат на меня: не суй палку в подворотню, не дразни собак! Что ты из кожи рвешься?! „Жалованьишко нам казна по году не платит, изданьев-де лежалых у нас и мыши не едят, разбирайте да продавайте...“»

С приходом Ломоносова стали чаще заседанья Академии. Шумахер презрительно кривил губы: «Не поспеет кошка умыться, у Ломоносова прожект готов... На Белом-де море железо и серебро, соль и слюда. А Яик-де река золотая. А Кемь-де река жемчужная. Наш Миллер его как шапкой накрыл: „Учителю премудре, учи нас! Бутто се мы того и не слыхали. Батюшка Петр Алексеевич не тебе, мужику, чета, а недалеко уехал, понеже народ — смерд, непросвещенной грубиян“».

И Ломоносов по столу кулаком грянул, ажно скатерть в трубу завилась:

— Немцы с Бироном благоцветущие всходы Петровы копытами своими притоптали. Кабы-де не дщерь Петрова, немец бы нас съел!..

Вот и завелась у Михайла Васильевича с немцами дружба: схватятся, дак колом не разворотишь...

Немцы долбили, как дятлы, что русские Иваны только на печи лежать горазды. Не поспел Ломоносов разослать по Уралу требованье от лица Академии о присылке на образец минералов, горных пород,— отовсюду откликнулись голоса любознательные. Призывные ломоносовские грамотки, мол, как весенние листочки. Знать, дело Петрово не умерло! В одно лето Академия собрала знатную коллекцию минералов, уральские домодельные старатели начали ссылаться с Академией письмами.

При университете Ломоносов устроил физическую и химическую лаборатории. Не было приборов, не бы-

ло посуды для опытов по химии, физике. Ломоносов исхлопотал и учредил стекольный завод, где работали стекло про всякую домашнюю потребу. При заводе была особая мастерская, где Михайло Васильевич сам выдувал колбы и шлифовал оптическое стекло.

С помощью изобретенных им приборов для наблюдений за звездным небом Ломоносов установил, например, что планета Венера окружена слоем воздуха, имеет атмосферу.

При своем доме ученый устроил кабинет для электрических опытов. Эту силу природы тогда впервые начали серьезно изучать. Исследованьям Ломоносова принадлежит одно из первых мест. Михайла Васильевича однажды чуть не убило грозовым разрядом. Своему покровителю графу Шувалову он пишет:

«За диво почтите, ваше сиятельство, мое письмо. Жив остался дивом, а товарищ мой Рихман тою же грозовою силою убит. У меня жена зашумела, что-де шти остынут, и я пошел обедать... Рихман умер прекрасною смертью за науку, на своем посту. Ходатайствую перед государыней о помощи семье Рихмана, чтобы и сын его вырос таким же наук любителем, каков был отец...»

Изготовляя цветное стекло на заводе, Ломоносов вспомнил виденные им на стенах древних киевских церквей прекрасные мозаичные иконы. Из мелкого граненого стекла на мастике древние художники составляли целые картины. Мозаика может простоять тысячи лет... Ломоносов учреждает мозаичную мастерскую. Лучшая из мозаичных его работ — «Полтавская баталия», картина из цветного стекла на медном листе, во всю стену. Рисунок и колорит ломоносовских мозаик доказывают, что великий ученый был и художником с большим вкусом.

Живой творческий ум и ученая любознательность Ломоносова не имели границ. По монастырским книгохранилищам разыскивал он древнерусские летописи. По ним составили «Историю Российскую». За этой работой следил Шувалов. Он ценил Ломоносова больше всего как поэта, который «чистый слог стихов и прозы ввел в Россию». Ревниво и капризно требовал стихов и гишторий поэтических: «Брось, брось, Михайло Васильевич, свои стеклянные дудки и блюдки, пусть

их перемывает Дарья. Плюнь в свою химическую кухню. Твое место Парнас, а орудие — лира...»

Поэт отвечал: «Великие люди, Невтон и Франклин, Эйлер и Вольф, тем дышут, что вы кухонным делом величать изволите. Сказывают: делу время, потехе час. Этот час иной посидит за картами, иной за бильяром. Мне мой потешной час да позволено будет провести в моей кухне. С тем живу и умираю...»

Сильная рука Шувалова по возможности отодвигала от Ломоносова козни завистников. Ученому было пожаловано поместье. В петербургском его доме жена Лизавета Генриховна с дочкой учинили весь обиход на русский образец. Но хозяин мало бывал дома. Под его команду был отдан университет с гимназией, и «семеро капралов над одним рядовым» заменились иною картиной. Ломоносов был как матка в улье. Памятуя трудности, с какими ему пришлось добывать образование, Михайло Васильевич много хлопотал о допущении в университет крестьян. Но Шумахер с компанией ощетинились, как звери.

— Нам не десять Ломоносовых надобно, довольно одного! Великую я прошибку сделал в своей политике,— кричал Шумахер,— что допустил в Академию Ломоносова!

Горячечность, страстность, вспыльчивость, готовность ежечасно умереть за свою правду, праведный гнев, движимый на всех, кто мешает и не радеет об умножении наук в России,— эти свойства Ломоносова и врагов ему создавали и ярость их поддерживали.

— Мужик! Грубиян! Колотило деревенское! — дразнил Михайла Васильевича из-за угла спорщик его Тредьяковский.

Однако гений архангельского мужика сиял столь светло, что загородить этот свет уже было не под силу никому.

В области литературы Ломоносов знаменит не только торжественными одами, стихами. Он явился первым преобразователем русского литературного языка.

До Ломоносова приняты были в литературе формы церковнославянской речи. Писатель подбирал слова особливые, книжно-старинные, и склонял и спрягал эти словеса на церковнославянский манер.

— «Прочтоша, написаша», «Беззаконновахом, неправдовахом». Вместо «еще, если, тотчас» писали «паки, аще, абие». Письменная речь пестрела славянизмами: «иже, якоже, понеже...»

Говорили русские люди тем же языком, что и мы говорим, но употреблять «простой» язык в сочинении книжном считалось невежеством и необразованностью.

Ломоносов отделил, разграничил русский язык от церковнославянского. Составили первую грамматику языка русского. Народный русский язык получил достойную честь и самостоятельность. Но нреобразователь все же советует поэтам учиться красотам и важности церковных книг.

Поэты наши вплоть до Пушкина писали: дщерь, власы, брада, праг (порог), млеко, злато, младый, драгий... По заветам ломоносовского «высокого штиля» поэты наши долго конфузились слов «низких», уличных, простонародных. Оберегая от низкости поэзию, ученый наш для прозы разрешает — «на щи и на квас» — язык народный.

Ломоносов восхищался явлениями природы как поэт и вникал в них как ученый. Исследовал грозы и бури, звезды и северное сиянье и попутно слагал о том же торжественные песни. Такова возвышенная ода «Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного сияния»:

Лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень,
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна!

Как первостатейному поэту, Михайлу Васильевичу поручено было составление поздравительных стихов «на случаи знатных происшествий придворных и всенародных. Ко двору императрицы Елизаветы, затем Екатерины постоянно требовались «именинные», «новорожденные», «салфет»-стихи. Великий ученый бросал свою лабораторию, прерывал лекции и шел сочинять куплеты. Он шутил над собой:

У физики с химией
Пот проливаю.
А за вирши, за басни
Хвалы пожинаю...

Однажды государыня пригласила Михайла Васильевича ко двору с докладом о последних работах. В кружке придворных дам было сообщено о причинах бурь и ветров. По докладу ученый осведомился, сумел ли он быть понятным. Императрица обращается к фрейлине Голицыной:

— Дарьюшка, ты уразумела ли?

— Чего не понять,— отвечает Голицына.— Господь батюшка чем хочет, тем и шумит...

— То так,— продолжала Елизавета,— а у меня до тебя, господин советник, дело: сказывают по секрету, что живописец Растреллий ко дню нашего тезоименитства доспевает альбум на красках... Птички, фортуны, капидоны. И тебе бы, Михайло Васильевич, в тот альбум сочинить гратуляцион. Против тебя никому не потрафить!..

С Шуваловым Елизавета говорила:

— Какова Академия-та! Слышь-ка: Шумахер с Ломоносовым в два веника метут?

— Жалуется наш поэт: я-де с огнем, Шумахер с водою...

— А ты скажи Михайле-то Васильевичу: «Не бойся-де, огонь, кочерги!»

В правленье Бирона немцы повадились стращать русских людей. Наш Михайло Васильевич сам пугнул их до смертной икоты.

Семье Ломоносовых неустанно досаждал их сосед Штурм, приятель Шумахера. Лизавета Генриховна разводила цветы, любила курочек, котяток. Штурм лил помои в цветник, давил у Лизхен кур и кошек. Михайлу Васильевичу все некогда было заняться этим делом. Разве встретятся со Штурмом, приставит ему кулак к носу или тряхнет за шиворот. Но однажды чаша праведного гнева переполнилась. Вот что доносил Штурм:

«Торжества моего день рождений омрачил злодеяния Ломоносова. Двадесять немецких господ и дамен, моих гостей, пошел воспевать невинный мадригал в Ломоносов палисад. Внезапно на головы воспеваемых господ и дамен из окна Ломоносовквартир упадет пареных реп, кислых капуст, досок и бревна. Я и мой зупруга сделали колокольный звон на двери, но он вырвался с отломленным перилом и вопиящс: «Хорошо медведя из окна дразнить!» — гонял немецкий господ по улица, едва успел гостеприимная дверь захлопнуть

всех моего дома. Но два даментуалет похитил на ходу и утерял клейнод на переду. Я и моя зупруга маялись на балкон поливать его водами и случайно может быть ронялись цветочными горшками. Но Ломоносов вынес дверь на крюк и сражался в наших комнат. Стукал своим снастием двадесять господ. И дамен выскакнили окнами и везде кричали караулы! Дондеже явился зольдатен гарнизон!!»

Известно, что во время этого сражения Михайло Васильевич сам был изрядно ранен, сидел на гауптвахте и ходил в университет с повязкой на лбу.

В Питере сложили песню:

Немец гут,
А русский тут!

А дщерь Петрова перед иностранными гостями хвалилась, что-де «русский немцу задал перцу!..»

— Вам смех, а мне смерть! — говорил Михайло Васильевич друзьям. Он с горя все сидит, стаканчиком в столешницу колотит...— Вам смешки, мне перевертышки: историки Миллер и Шлецер, состоя на русской службе, тасуют, что карты, свои выборки и выметки из наших летописей, сшивают на Россию пашквиль и печатают за границей. Шлецер косоротится: какой Ломоносов историк токмо-де похвальная восписует, в свою пользу насаживает... Нет! Сердце, любящее родину, никогда не солжет! Я сын отчизны, а они нахлебники! Повадились думать: русак дурак и век будет в чину учимых... Нет! Придет и наш черед садиться наперед!..

Друзья говорили:

— Михайло Васильевич, в твоем лице русский народ вперед пошел. Академия, что квашня на холоду, стояла. Тебя бог послал, будто дрожди добрые. Тесто науки российской кряду поднялося. Ломоносовской закваски хватит Академии на внуков и на правнуков.

По случаю десятилетия царствования Елизаветы Академия готовила торжественную ассамблею. Ждали государыню. Шумахер с канцелярией чуть в уме не повредились: кому поручить парадную речь?

Шумахер говорил:

— От президента сказано: Ломоносов у нас величав и красноречив, а там судите сами... А как судить самим? Мы от Ломоносова так в обморок и падаем... Если возможно, да минет нас чаша сия!.. От оратора требуется картинный вид и звонкоглаголание. Вот кандидат вам — Гаген. Видом есть как лев, но голос как комар и муха... Кандидат фон Шульц: голосит, как стрельба из пушки, но внешний вид как маленький зобачка, до старости щенок, из подворотни... Профессор Глянце, егда говорит, машет руками, сучит ногами и кланяется в пояс... Советник Минервин на масляной публично плясал вприсядку и лазил на мачту за кренделем... Выходит, что Ломоносов один имеет фортуну во всем: и ростом, и дородством, и постатью... «С ужином раженые огнем не обедаешь!»

— «Суженого, ряженого конем не объедешь»,— уныло поправляют канцелярские писцы.

Одним из самых славных деяний Ломоносова было основание и устройство университета в Москве.

«Я сие великое училище задумал и обдумал, охлопотал, выносил его и породил; горячими слезами воспитал и жить пустил, и за гробом стану о нем бога молить...»

Ломоносов и план чертил, и кирпич сортовал, и за кладкой следил, создал образцовый университетский устав, излюбовал и избрал профессоров, экзаменовал студентов.

Для подготовки юношества устроил две гимназии.

Шувалов помогал здесь особенно ревностно и ходатайством, и покровительством, и безотказной денежной казной.

Всякий год в июне месяце у Ломоносовых бывали морские гости — земляки из Архангельска. Они привозили гостинцы: рыбу, житные колобки, ягоду-морошку. Однажды привезли и племянника. Сестра писала: «Научи, милы брателко, на дела на добрые, на речь на умильную, на походку постатную...»

Брат отвечал сестре: «Государыня моя Мария Васильевна, здравствуй на множество лет с мужем и детьми! Мишенька приехал в добром здоровье, и то мне на него добре радостно, что научен читать хорошо и пишет для ребенка нарочито. Сделали ему кафтан

василькового сукна, петербургского шитья. Волосы полюбил убирать по-нашему и пудрить, и кланяется пышно по-французски. На Колмогорах его бы теперь и не узнали. Удивительно, что Мишенька и виду не показал, чтобы тосковать или плакать. Тотчас к нам и к нашему кушанью привык, как век у нас жил. При Академии наук есть гимназия, состоящая под моею командою. Здесь Мишенька будет жить и учиться. По воскресным дням и праздникам будет у меня гостить с ночевкою. От меня приказано учить его латинскому языку, арифметике, письму и танцам. Будь спокойна, сестрица, я стараюсь о нем, как добрый дядя и отец крестный. Хозяйка моя всплакнула не раз, каково-де тебе было с детищем расстаться. Так же и дочь моя нянчится с малым и жалеет его. Не сомневайся, сестра, что сын твой через науки счастлив будет».

Этот Мишенька Головин пошел по стопам дяди. Был впоследствии математиком и физиком, членом Академии наук.

Была в гостях у Ломоносова и императрица Екатерина Вторая. В знак благоволения к наукам приказывала хозяину ходить и сидеть по правую руку около себя.

Михайло Васильевич не дожил до старости. Весною 1765 года он простудился и 4 апреля умер.

Перед смертью говорил другу своему Штелину:

— Я пожил, потерпел и умираю спокойно. Жалею только, что не мог завершить все, что делал для родины, для блага науки в России, для славы Академии. Не тужу о смерти, дети отечества вспомнят обо мне и пожалеют...

Удивительная была жизнь Ломоносова, прекрасно дело его жизни, незабываемы слова к русскому юношеству:

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!

Дерзайте, ныне ободренны,
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать!

ПИНЕЖСКИЙ ПУШКИН

Здесь предлагается текст северного рассказа о Пушкине. Происхождение его таково. В зиму 1934/35 года, когда начиналась подготовка к пушкинскому юбилею, я читал и рассказывал о Пушкине в квартире пинежанки С. И. Черной. Я на опыте знал, что как сама С. И. Черная, неграмотная, но обладающая поэтическим даром, так и земляки — гости ее, в особенности даровитейшая А. В. Щеголева (сумская поморка), не замедлят отразить слышанное в ярких пересказах.

Эти пересказы, впечатления, отображения слышанного, своеобразно понятого, реплики, афоризмы, отрывочные, но эмоционально насыщенные и поэтически-образные, послужили материалом для компоновки «пинежского» рассказа о Пушкине.

Он певец был, песенной наблюдатель, книгам сказатель, грамоты списатель. Землю, как цветами, стихами украсил.

Он порато в братии велик, острота ума нелюдска была.

Книги писал, слово к слову приплетал круто и гораздо. Книги работал и радовался над има.

Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал.

Он пусты книги наполнил, неустроену речь устроил, несвершóпо совершил. Теперешны писатели от Пушкина взялись да пошли.

Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой, всех светле видел.

А род давношной, от араплян — этого роду черных людей, а закону греческого.

Я его карточку ночи две продержала: высокой, тоненькой... Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а тако-то робить он не сильной.

Ужо кто у нас на Пинеге экой есть... Якуня Туголуков. Только Пушкин-то порусее.

Отроком-то читал много и часто. Всяку грамоту навык, иноземску и русску.

Ребята-ти буки, он с каждым заговорит, каждому-то уму, что надо, скажет. Люди-то дивятся: «Что уж этот Саня! Год бы с ним шел да слушал».

Возрастом поспел рано, красивенькой, пряменькой такой, все бы пел да веселился. У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо.

Долго молодцевал-то, долго летал по подругам. Ну,

он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе...

Пушкин курил ли, не курил?.. Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папиросой.

Не помню, что ише проказил он мальчишечкой...

Не бывало от сотворенья, чтобы таки многолюдны книги в такой короткой век кто сложил. Век короткой, да разум быстрой: годы молоды, да ум тысячелетен. Пенье безмолчно — стихам нет конца.

У другого человека ум никуда не ходит, на спокое стоит. У Пушкина как стрела, как птица, ум-от.

Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как ветер столь ли быстрой. Вот дак птица! Поет, забудет — ел ли, пил ли...

И настолько он хитрой прикладывать слово-то к слову! Слово-то выговаривашь одно-то, друго-то — ведь надо взять скоро... Пушкин говорил как с полки брал; и все разно сказывал. Век не придумать никому, как он придумывал.

Пушкин нов чин завел в стихах. Сердцем весел, не хотел над старыма остатками. Сам повел, никого не спросился. Сел выше всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах не заблудиссе. Кабыть в россти́л лежит. Все-то видишь, все-то понятно: выговаривать-то не спуташь. Сколь письмо егово до людей дохоже! Старых утешат, молодых забавлят, малых учит...

У Пушкина речь умильна, голос светлой, выводить-то мог без отрыву. Други водят круто либо тихо, есть читатели — читают, как собаки отгрызают, он выносит каждо слово как следует; разводно поет, голос не перепевается, не дребезжит.

У других писателей колосина, и мякина, и зерно — в одно место, у Пушкина — хлеб чистой.

Я даве упряг слушала Пушкина-то. Он тяжелы мысли уводит, на скуку не молвит ничего. Весело умет, опять друго́-грозно да заунывно по старому образу.

Бориса Годунова долги-ти строки, кручинны-ти речи, вот чего люблю! «Счастья нету в душе»,— голосом-то так по слезам ездит...[1]

В кую пору гремят трубы-ти да набаты-ти, в ту пору Годунов-от слово-то выпеват.

У Пушкина показана солева-то строка, строчной-то развод. В исподи головой горько-то слово поется. Начинают выговаривать стоя, открыто лицо-то, а станет преклоняться, проведет по лицу-ту платом. Это пенье Пушкин сам списал.

Я сегодня навидалась Пушкина-та в окне в магазине. На книгах стоит. И женочка рядом, не в ту сторону личешком. Не эта ли Наташа-та егова?.. Краса бы холостому, как лошадка на воле? Нет, женился, влепил голову-ту. Много подруг было, одну ей пуще всех зажалел...

Наташа-та на карточки: глаза грубы, волосы как ящерицы, грудешко голо. Эку бы только на выставку, напоказ стоя возить... Замуж-то с пятнадцати годов собиралась: «Не жарьте рыбы крупной. Жонихи приедут, дак чем принимать будете?..» А женихи-ти — дуга за дугой — все мимо. Хоть на пирах, на балах она всех красивее, да приданого-то — веретеном тряхнуть...

Пушкин на придано не смотрит. Сватается у ейной матери:

— Маменька, вы бы мне бы Наташу дали...

— У меня дочки как пробки замуж летят, и все за богатых. Вы ей голодом заморите. Вам папа много ли выделят?

— Я не на папу надеюсь, все на свое письмо.

— Я подумаю.

Ей родня и ругат:

— Что ты, ди́ка, этажиссе, он у всех в славы, приданого не спрашиват... На сухари будешь сушить девку-ту?..

Свадьба отошла, зажили молоды... Натальюшка выспится, вылежится, вытешится, тогда будет косу плести, у ей зажигалка така была пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у Наташи шляпка наложена, ножка сряжена погулять... Придет — рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки ей подаст. Он чего спросит, она как не чует...

[1] Говорится об опере.

Ложки по тарелкам забросат порато, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя... Как скажешь?.. Пушкина матка ли, сестра ли обиходила коров-та. Наталья-то не радела по хозяйству.

Живут задью наперед. С утра гости — по хлебам ходят, куски топчут, курят, о кака скверна!.. Станут плясать, гром эдакой учинится: «Держите двери-то, чтобы не зашел Пушкин. Что он мешать-то!» Гремят да шумят, да нарошно, да никак не уймешь...

Все к изъяну да к убытку пошло. Пушкин все как не во своей воле. От табаку-то он весь угорел!

Пробовал Наташу-ту добра доводить. Она уши затыкат:

— Вы мне уши опеваете своими стихами, всю квартиру заставили книгами да засыпали бумагой!

Знакомые спрашивают Пушкина:

— Все-то успокоится, в ночь-то вы пишете ли?

— Весна была, дак ручей-то летел, кипел, ломал. А холодна пора, дак вода-то не шевелится...

Долго он терпел, только стихом подкреплялся, песнями отманивался от бед.

А к Наташе приезжой кавалер Дантест заподскакивал, долгой, как ящерица...

Пушкину свои наговаривают:

— Ты в бумагах-то сидишь, ничего не видишь?

— Вы ничего не понимаете!

Только горюет в стихах:

Куда бежу?
Тесен град Петров.
Негде спрятаться от клеветы,
Жена меня в беду положила,
Обещание свое борзо позабыла...
Наташа, что ты надо мною сделала?!

Которы ему привержены, плачут:

— Саня, не жалей ты жену-то; жалей, да с умом. Не падай духом. Без такого песенного наблюдателя нельзя стоять царству. Не роняй своего чину...

Вот газету добыла, почитай-ко, почему он на белом свете нажился скоро... Ужо молчи, я засказываю сама.

Ноне досмотрелись в книгах, что царь кавалера-то подослал. Дантест-от был на жалованье, что он царю на ложе чужих жен да дочерей добывал.

Царь-то хоть бравой, как сунут кол, как палка

прям, а плоть-та обленилась — дак все нова надо. Царь, а вот что проделывал!

Он Пушкина женочку прилюбовал на гулянках. Самому ей доступать неприлично, приезжего кавалера и нанял. Ему от дела тысячу посулил. Чуть Дантест через порог, царь встречу бежит:

— Наташу видел ли? Давно ли видел? В гости-то сулилась ли?

Однако и Пушкин знат свою очередь. Он не хочет навыкнуть срам терпеть. А некуда на царя просить. И некуда убежать...

Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали с маху щелкать:

— Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твое место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи!

Пушкин их зачнет пинать, хвостать...

Царь тоже забоялся. Он давно Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами да стихом властям задосадил. Этот Перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учены. Выговску пустыню, эко место знаменито, он сожгал.

Укладывают с Дантестом:

— Женку мы у его урвали, тепере надо самого убить.

А не убить, дак от него быть убитым. Кто его, смутьяна, хлопнет, тот у меня первым генералом будет.

Этот кавалер побродяга была всемирна, бесстрашна. Всю жизнь с пистолетами промышлял.

Пушкин этот заговор узнал, высказал Дантесту при народе:

— Мне с тобой говорить не с кем... Бесчестно мне о тебе рук марать, да уж негде деться, выходи на прямой бой...

Тут была беда месяца января в двадцать девятой день. Белы снеги кровию знаменуются. Не в городе, не в поле: в пусте месте четыре человека приходили, четыре ружья приносили. Учинился дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин — тут огнем одено, где Дантест — тут как дым. Царски полаты затряслися, царь с вельможами, по ямам сидя, выглянуть не смеют.

Кавалер-от был стрелять горазд, пустил пулю не в очередь, отшиб звезду от месяца, убил соловья в саду. Упал наш Олександрушко, за елочку захватился:

— Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, без меня!

Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл. Пал на белы снеги, честным лицом о сыру землю. Пал, да и не встал. Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех...

Кровь-то рекой протекла кругом града. Не могли семь ден из реки воду пить.

...Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом расставаться:

— Прости, красное солнце; прости, мать сыра земля и все на тебе живущие. Я в мире сем положен был как знамя на стреляние, летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место не по чину. Я неволей пил горьку смертную чашу...

Жене сказал:

— Я устал, дак рад спокою-то. В день покоя моего не плачь.

. . . .

Тут Давыдов псалмы, тут заунывное пение... Пушкин глаза смежил, а город розбудился. Пушкин умолк, а в городе громко стало: «Пушкин в соборе лежит, застрелен!..»

К царю пристава летят:

— Народу в домах уж нет, все у Пушкина...

У Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество от мала до велика. И все плачут с причетью:

Звезда восточна на запад ушла.
Жизнь пробежала, как речка быстрина.
Молодость прошла непомилована.
Жито пожато недозрелое!

Горе ходило под ручку с тобой.
Не мог ты от горя уехати...
Во гробе изволил вселитися,
От горя землею укрытися...
. . . .

Чтенья не слышно во многом-то плаче.

Царь в окно эти дни смотрит:

— Почему все чёрно одели, как вороны?!

— Вдовственны дни...

Где в Пушкина стреляли, теперь там пусто место безугодно; ничего не ростет, только ветер свистит.

Пушкин поминал:

— Буду сказывать, дак вы забудете. Я в книгу свой ум спишу.

Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин сердце всем веселит речью своей и письмом.

Егово письмо как вешна вода. Его стихам нет конца. Сотворена река, она все течет — как Пушкин. Землю он посетил да напоил. Что на свете есть, у него все поется.

Пушкин с ласковым словом приходил. Он как летний ветер, хоть и бухат, да теплой...

Сын дню, дитя свету, Пушкин малыми днями велико море перешел. Ему уж не будет перемены.

ПУШКИН АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЙ

Не скрою от вас: различных поэтов читаю, но Пушкин — мой фаворит. И папенька всегда повторял: пущай сойдутся в сонм все поэты, но Пушкина тут первое место будет. Многие писали стихи, но против пушкинских — нет никакого сравнения.

Настолько он превосходил всех во всех случаях.

О чем древние писали темно и невнятно, то Пушкин изъяснил лучшим образом. Смала этому приобучился: соберет все, что где услышит или узнает, и потом расположит как возможно лучше. Притом изъяснит в стихах со всею нежностию нашего времени и — ни одного пустошного слова.

Развращенный свет в поэте многое грубиянством именовал, но это были подлинные знаки великой души.

У нас папенька любил Пушкина стихи нараспев произнести. Говором читать будешь, дак никакой печали нету. Что это за поэзия...

Пушкина многие живописцы изображали. Папенька определил так, что он был более посредствен возрастом, нежели высок; кость тонка, но мышцы крепки. Пушкин довольны лета мог исполнять. Сухощавые люди долголетнее дородных, для того что у сухих жилы толще, а в жилах кровь живая жарче ходит. В дородных людях крови свободного обращения иметь нельзя. Оттого сухие люди и к чувствам более способны.

Характером поэт был чистосердечен, откровенен, доверчив, распыльчив. Говорит всегда с движением

рук. Шутит-плетет, в глаза глядит и не смеется. Пошутит над кем не гораздо, кряду примется целовать. В глазах то чрезвычайное веселье, то не менее привлекательная меланхолия. Пушкину детей показывали на счастье: хороший был глаз.

До конца остался обычаем как мальчик пятнадцати годов. В гостях утащит яблочко, изюмцу, конфетку.

При всем при том был честного благородия муж. Нету чина, до которого он бы не имел права. Но даже чин тайного советника ничем звал: ордена ни разу не надел.

Ел мало,— пошутит:

— Ем — не доедаю, святому духу место оставляю.

После обеда не повалится сразу: книжечку возьмет, а нет, дак так посидит. Любил рано вставать: «Заря — поэзии другиня...»

Будучи в деревне, предпочитал уединение, но и с простым народом обожал под веселый час. С девками лучину щиплет на вечереньках зимой; полна изба дыму, окошек не видно. Снегом роется с девками, водой брызжет. На мельницу сбегает, будто поседатеет, только чихает. Когда-то, смала, весь мокрый пришел:

— Мама, я с девками лен мочил да в озеро упал.

За ним в мальчишках прозвище было: «Девичий пастух».

Попадья проживала в деревне, любила потанцевать, а редко кто решался пригласить, для того что вдова толста... Пушкин каждый раз ей удовольствие сделает.

Папенька все смеялся, как Пушкин с ней танцевал, каблуки особливо кверху выкидывал.

Еще у него была привычка считать кукушку. В пиру покалы наполнят, заздравницу запоют — он среди веселья замолкнет. Считает кукушку, кукуючи. Улыбнется:

— Я не буду с вами доживать веку, слышу плеск весла Харонова.

...И весна его жизни прошла, холостая жизнь надокучила: лето пришло, жениться пора.

Вся история женитьбы доказывает, что узы брака были для поэта священны. Взял за себя великую модницу и был влюблен до ужасти. Страсти своей не умел уму покорить. Какими письмами ее осыпал, сколько блестящих стихотворений ей посвящено! «Божество, кумир, вы родились для доставления моего щастия...»

И тому подобное в духе легкомыслия. Небольшое пригожество ангельской красотой называл. Слов не находил для выражения тонкости своих чувств.

Теперешняя любовь не заслуживает алтарей, но прежде... Ах, сколько приятно любить! Воздух всегда чист, небо всегда ясно, земля всегда украшена цветами...

Ежели бы Натали хотя однажды потрудилась попристальнее рассмотреть мужнев характер. Он читать да писать, а ейны все упражнения состоят в том, чтобы сделать платье особливой своей выдумки да проговорить все дневные новости. Уж не унизит голоса, что поэт в глубоких размышлениях.

Опять на балу весь мир забудет со знакомыми. Друг у дружки наряды хвалят, уговариваются на контрдансах вместях танцевать... Ей интересно, кто прежде бал зачнет; тужит, что мало танцующих мущин. Ей на ум не придет, что супруг изнывает в тоске о потерянных минутах труда и вдохновения.

С ейным нравом лучше бы в девках сидеть. Бывало, у самого-то для спешности манишки нету крахмальной, а надобно в люди ехать. Одевану выгладит, так и поедет.

Не помню, Жуковский или кто замечали в горести сердца:

— Натали, будьте попечительны, учредите домашний порядок, наблюдайте нашего поэта.

Она с принуждением слушает эти увещания.

— Я не в состоянии познавать все степени странных нравов. Я принуждена быть в самом скучном положении.

Конечно, если б поэт ей во всем подражал, то был бы относительно щастлив, но скажите: у кого же хватит терпения и сил вытягиваться, да ломаться, да уважать тиранству модного света!

Меня молоды люди слушают, может, не в ту сторону подумают. Брачного союза со усердием желать должно. В супружестве откровенность, которой ни в каком другом чине и состоянии сыскать не можно. Женатые много бед претерпевают не от супружества, а от неразумия тех жен и мужей, которые выгодами сего состояния пользоваться не умеют.

Браню Наталию Николаевну, а сомнительно — могла ли бы какая женщина сделать щастие Пушкина...

Жена Пушкина... Слово-то какое, ответственность какая! В ейны годы Пушкину надо было соответствовать, да еще, как теперь выясняется, царскому настойчивому искательству противостоять.

По силам ли это молоденькой дамочке с соответственным воспитанием и характером! Выйди она за какого-нибудь генерала, никому бы теперь не виновата была.

Это все и послужило поводом для трагедии. Как известно, Пушкин сочувствовал декабристам, письменно хулил времена, наскакивал на правительство прискорбными стихами. Власти принялись изыскивать способ, как бы его погубить. Нещастное легкомыслие молоденькой Натали послужило к тому орудием. Власти знали, что делали, когда решили затронуть у поэта честь, величайшее в свете сокровище.

Некто Дантес, красавец высокого роста, но подлой души, открыто начал волочиться за Натали на балах. Есть такие шельмованные бездельники — мужьям льстят и похлебствуют, а женам посылают записочки в букетах.

Будучи ветреной, Натали отнюдь не переступала границ, а тут — что-то роковое.

...Весь Петербург вскоре стал известен, что мадам Пушкина имеет конфиденцию с посторонним кавалером. Сплетни не надо в «Ведомостях» объявлять. Есть добровольные разносчики новостей, ничего подлинно не разведавши, все болтают. И до тех пор ни есть, ни спать не можут, пока домов десяток разными сумасбродствами и безделицами не наполнят.

Гордый поэт рачительно старался убегать подобных разговоров. Слушал намеки с презрительным видом:

— Натали меня любит, но нарочно притворяется.

Однако тревога его умножалась день ото дня. Предался мрачности, приобрел нещастный навык ко гневу. Придумал в одиночестве скитаться по берегам Невы. А злорадство и праздное глупство светских завистников наводило на мысли, все более смутные и печальные. Впрочем, покамест утверждал свои подозрения на слухах, то хотя был в страхе, однако имел и надежду. Тогда просит с горячностию, дабы жена объявила ему все обстоятельнее:

— Натали, не могу более показывать принужденного равнодушия. Лютая зима душу оморозила, все

чувства оледенели... Ах, Натали! Удалимся от многолюдства, нам непристойно здесь оставаться.

А она пригласительный билет на придворный бал в карман прячет...

Вот на этаком балу, у государя императора во дворце, не где-нибудь в кузнечевском... «Новом Свете» [1], Пушкин вошел в буфет без оповедания, а Дантес поит Натали из покала неучтивым образом.

Я Ольге Эрастовне [2] эти папенькины воспоминания передавала, она утверждает, что Натали с Дантесом Николай Первый в своих целях сводил: «Пущай,— говорит,— дураки друг друга ухлопают, мне красотка достанется».

Я прежде в это не вникала, но Ольга Эрастовна представила неопровержимы доказательства.

По всему видать, что Пушкин знал, что Дантес не более как подставна фигура из дворца, иначе бы он его давно на дуэль вызвал. Но уж тут — забыты все соображения:

— Нещастная, уйдем! Сей дом — вертеп разврата! Не медли долее в сих ужасных стенах!..— Вот его подлинные слова. Кричит в горести сердца; кругом придворные лица и чины.

Сей страх недолго продолжался, за ним последовал другой, ужаснее сего. Пушкин стал с Дантесом ополчаться на поединок, при этом Нева и дворцы одеваются тьмою. Поэт высказал друзьям:

— Всему решение приближается! Завтра он пошлет меня к Харону в гости.

...Стрелялся смело и небоязненно и поражен был смертоносною пулею. До исхода прекрасной своей души был в памяти.

— Сколько поплачут обо мне в хижинах, а во дворце рады моему концу.

...Да, умер в цветущих годах. Говорят, матери поэта предсказали еще до рождения его: проживет недолго и будет торжествовать в веках.

Папенька всегда говорил:

— Пушкин привел отечественную литературу в такое состояние, что она приобрела удивление целого света. Будущие после нас люди может умнее быть,

---

[1] Дом свиданий в старом Архангельске.

[2] Артистка О. Э. Озаровская, известная собирательница северного фольклора.

науки выше теперешнего состояния могут вознестись, но в поэтах выше Пушкина не будет.

С папенькой мы не спорили, но нет сомнения, что и в новейшие времена такие же великие сочинители быть могут, да и подлинно есть, каковые в прежние времена бывали.

...Приходит весна, зеленеют поля, древеса одеваются новым листвием, а кого нет — того не воротит и весна.

Папенька, пока был жив, имел намерение меня и сестру свозить в пушкинские места. Нет надежды на личное свидание, дак хоть на могилку уронить признательную слезу.

Уж очень приятно было бы подивиться, что вот тут-то Пушкин уединялся для вдохновения, здесь принимал посетителей, здесь сочинял вдали от шумного света...

В разлуке с предметом почитания и это служит немалым утешением.

* * *

Старожилы Архангельска хорошо помнят барышень Генрихсен, двух сестер — Анну Эдуардовну и Марью Эдуардовну, «Аничку и Маничку Генрисовских». Марья Эдуардовна умерла, помнится, в 1922 году, ее старшая сестрица — несколькими годами раньше. Домик Генрихсен, построенный еще «папенькой» лет сто назад, и теперь красуется в Архангельске.

Этот «папенька» был человек в некотором роде замечательный. Раннюю свою молодость — двадцатые, тридцатые годы XIX века — он провел в Петербурге, учеником аптекаря. Здесь каким-то образом имел возможность часто видеть Пушкина, страстно Пушкиным интересовался, артистически повторял манеру поэта говорить, его жесты, походку. Не раз удавалось юному аптекарю имитировать Пушкина в присутствии его самого.

В середине XIX века Эдуард Генрихсен живет уже в Архангельске своим домом, женатый на архангельской горожанке. Дочери родились в это время. Умер этот очезритель Пушкина в летах преклонных, до конца интересуясь литературой, внушив любовь и вкус к поэзии в особенности младшей дочери, Марье Эдуардовне.

В дни моей юности барышни Генрихсен были уже достаточно ветхи годами, но беспредельно молоды душой. Обе обладали даром слова, даром неутомимого общения с людьми. При этом Анна Эдуардовна была домоседка: любила встретить, принять, угостить кофейком. Марья Эдуардовна, массажистка по профессии, целыми днями «славила» по домам Немецкой слободы Архангельска. Никто лучше нее, подробнее и достовернее не знал городских новостей.

Между собой сестры жили дружно.

Вот о полдень пушка на Соломбальском острове возвестит адмиральский час. Ударят часы на городо́вой башне. Анечка, в шелковой наколке на седых кудрях, угощает Манечку обедом, тащит на стол обливной чугунок со щами.

— Пожалуйста, не подумай, дорогая сестрица, что мне лень вылить щи в миску. Я затем подаю в цыгуне, что тебе кушать будет горячее.

Марья Эдуардовна, вхожая во все дома, редкий день не бывала у моей тетки, такой же старинной архангельской кофейницы. Здесь нам, младшему поколению, рассказывала Марья Эдуардовна о своем «папеньке», который, бывало, «каждое слово Пушкиным закроет».

В 1915 или в 1916 году гостившая у нас проездом на Пинегу артистка О. Э. Озаровская интересовалась пушкинским материалом Марьи Эдуардовны, в особенности пачками старинных дагерротипов и фотографий.

Переписываясь затем с Озаровской в течение ряда лет, я нередко посылал ей образцы речи М. Э. Генрихсен, стараясь передать дух и стиль ее бесед. Черновики этих писем и послужили материалом для составления «Пушкина архангелогородского».

СКАЗКИ

ШИШ МОСКОВСКИЙ

ШИШОВЫ НАПАСТИ

Жили в соседях Шиш Московский да купец.

Шиш отроду голой, у его двор полой, скота не было, и запирать некого. Изба большая,— на первом венце порог, на втором — потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже! Шиш в эдако окошечко глаз впялит да и любуется.

Именья у Шиша — для штей деревянный горшок да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла.

Зато у купчины домина! Курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит.

У купца свинья живет,
двести пудов сала под шкурой несет
да пудов пятьдесят соли в придачу.
Все равно — совру наудачу —
и так никто не поверит...
У купца соха в поле сама о себе
пашет,
а годовалый ребенок мельничный
жернов
с ладошки на ладошку машет.
А две борзых суки мельницу
на гору тянут,
а кляча ихну работу хвалит, себе
на спину
мельницу валит, кряхтит да меня
ругает.
— Мне,— говорит,— твое вранье
досаждает!
Всего надобно впору,
а ты наплел целу гору!

Это, светы мои, присказка, а дело впереди.

Пришла зима, а дров у Шиша ни полена, и притянуть не на чем. Пришел к купцу, конается:

— Не даите ли коняшки в лес съездить?

Купец покуражился немного, однако лошадь отпустил.

— Бери, пейте мою кровь, летом отработаешь. Чувствуй, что я отец и благодетель. Что ише мнессе?

— Хомута, пожалста, не соблаговолите ли ише хомута?

— Тебе хомута?! А лаковой кореты ише не надо? А плюшево одеяло ножки накрыть не прикажете-с?

Так и не дал хомута.

Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, наклал большашшой воз, привязал кобыле за хвост да как зыкнет... Лошадь сгоряча хватила да себе хвост и оборвала. Сревел Шишанко нехорошим голосом, да нечего делать!

Повел кобылу к хозяину:

— Вот получите лошадку. Покорнейше благодарим-с!

Купец и увидел, что хвоста нет:

— Лошадку привел? Иде она, лошадка?

— Вот-с, извиняюсь...

— Это, по-вашему, лошадка? А я думал — зайчик, без фоста дак... Только и у зайчика намечен известной фостик, а тут фостика нет... Может, это ведьмедь?! Но мы ведьмедев боимся!..

В суд, в город, того же дня поташшил купец Шиша.

Надо идти по мосту. Железнодорожный мост матерушшой через реку. Ползет бедной Шишанушко, а у его дума думу побиват:

«Засудят... Сгноят в остроге... Лучше мне скорополучно скончачче, стукнучче об лед да...»

Разбежался, бедняга, да и ухнул вниз, через перила... А под мостом по льдю была дорога. И некоторой молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишанко в окурат в сани к им и угодил да на один взмах отца-то до смерти и зашиб...

Несчастной сын сгреб Шиша — да тоже в суд.

Тут кряду отемнело, до городу не близко, приворотили и Шиш, и купец, и парень на постоялой, ночь пережать. Наш бедняга затянулся на полати. Ночью ему не спится, думы тяжелы... Ворочался да с полатей-

то и оборвался. А под полатеми зыбка с хозяйским робенком. Робенка Шиш и задавил. Робенковы родители зажили, запели. И они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня.

Едет Шиш на суд. Грустно ему:

— Прости, прошшай, белой свет! Прошшайте, все мои друзья! Боле не видачче!

Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить... На случай взял да и вывернул из шассе булыжник. Завернул в плат и спрятал за пазуху.

У судьи в приказе крык поднялся до потолка. Купец вылез, свое россказыват, в аду бедному Шишу места не дает...

Судья выслушал, зарычал на Шиша:

— Ты что, сопляк?! По какому полному праву хвост у их оторвал?

Шишанко вынул из-за пазухи камень в платке да на ладони и прикинул два-три раза. Судье и пало на ум: «Ух, золота кусок у мужика!.. Это он мне золото сулит...»

И говорит:

— Какой несимпатичный факт!.. Выдернуть у невинной животной фост... Ваше дело право, осподин купец! Пушшай оной Шиш Московской возьмет себе вашую кобылу и держит ее, докуль у ей фост вырастет... Секлетарь, поставь печать! Купец и ты, Шиш Московской, получите копии решения.

Подкатился отецкой сын. Судья спрашивает:

— Ты пошто ревишь? На кого просишь?

— Все на их жа, на Шиша-с! Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили.

— Как так?

— У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело не гожи, дак мы везли их в город на комиссию сдавать. И токмо из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу, папа под има скоропостыжно и скончались!

Судья брови насупил:

— Ты что это, Шиш голай? Родителей у проезжающих давить? Я тебя...

Шишанко опять камень в платке перед судьей и заподкидывал. Судья так понял, что опять золото сулят.

И говорит:

— Да! Какой бандитизм! Сегодня папу задавил, завтра маму, послезавтра опять папу... Дак это что будет?! Опосле таких фактов из квартиры вытти страшно... Вот по статьям закона мое решенье: как ты, Шиш Московской, ихного папу кокнул, дак поди чичас под тот самой мост и стань под мостом ракообразно, а вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост да и скачите на Шиша с моста, пока не убьете. Секлетарь поставит вам печать... Получите...

Безутешный отец выскочил перед судью:

— Осподин судья, дозвольте всесторонне осветить... Оной злодей унистожил дитятю. Рехал-рехал на полатях, дале грянул с вышины, не знай с какой целью, зыбку — в шшепы и, конечно, дитятю.

Шиш затужил, а платок с камнем судьи кажет. Судья ему мигат — понимаю-де, чувствую...

И говорит:

— Этот Шиш придумал истреблять население через наскакивание с возвышенных предметов, как-то: мостов, полатей и т. п. Вот какой новой Жек Патрушитель! Однако Хемида не спит! Потерпевший, у тя жена молода?

— Молода, всем на завидось она!

— Дак вот, ежели один робенок из-за Шиша погиб, дак обязан оной Шиш другого представить, не хуже первого. Отправь свою молодку к Шишу, докуль нового младеня не представят... Секлетарь, ставь печати! Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено.

Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их свицары удалили на воздух.

Шиш говорит купцу:

— Согласно судебного постановления дозвольте предъявить лошадку нам в пользование.

— Получи, гадюга, сотню и замолкни навеки!

— Не жалаю замолкать! Жалаю по закону!

— Шишанушко, возьми двести! Лошадка своерошшена.

— Давай четыреста!

Поладили.

Шиш взялся за отецкого сына:

— Ну, теперь ты, рева киселева! Айда под мост! Я на льдю встану короушкой, на четыре кости, значит, а ты падай сверху, меня убивай...

— Братишка, помиримся!

— Желаю согласно вынесенного приговора!

— Голубчик, помиримся! На тебя-то падать с экой вышины — не знай, попадешь, нет. А сам-то зашибусе. Возьми, чем хошь. Мне своя жисть дороже.

— Давай коня с санями, которы из-под папы, дак и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой.

Сладились и с этим.

Шиш за третьего взялся:

— Ну, ты сегодня же присылай молодку!

— Как хошь, друг! Возьми отступного! Ведь я бабу тебе на подержанье дам, дак меня кругом осмеют.

— Ты богатой, у тебя двор постоялой, с тебя пятьсот золотыми...

Плачет, да платит. Жена дороже.

Только все разошлись, из суда выкатился приказной — и к Шишу:

— Давай скоре!

— Что давай?

— Золото давай скоре, судья домой торопится.

— Како золото, язи рыба?!

— А которо из-за пазухи казал...

— Вы что, сбесились? Откуль у меня быть золоту? Это я камнем судьи грозил, что, мол... так — да так, а нет — намеки излишны. Пониме?

Приказного как ветром унесло. Судье докладыват Шишовы слова... Тот прослезился:

— Слава тебе, осподи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!

КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА

Недалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, рожу продает.

Шиш сдумал над ней подшутить.

Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо.

Шиш к ней:

— Жаланнушка, здравствуй.

Та закланялась, запохохатывала.

— Красавушка, ты за меня замуж не идешь ли?

— Гы-гы. Иду.

— Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не сказывай смотри.

Вечером девка услыхала — полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях навертела на себя одежи — да к Шишу в сани. Никто не видал.

Шиш конька стегнул — и давай крутить вокруг девкиного же дома. Она думает: ух, далеко уехала!

А Шиш подъехал к ее же крыльцу:

— Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи в избу.

— Да я не знай, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.

— У нас все как у вас. И крыльцо тако, и сени... Заходи — да на печь, а я коня обряжу.

Невеста с коня, а Шиш дернул вожжами — да домой.

А девка на крыльцо, в сени, к печи... На! — все как дома...

Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются...»

Домашние на нее тоже поглядывают:

— Что это у нас девка-та сегодня, как именинница?..

А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:

— Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!

Отец и рот раскрыл.

— Говорил я тебе, старуха,— купи девке крес, а то привяжется к ней бес!..

ШИШ И ТРАКТИРЩИЦА

По свету гуляючи, забрел Шиш в трактир пообедать, а трактирщица такая вредня была, видит: человек бедно одет — и отказала:

— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.

Шиш и тому рад:

— Ну, хлебца подайте с водичкой.

Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да посасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь был жареный. И одумала толстуха посмеяться над голодным прохожим.

— Ты,— говорит,— молодой человек, везде, чай, бывал, много народу видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?

Шиш смекнул, в чем дело, и говорит:

— Вот доем корочку, тотчас вспомню...

В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру. Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шиш к печке; открыл заслонку, сдернул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть и ждет...

Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шишом:

— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?

Шиш отвечает:

— Знавал, хозяюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село Сковородкино, живет, а в Сумкино-Заплечкое переехал.

Вскинул Шиш сумку на плечо и укатил с гусем.

Трактирщица говорит гостю:

— Вот дурак мужик! Я ему про гуся загадала, а он ничего-то не понял... Проходите, сударь, за стол. Для благородного господина у меня жаркое найдется.

Полезла в печь, а на сковороде-то... лапоть!

ШИШ ПРИХОДИТ УЧИТЬСЯ

Шиш бутошников-рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены полаты на семи дворах. Посовался туда-сюда. Спросил:

— Тут ума прибавляют?

— Тут.

— Сюда как принимают?

— Экзамен сдай. Эвон-де учителевы избы!

Шиш зашел, котора ближе. Подал учителю рубль. Учитель — очки на носу, перо за ухом, тетради в руках — вопросил строго:

— Чего ради семо прииде?

— Учиться в грамоту.

— Вечеру сущу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание.

После ужина учитель с Шишом забрались на полати.

Учитель говорит:

— Любезное чадо! Грабисся ты за науку. А в силах побои терпеть? Без плюхи ученье не довлеет. Имам тя вопрошати, елика во ответах соврешь, дран будешь много. Обаче ответствуй, что сие: лапкой моется, на полу сидяще?

— Кошка!

Учитель р-раз Шиша по шее...

— Кошка — мужицким просторечием. Аллегорически глаголем — чистота... Рцы паки, что будет сей свет в пещи?

— Огонь!

Р-раз Шишу по уху:

— Огонь глаголется низким штилем. Аллегорически же — светлота. А како наречеши место, на нем же возлегохом?

Шиш жалобно:

— Пола-ати.

Р-раз Шиша по шее:

— Оле, грубословия твоего! Не полати, но высота!.. На конце越 воспису́й вещь в сосуде, ушат именуемом.

— Вода.

Р-раз Шиша по уху:

— Не вода, но — благодать!

Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на полати вспорхнула, на полатях окутка зашаяла, дыму до потолка... Шиш на крыльцо выскочил. Хозяин гряду поливат. Шиш и заревел не по-хорошему:

— Учителю премудре! Твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а то ничего не видать!!!

Сам ходу задал,— горите вы с экой наукой!

ШИШ СКЛАДЫВАЕТ РИФМЫ

Тащился Шиш пустынной дорогой. Устал... И вот обгоняет его в тарантасе незнакомый мужичок. Шишу охота на лошадке подъехать, он и крикнул:

— Здорово, Какойто Какойтович!

Мужичок не расчухал в точности, как его назвали, но только лестно ему, что и по отчеству взвеличили. Тотчас попридержал конька и поздоровался.

— Что,— спрашивает Шиш,— аль не признали?

Мужичок говорит:

— Лицо будто знакомое, а не могу вспомнить...

— Да мы тот там год на даче в вашей деревне жили.

— А-а-а!.. Извиняюсь!.. Очень приятно-с!

— Как супруга ваша? — продолжает Шиш.

— Мерси. С коровами все... Да вы присядьте ко мне, молодой человек. Подвезу вас.

Шишу то и надо. Забрался в тарантас, давай болтать. Обо всем переговорил, а молча сидеть неохота. И говорит Шиш спутнику:

— Хозяин, давай рифмы говорить?!

— Это что значит рихмы?!

— Да так, чтобы было складно.

— Ну, давай.

— Вот, например, как звали твоего деда?

— Кузьма.

— Я твоего Кузьму
За бороду возьму!..

— Ну, уж это довольно напрасно! Моего дедушку каждый знал да уважал. Не приходится его за бороду брать.

— Чудак, ведь это для рифмы. Ну, а как твоего дядю звали?

— Наш дядюшка тоже были почтенные, звали Иван.

— Твой Иван
Был большой болван!

Шишов возница рассвирепел:

— Я тебя везу на своем коне, а ты ругаться!.. Тебя как зовут?

— Леонтий.

— А Леонтий, так иди пешком!

— Дяденька, это не рифма...

— Хоть не рихма, да слезай с коня!

Дядька с бранью уехал, а Шишу остаток пути пришлось пройти пешком. И смешно, и досадно.

ПРАЗДНИК ОКАТКА

Смолоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то двадцати пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома — Шишанко в дом.

Собрался этот муж в лес по бревна.

— Жена, с собой чего перекусить нет ли?

Она сунула корок сухих.

— Жена, неужели хлеба нету помягче, с маслицем бы?

— Ладно и так. Не маслена неделя.

Муж уехал, а к ней Шишанушко в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масла налила море, щей сварила.

А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторонился домой. Жена видит в окно:

— О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит. Ягодка, ты залезь в кадку, она пустая... Он скоро колесо сменит...

Муж заходит:

— Колесо сменить вернулся... Ишь как у тебя дородно пахнет. Дай закусить.

Жена плеснула щей.

— Я блинка любил бы...

— Блины к празднику.

Взяла миску с блинами и выпружила в кадку спрятанному Шишу.

— Жена! Ты что?!

— Сегодня праздник Окатка — валят блины в кадку...

Муж и догадался. Схватил чугун со щами:

— Жена, ты блины, а я для праздника, для Окатка, щей не пожалею.

И чохнул горячими щами в кадку.

Шишанко выгалил оттуда на сажень кверху — да из избы...

БОЧКА

В каком-то городе обзадорилась на Шиша опять мужня жена. Одним крыльцом благоверного проводит, другим Шиша запустит.

Однажды муж негаданно и воротился. Куда друга девать? А в избе бочка лежит. Туда Шиш и спрятался, да только сапоги на виду.

Муж входит — видит сапоги...

— Жена, это что?!

— А вот пришел какой-то бочку нашу покупать, залез посмотреть, нет ли щелей... Продадим ему, нам бочка без пользы... Эй, молодец! Ежели высмотрел, вылезай, сторгуйся с хозяином!

Муж не только что бочку продал, а и до постоялого двора домой нести Шишу пособил...

ШТИ

Одна Шишова любушка крепко его к другой ревновала. Бранить не бранила, а однажды с горя шуточку придумала.

Поставила ему шти с огня, кипячие.

Да забылась, хлебнула поваренку на пробу и рот обварила. Не стерпела — заревела.

Шиш дивится:

— Ты чего? Обожглась?

А эта баба крепка была:

— Не обожглась, а эдаки шти маменька-покоенка любила. Как сварю, так и плачу...

А Шишу в путь пора. Ложку полну хватил и... затряс руками, из глаз слезы побежали.

Ехидна подружка будто не понимат:

— Что ты, желанный? Неуж заварился?

— Нет, не заварился, а как подумаю, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, така дочка подла, как ты, дак слезы ручьем!

ТИЛИ-ТИЛИ

Какой-то день прибежали к Шишу из волости:

— Ступай скоре. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.

Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошелся.

Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:

— Говорите теперь однаждыl

Шиш крякнул:

— Наш первой обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак все одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.

Мистер говорит:

— Ол райт! Во-первых, будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».

— У нас не по часам, у нас по песням. Вот сядете вы на меня и запоете. Доколь поете, я вас везу. Кончили — я на вас еду, свое играю.

Стал Шишанушко на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своем языке песню: «Длинен путь до Типперери...» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-от поперек шире. Долго рявкал. Шиш из-под него мокрехонек вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на загривок.

— Эй, вали, кургузка, недалеко до Курска, семь верст проехали, семьсот осталось!

Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
. . . .

Мистер и полчаса гребет, а Шишанко все нежным голосом:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
. . . .

У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит... На конце прохрипел:

— Вы будете иметь окончание однажды?

Шиш в ответ:

— Да ведь песни-то наши... протяжны, проголосны, задушевны!

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
. . . .

Бедный мистер потопал еще четверть часика да и повалился,— где рука, где нога:

— Ваши тили-тили меня с ног свалили!

ШИШ ПОШУЧИВАЕТ У ЦАРЯ

Всех Шишовых дел в неделю не пересказать. Про Шиша говорить — голова заболит. Про Шиша уж и собаки лают. Здесь я от большого мало возьму, от многа немножко расскажу.

Ходил Шиш, сапоги топтал, версты мерял. Надоело по деревням шляться. В город справил. Чья слава

лежит, а Шишова вперед бежит. Где Шиш, там народу табун.

Это увидал из окна амператор:

— Что за народ скопивши?

— Это парнишка один публику утешает-с.

— Не Шиш ли?

— Так точно-с.

— Позвать сюда!

Шиша привели. Царь сразу над ним начал сгогатывать:

— Ты в татку ле в матку, в кого ты экой? Сшутико мне шутку позазвонисте. Выкради из-под меня да из-под моей супруги перину. Выполнишь задание — произведу тебя в жандармерию и твой патрет — во все газеты. Сплошаешь — в Сибири сгною!..

Только Шиш за двери — амператор своим караульщикам ружья выдал:

— Мы с Шишом Московским об заклад побились. Перину из-под меня придет воровать. Спальну нашу караульте день и ночь!

Шиш выбрал ночку потемнее и в щель дворцового забора стал охрану высматривать. Видит — дремлют под спальными окнами, вора ждут. Людей бы на ум, а Шиша на дело.

Он дунул на огороды, выдернул с гряды пугало, опять к тому же забору примостился, вызнял пугало кверху — и ну натряхивать...

Это караульщики и увидали:

— Ребята, не робей! Вор пришел! Через тын лезет...

— Рота-а, пли!!!

Шиш того сразу пугало удернул. Будто убили. А стража радехонька:

— Ну, ребята, мертвое тело оттуль завтра уберем. А теперь на боковую. Боле некого ждать.

Только они восвояси утянулись, Шиш через забор да в поварню. Стряпки спят. На печи в горшке тесто подымается, пузырится. Шиш с этой опарой да в царскую спальню окном.

Царь с царицей на перине почивают. Царь истолста храпит, царица тихонько носом выводит...

Шиш на перстышках подкрался да как ухнет им опару ту под бок...

Сам с подоконника — и в кусты...

. . . .

Вот царица прохватилась:

— О-о, тошнехонько! Вставай-ка ты, омморок!.. Эво как обделался! Меня-то всю умарал!

— Нет, гангрена! Это ты настряпала!..

До третьих петухов содомили. Тут царица одумалась:

— Давай лучше выкинем перину-то на подоконник, на ветерок, а сами соснем еще часиков восемь.

Только они музыку свою завели — захрапели, Шиш перину в охапку да со двора. На извозчика да домой.

Навстречу бабы-молочницы:

— Шиш, куда полетел?

— У нас дома не здорово! Таракан с печи свалился.

. . . .

Царица рано вскочила:

— Что я, одичала — сплю! Министры перину увидят — по всей империи ославят...

На!!! Где перина-та???

Фрелины Машки, Дашки забегали, заискали.

Царя разбудили... Его и горе берет и смех долит.

— Полковник! Запрягай коня, скачи к Шишу. Он меня в дураках оставил... Ох, в землю бы я лег да укрылся!..

Полковник на добра коня — да пулей в деревню, к Шишову дому. Не поспел наш Шишанушко увернуться. Начальство на дворе.

Людей бы на ум, а Шиша на дело. Он в клеть, достал бабкин наряд: сарафан, жемчужную повязку, ленты — накрутился и — в горницы. Полковник там. Видит — девица заходит, личиком бела и с очей весела.

Шпорами брякнул:

— Вы... видно, сестра?

— Да... сестра Шишова...

Забыл полковник, зачем приехал. Около этой сестры похаживает, похохатывает. Шиш думает — пронеси бог тучу мороком...

— Вы бы по лесу его, прохвоста, искали...

— Хе-хе-хе! Мне и тут приятно-с!

Шиш бутылку откупорил: «Напьется пьян — убежу...»

А тот охмелел, хуже стал припадать:

— Желаю с вами немедленно законным браком.

О, куда от этого жениха деться?..

На шаг не отпускает. Сиди рядом. Стемнело.

Полковник велит постель стлать. Попал гвоздь под молот. Над другими Шиш шуточки шутит, а над собой их не любит.

Только у Шиша уверток — что в лесу поверток. Он давай руками сарафан ухлапывать.

— О, живот схватило! О, беда! На минутку выпустите меня...

— Убежишь?

— Что вы, у нас рядом! Вы даже для верности подол в дверях зажмите.

Полковник выпустил эту невесту в сени, а подолёшко в притвор. Сидит ждет.

Шиш того разу из сарафана вывернулся да вместо себя козу и впряг в эти наряды. Сам шубенку на плечи, шапку на голову, котомку в руки — да и... поминай как звали.

Полковник слышит — коза у дверей топчется, думает — невеста:

— Милочка, ты что долго?

— Б-э-э-э!

...Двери размахнул, а в избу коза в сарафане. Полковник через нее кубарем — да на коня, да в город. Потом год на теплых водах от родимца лечился.

ЗОЛОЧЕНЫЕ ЛБЫ

На веках невкотором осударстве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом.

Царь за рюмку, мужик за стакан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом.

Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято.

Оногды амператора созвали ко главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину

зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету.

Вот пир к концу заприходил. Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютант Королев в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала:

Эх, я стояла у поленницы, у дров.
По угору едет Ваня Королев.
Отчего далеко видела:
От часов цепочка светила.
Цепочка светила в четыре кольчика,
У милого нету колокольчика.
У милого коробок, коробок,
Я гуляю скоро год, скоро год!

Сенаторы, которы потрезве, смеются:

— Хы-хы! При муже кавалера припеват. Вот до чего — и то ничего.

И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распехал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, ногами шарконул и заходил вкруг ей вприсядку, с прискоком, с присвистом. Песню припеват:

Разве нищие не пляшут?
Разве песен не поют?
Разве по миру не ходят?
Разве им не подают?

А у самого калошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, карманы вывернуты. Под левым глазом синяк. И весь Капитон пьяне вина! Царь немножко-то соображает. Как стукнет по столу да как рявкнет:

— Вон, пьяна харя! Убрать его!

Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться:

— На, пес с тобой, ты вото где? А я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искавши!

Придворны гости захикали, заощерялись. Это царю неприлично:

— Кисла ты шерсь! Ну куда ты мостиссе?! Кака я те, пьянице, пара? Поди выспись.

Капитонку это не обидно ли?

— Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!

Брани — дак хоть потолоком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку привали, корону под комод закатили. Дале полиция их розняла, протокол составили.

С той поры Капитона да амператора и совет не забрал. И дружба врозь. Мужичонко где царя увидат, все стращат:

— Погоди, навернессе ты на меня. Тогда увидам, которой которого наиграт.

Судятся они друг со другом из-за кажного пустяка. Доносят один на другого. Чуть у царя двор не убрали или помойну яму запакостили, мужичонко сейчас ко квартальному с ябедой.

Вот раз царь стоит у окна и видит: Капитонко крадется по своему двору (он рядом жил) и часы серебряны в дрова прятат. Уж верно крадены.

Царь обрадовался:

— Ладно, зазуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.

Сейчас в полицию записку. У мужика часы нашли — и самого в кутузку. Он с недельку отсидел, домой воротился. И даже супу не идет хлебать, все думат, на царя сердце несет. Вот и придумал.

У царя семья така глупа была — и жена, и дочки, и маменька. Цельной день по окнам пялятся, кивают, кавалерам мигают, машут. Царь их никуда без себя не пускат в гости. Запоежжат на войну ли, на промысел — сейчас всех в верхной этаж созбират и на замок закроет.

А в окурат тот год, как промеж царем да Капитонком остуда пала, в царстве сахару не стало. Капитонко и придумал. Он в короб сору навалил, сверху сахаром посыпал да мимо царский дворец и лезет, пыхтит, тяжело несет... Царские маньки да ваньки выскочили:

— Эй, мужичок! Откуда эстольку сахару?

— На! Разве не слыхали? Заграничны пароходы за Пустым островом стоят, всем желающим отсыпают.

Ваньки-маньки к царю. Царь забегал, зараспоряжался:

— Эй, лодку обряжай! Мешки под сахар налаживай!

Аграфена с дочкой губы надувают:

— Опять дома сидеть... Выдал бы хоть по полтиннику на тино, в тиматограф сходить. Дома скука, вот так скука дома!

Царь не слушат:

— Скука? Ах вы лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, граммофон завели да... пол бы вымыли.

Вот царь замкнул их в верхнем этажу, ключ в контору сдал, мешки под сахар в лодку погрузили и, конешно, пива ящик на свою потребу. Паруса открыли и побежали за Пустые острова. С царем свиты мужика четыре. Провожающий народ на пристани остался. Все узнали, што царь по сахар кинулся. Капитонко украулил, што царя нету, сейчас модной сертук напрокат взял, брюки клеш, камаши с калошами, кепку, заместо бороды метлу, штобы не узнали. Потом туес полон смолы, пеку черного налил, на голову сдынул, идет по городу да вопит:

— Нет ли лбов золотить?! А вот кому лоб золотить?

К царскому дворцу подошел да как вякнет это слово:

— А нет ли лбов золотить?!

Царева семеюшка были модницы. Оне из окна выпехались, выпасть рады.

— Жалам, мы жалам лбов золотить! Только ты, верно, дорого спросишь?

— По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам которой затти?

— Мы сидим замчёны и гостей к себе на канате, на блочку подымам.

Вот они зыбочку спустили, тот примостился:

— Полный ход!

У Аграфены силы не хватат. Мужик тяжолой, да смолы полпуда. Аграфена девку да матку кликнула. Троима за канат ухватились, дубинушку запели:

Эх, што ты, свая наша, стала!
Эх, да закопершика не стало!
Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!

Затянули Капитона. На диван пали, еле дышут:

— Первой экой тяжелой мужик. Вы откулешны будете, мастер?

— Мы европейских городов. Прошлом годе англиску королеву золотом прокрывали, дак нам за услуги деплом из своих рук и двухтрубной мимоносец для доставки на родину. Опеть французскому президенту, извините, плешь золотили.

— А право есть?

Капитонко им стару квитанцию показыват, оне неграмотны, думают — деплом.

— А, очень приятно. Этого золота можно посмотреть?

— Никак нельзя. Сейчас в глазах ослепление и прочее. Во избежание этого случая, докамест крашу и полирую, глаз не отворять. Пока не просохнете, друг на дружку не глядеть и зеркало не шевелить.

Царицы жалко стало золота на бабку:

— Маменька-та стара порато, уж, верно, не гожа под позолоту-ту... Маменька, ты в позолоту хошь?

— Ась?

— Хошь, говорю, вызолотицце?

— Ась?

— Тьфу, изводу на тебя нету! Вот золотых дел мастер явился. Хошь, обработат?

— Ну как не хотеть? Худо ли для свово умиления к празднику вызолотицца!

Капитон их посадил всех в ряд.

— Глазки зашшурьте. Не моги никотора здреть!

Он смолы поваренкой зачерпнул — да и ну ту, да другу, да третью.

— Мастер, што это позолота на смолу пахнет?

— Ничево, это заготовка.

А сам насмаливает. Мажет, на обе щеки водит. У их, у бажоных, уж и волосья в шапочку слились.

А он хвалит:

— Ах кака прелись! Ах кака краса!

Те сидят довольнехоньки, только поворачиваются:

— Дяденька, мне этта ишше положь маленько на загривок...

Капитон поскреб поваренкой со дна. Потяпал по макушкам.

— Все! Ну, ваши величия! Сияние от вас, будто вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу.

Аграфену в одно окно посадил, девку в друго, а бабенька на балкончик выпросилась.

— Меня,— говорит,— на ветерку скоре захватит.

Мастеру некогда:

— Теперь до свидания, оревуар! Значит, на солнышке сидите, друг на дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротицца, вас по-

хвалит, по затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй.

Тут Капитон в окно по канату, да только его, мазурика, и видели.

У царя дом глазами стоял на площадь на большу, на торгову. Там народишку людно. Мимо царской двор народу идет, как весной на Двины льду несет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царска семья высмолены сидят, как голенишша черны, как демоны. Бабушка на балконе тоже как бугирь какой. Народ это увидел и сначала подумали, што статуи, негритянска скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, што шевелятся,— россудили, што арапы выписаны ко двору. А уж как царску фамилию признали, так город-от повернулся. Учали над черными фигурами сгогатывать. Ко дворцу со всех улиц бежат, по дороге завязываются. Матери ребят для страху волокут:

— Будете реветь, дак этим черным отдаим!

Мальчишки свистят, фотографы на карточку царскую семью снимают, художники патреты пишут...

О, какой страм!

Напротив царского дома учрежденье было — Земной удел. И тут заседает меницинской персонал. Начальники-ти и увидали царску фамилью в таком виде и народно скопленье. Не знают, што делать. И тут ише явились извошшишьи деликаты. На коленки пали и сказали:

— Господа начальники! Бабенька царская, прах с има, в черном виде на балконе сидят, дак у нас лошади бросаются, седоки обижаются, двоих седоков убило. Пропа-а-ли наши головушки! И-и-хы-хы-хы-ы!

Извошшики заплакали, и все заплакали и сказали:

— Пойдемте всенародно умолять ихны величия, не пожалеют ли, пожалусто, простого народу!

Вот запели и пошли всема ко дворцу. Выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошенье. Аграфена гумагой машет да кивает. И бабка ужимается, и девка мигает. Оне думают — народ их поздравлять пришел.

Што делать? Нать за царем бежать. А всем страшно: прийти с эдакой весью, дак захвоснет на один взмах. Однако главной начальник сказал:

— Мне жись не дорога. На бутылку даите, дак слетаю.

Чиновники говорят:

— Ура! Мы тебе ераплан либо там дерижаб даим, только ты его за границу не угони.

Начальник в ераплан вставился, от извошшиков деликат в кучера. Пары розвели, колесом завертели, сосвистели. Ух, порхнули кверху, знай держи хвосты козырем! Пока в городе это дело творицца, царь на Пустых островах в лютой досады сидит. Ехал ни по што, получил ничего. Ехал — ругался, што мешков мало взяли, приехал — сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахару; хоть плачь, хоть смейся. Сидит егово величие, пиво дует. В город ни с чем показаться совесно. Вдруг глядит — дерижаб летит. Машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал делать доклад:

— Ваше высоко... Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила... Личики свои в темном виде обнародовали. Зрителей полна плошшадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят...

Царь руками сплескался — да на дерижаб бегом. За ним начальник да деликат. Вставились, полетели. Деликат вожжами натряхиват, начальник колесом вертит, амператор пару поддает, дров в котел подкидыват... Штобы не так от народу совесно, колокольчик отвязал.

Вот и город видать, и царски палаты. На плошшади народишко табунится. Гул идет. Меницинской персонал стоит да кланеится. Мальчишки в свистюльки свистят, в трумпетки трубят. Царь ажно сбрусвянел:

— Андели, миру-то колько! Страм-от, страм-от какой! Деликат, правь в окно для устрашенья!

Народ и видит — дерижаб летит, дым валит. Рраз! В окно залетели, обоконки высадили, стекла посыпались, за комод багром зачалились.

Выкатил царь из машины — да к царицы.

— Што ты, самоедка... Што ты, кольско страшилишшо!

Аграфена засвистела:

— Ра-а-атуйте, кто в бога верует!!

Царь дочку за чуб сгорстал. У ей коса не коса, а смолена веревочка.

Царь на балкон. Оттуда старуху за подол ташшит, а та за перила сграбилась да пасть на всю плошшадь отворила.

Народ даже обмер. Не видали сроду да и до этого году. Еле царь бабку в комнату заволок:

— Стара ты корзина! Могильна ты муха! Сидела бы о смертном часе размышляла, а не то што с балкона рожу продавать.

Вот оне все трое сидят на полу — царица, бабка да дочка — и воют:

— Позолоту-ту сби-и-л, ах, позолоту-ту сгубил! Ах, пропа-а-ла вся краса-а!..

— Каку таку позолоту?!

— Ведь нас позолотили, мы сидели да сохли-и.

— Да это на вас золото??? Зеркало сюда!..

Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолены-ти рожи глаза розлепили, себя увидали, одночасно их в омморок бросило.

Полчасика полежали, опять в уме сделались. Друго запели:

— Держите вора-мазурика!.. Хватайте бродягу!

Царь кулаком машется:

— Сказывайте, как дело было.

Вот те в подолы высморкались, утерлись, рассказывают...

Царь слушал и сам заплакал:

— Он это! Он, злодей Капитонко, мне назлил... Он, вор, меня и из города выманил. Не семья теперь, а мостова асфальтова! Ишь пеком-то вас как сволокло... Охота народ пугать, дак сами бы сажи напахали, да розвели, да и мазали хари-ти... Дураки у меня и начальники. Кланяться пришли... Взяли бы да из пожарного насоса дунули по окнам-то. Холеры вы, вас ведь теперь надо шкрапить...

— Ничего, папенька, мы шшолоку наварим, и пусть поломойки личики наши кажно утро шоркают.

Царь побегал-побегал по горнице, на крыльцо вылетел.

Народишко, который ради скандалу прибежал, с крыльца шарахнулся.

Царь кричит:

— Стой! Нет ли человека, кто мужика со смолой в рожу видел?

Выскочили вперед две торговки, одна селедошница, друга с огурцами:

— Видели, видели! Мушшина бородатый в сертуке туда полз с туесом, а обратно порозной.

— В котору сторону пошел?

— А будто по мосту да в Заречье справил.

— Тройку коней сюда! — царь кричит.

Тройку подали. Царь с адъютантом сел, да как дунули-дунули, только пыль свилась да народ на карачки стал. Через мост, к зарецким кабакам, перепорхнули. Катают туда-сюда, спрашивают про Капитонка:

— Тут?

— Нет, не тут.

— Тут?

— Нет, не этта!

Вуди в канской мох мужичонко провалился... А Капитонко ведь там и был. Учуял за собой погоню — бороду, метлу-ту, отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье по полу месит.

— Ты, бабушка, с чем тут?!

— Чай пить средилась. А ты хто?

— Чай пить?! Смертной час пришел, а она чай пить... Царь сюда катит, он тя застрелит.

— Благодетель, не оставь старуху!

— Затем и тороплюсь. Скидовай скорей сарафанишко да платок, в рогозу завернись да садись под трубу заместо самовара.

Живехонько они переменились. Капитонко уж в сарафане да в платке по избы летат, самовар прячет, бабку в рогозу вертит, на карачки ей ставит, самоварну трубу ей на голову нахлобучил:

— Кипи!

Тут двери размахнулись, царь в избу. Видит — старуха около печки обрежаится:

— Вабка, не слыхала, этта мужик в сертуке мимо не ехал?

А Капитонко бабьим голосом:

— Как не видеть! Даве мимо порхнул, дак пыль столбом.

— В котору сторону?

— Не знай, как тебе россказать... Наша волость — одны болота да леса. Без провожатого не суниссе.

— Ты-та знашь место?

— Родилась тут.

— Бабка, съезди с моим адъютантом, покажи дорогу — найти этого мужика... А я тут посижу, боле весь росслаб, роспался... Справиссе с заданием, дак обзолочу!

Мазурик-то и смекат:

— Золотить нас не нать, а дело состряпам. Сидите, грейте тут самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем.

Капитонко в платок рожу пуще замотал — да марш в царску коляску. Только в лесок заехали, эта поддельна старуха на ножку справилась, за адъютанта сграбилась да выкинула его на дорогу; вожжи подобрала, да только Капитонка и видели.

А царь сидит, на столе чашки расставлят.

Бедна старуха под трубой — ни гу-гу.

На улице и темнеть стало. Царю скучно:

— Што эко самовар-от долго не кипит?

Его величество трубу снял, давай старухе уголье в рот накладывать... Удивляется, што тако устройство. Потом сапог скинул, бабке рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху еле жива, загудела она, зашумела, по полу ручей побежал...

Царь забегал:

— Ох-ти мне! Самовар-от ушел, а их чай пить нету. Скоре надо заварить...

Хочет самовар на стол поставить.

— На! Где ручки-те?

Старуху за бока прижал, а та смерть шшекотки боится: она как визгнет не по-хорошему... И царь со страху сревел — да на шкап. А старуху уж смех одолел. Она из рогозы вылезла.

— Ваше величество, господин амператор! Не иначе, што разбойник-от этот и был. Как он нас обоих обмакулил, омманул...

Ночью царь задами да огородами пробрался домой, да с той поры и запил, бажоной.

А Капитонко в заграницу на тройке укатил и поживат там, руки в карманах ходит, посвистыват.

СУДНОЕ ДЕЛО ЕРША С ЛЕЩОМ

Зачинается-починается сказка долгая, повесть добрая.

Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с малыми ребятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскуда́лся. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Володеет

озером рыба Лещ. Тут лещи — старожилы, тут Лещова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд: он челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, сударь рыба Лещ! Пусти меня, странного человека, на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное...

Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.

А Ерш ночь ночевал, и две ночевал... Год жил, и два жил!.. И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей, как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Три года лещи белого свету не видали, три года лещи чистой воды не пивали.

С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами от Петрова́ до покрова́. И по этой лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье привели.

Судья — рыба Сом с большим усом — сидит нога на ногу.

Говорит Лещ:

— Вот, господин судья... Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро Онего век было Лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма, и грамоты, и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников, не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил, выпросился у меня в Онеге ночь перележать. И я за его сиротство, ради малых ребят на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал, и две ночевал. Год жил, и два жил... И теперь ершей в озере впятеро больше против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у их, что лютые рогатины. И они по озеру нахвально похаживают, лещей под ребра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок худыми словами лают. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей Лещовой таланести взяли мы Ершишко Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!

Говорит судья — рыба Сом:

— Каки у тя, Леща, есть свидетели, что озеро ваше, лещово?

Лещ говорит:

— Нас, лещей, каждый знает. Спроси рыбу Семгу да рыбу Сига. Живут в озере Ладожском.

Спрашивает судья Ерша:

— Ты, ответчик Ерш, шлесся ли на таковых Лещовых свидетелей, Семгу да Сига?

Ерш отвечает:

— Слаться нам, бедным людям, на таковых самосильных людей, Семгу и Сига, не мочно. Рыба Семга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.

Судья говорит:

— Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делает... Еще какие у тебя есть свидетели-посредственники?

Лещ говорит:

— Еще знают мою правду честна вдова Щука да батюшко Налим. Живут в Неве-реке, под городом Питером.

Спрашивает судья Сом:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли в свидетели?

Ерш в уме водит: «Рыба Налим — у его глаза малы, губища толсты, брюхо большо, ходить тяжело, грамотой не доволен. Он не пойдет на суд. А Щука — она пестра, грамотой востра, вся в меня, в Ерша. Она меня не выдаст».

И Ерш говорит:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим — то общая правда, на тех шлюся.

Посылает судья — рыба Сом — Ельца-стрельца, пристава Карася, понятого Судака по честну вдову Щуку, по батюшку Налима.

Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюшку Налима искать. День искали и два искали, не пили не ели и спать не валились. На третьи сутки — день к вечеру, солнце к западу — увидали под островом Васильевским колодину. Колодину отворотили — под колодиной батюшко Налим сидит.

Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:

— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовет тебя судья — рыба Сом с большим усом — во славное озеро Онего во свидетели.

— О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо

больше, мне идтить тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы — далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна... Нате вам по гривенке. Не иду на суд!

Привели на суд Щуку.

Суд завелся.

Вот судья — рыба Сом — сгремел на Ерша:

— Сказывай, ответчик Ерш, каки у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?

И Ерш ответ держит:

— У моего-то папеньки была в озере Онежском избишка, в избишке были сенишки, в сенишках была клетишка, а в клетишке сундучишко под замчишком. В этом сундучишке под замчишком были у меня, доброго человека, книги, и грамоты, и судные записи, что озеро Онего — наша, ершова вотчина. А когда, грех наших ради, наше славное Онего горело, тогда и тятенькина избишка, и сенишки, и клетишка, и сундучишко под замчишком, и книги, и грамоты, и судные записи — все сгорело, ничего вытащить не могли.

В те поры Леща, и Щуку, и всех добрых людей, которые рыбы из озера Онега, горе взяло:

— Врешь ты, страхиля! Нища ты коробка, кисла ты шерсть! Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!

А Ерша стыд не имет. Он заржал не по-хорошему да опять свое звонит:

— Был у моего тятеньки дворец на семи верстах, на семи столбах. На полатях бобры, под полатями ковры — и то все пригорело... А нас, ершей, знают в Питере, и в Москве, и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа, с похмелья кушавши, поздравляют...

И честна вдова Щука не стерпела:

— Нищая ты копейка! На овчине сидишь, про соболи сказываешь! Тридцать ты лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя, Ерша, знает да ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню купят. А и уху сварят — не столько наедят, сколько расплюют.

И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:

— Вот тебе раз! Другой бабушка даст!

И Щука запастила во весь двор:

— Караул, убивают! А озеро Онего век было Лещово, а не Ершово! Лещово, а не Ершово!

Судья возгласил:

— Быть по сему! Получай, Ерш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.

Ерш в ответ:

— На ваши суды плюю и сморкаю!

И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честно́й братии, только его и видели.

Пошел Ершишко, пошел хвастунишко на худых санишках о трех копылишках с малыми ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам. По пути у Леща в дому все окончательно выхвостал...

Из Онега-озера Ерш на Белоозеро, с Белаозера в Волгу-реку.

Река Волга широка и долга.

Стоит в Волге-реке Осетер. Тут Осетрова вотчина и дедина.

Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, рыба Осетер! Пусти меня в Волге-реке одну ночь перележать. За то тебя бог не оставит. Родителям вашим царство небесное...

А рыба Осетер хитра и мудра. Она знает Ерша.

— Не пущу!

Ерш на него с кулаками. Ерша схватили, с крыльца спустили.

Ерш придумывает: «Рыба Осетер хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетер в гости пойдет и невода не минует».

Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со желтым песком смешалась.

Стали люди поговаривать:

— О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили...

Люди невод сшили, стали рыбу промышлять. А рыба Осетер хитра-мудра: видит, вода мутна — и она дома сидит, в гости не ходит.

Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.

— Эй ты, Осетрина, старая корзина! Отпирай окна и двери, будем драться четыре недели. И я тебе голову оторву. Схожу сейчас пообедаю и приду тебя, Осетра, убивать.

Пошел Ершишко обедать да и попал в невод. Из

невода в медный котел. Уху из Ерша сварили, хлебать стали. Не столько съели, сколько расплевали. А хоть рыба костлива, да уха хороша...

Сказка вся, больше врать нельзя.

ДИВНЫЙ ГУДОЧЕК

У отца, у матери был сынок Романушко и дочка — девка Восьмуха. Романушко — желанное дитятко, его хоть в воду пошли. А у Восьмухи руки загребущие, глаза завидущие.

Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи мхи, родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать.

Матка им говорит однажды:

— Тятенька из-за моря поясок привез атласный лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс.

Пришли ребята на мох, берут ягоду-морошку. Брателко все в коробок да в коробок, а сеструха все в рот да в рот.

В полдни стало жарко, солнечно.

У Романушки ягод класть некуда, а у Восьмухи две морошины в коробу катаются и те мелки и зелены.

Она и сдумала думку и говорит:

— Братец, солнце уж на обеднике! Ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать.

Романушко привалился к сестре в колени. И только у него глазки сошлись, она нанесла нож да и ткнула ему в белое горлышко... И не пуховую постелю постилает, не атласным одеялом одевает,— положила брателка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мохом. Братневы ягодки себе высыпала. Домой пришла, ягоды явила:

— Без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс!

— Романушко где-ка?

— Заблудился. Его лесной царь увел.

Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили... Романушко не услышал, на звон колокольный не вышел. Только стала над ним на болотце расти кудрявая рябина.

Ходят по Руси веселые люди — скоморохи, народ утешают песнями да гуслями. Поводырь у скоморохов свет Вавило. И пришли они на белые оленьи мхи, где Романушко лежит. Видит Вавило рябинку, высек тесинку, сделал гудо́к с погуда́лом. Не успел погудальце на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально:

Скоморохи, потихоньку,
Веселые, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Продрожье взяло скоморохов:

— Эко диво, небывалое дело! Гудок человеческим языком выговаривает!

А Вавило-скоморох говорит:

— В этом гудке велика сила и угодье.

Вот идут скоморохи по дороге да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились:

— Пусти, хозяин, веселых людей — скоморохов!

— Скоморохи, здесь не до веселья! У нас сын потерялся!

Вавило говорит:

— На-ко ты, хозяин, на гудке сыграй. Не объявится ли тебе какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок:

Тятенька, потихоньку,
Миленький, полегоньку!
Зла меня сестрица убила,
В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Мать-то услыхала! Подкосились у нея с колен резвы ноженьки, подломилися с локот белы рученьки, перепало в груди ретиво сердце:

— Дайте мне! Дайте скорее!..

Не поспела матерь погудальце на гудок наложить, запел гудок, завыговаривал:

Маменька, потихоньку,
Родненька, полегоньку!

Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Пала мать на пол, клубышком закаталась... И почто с печали смерть не придет, с кручины душу не вынет!

Сошлась родня и вся порода, собрались порядовные соседи. Ставят перед народом девку Восьмуху и дают ей гудок:

— На-ко, ты играй!

Побелела Восьмуха, как куропать. Не успела погудальце на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно:

Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку!
Ты меня убила,
В белые мхи схоронила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Восьмуха шибла погудальце об пол. Вавило подхватил да стегнул девку в пояс. Она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем.

Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавило повелел снять мох под рябиной...

Мать видит Романушку, бьет ладонями свое лицо белое.

А Вавило говорит:

— Не плачьте! Ноне время веселью и час красоте!

Заиграл Вавило во гудочек, а во звончатый во переладец, и народ запел:

Грозная туча, накатися,
Светлы дожди, упадите!
Романушко, убудися,
На белый свет воротися!

И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром. Над белыми мхами развеличилось облако и упало светлым дождем на Романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился. Из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мха горностаюшком. Людям на диво, отцу-матери на радость, веселым людям — скоморохам на славу.

ПОЙГА И ЛИСА

Жил юный Пойга Корелянин. Жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кули́мана[1], дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У Лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит — на воде карбас, в нем спят. На берегу девица, не спит. Ночь летняя, сияющая.

Пойга испугался красоты этой девицы:

— Ты не звезда ли утренница?

Она засмеялась:

— Если я звезда, ты, должно быть, месяц молодой. По сказкам, он гоняется за утренней звездой.

— Чья же ты?

— Я дочь вдовы Устьянки. В карбасе моя дружина, пять уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу.

Пойга взмолился к ней:

— Девица, подожди здесь! Я тебе гостинец принесу, лисичку.

Он к ловушкам поспешил к своим — туда залезли Лисьи дети. Он обрадовался: «Не худой будет подарок для девицы».

И тут прибежала Лисья мать. Стала бить челом и плакаться:

— Пойга, милый, отдай мне моих детей!

Он говорит:

— На что много плачешь, Лиса? Мне твое горе внятно. Меня самого шведская Кулимана обидела. Возьми детей.

Пока Лиса да Пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь и уплыла домой...

Пойга опять идет вниз по реке.

На новый месяц догоняет его Лисья мать. Пойга удивился:

— Ты на кого детей-то бросила?

Лисица говорит:

— Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею.

---

[1] Кули́мана, шведка Кулимана.— В преданиях карелов сохранилась память о «свейских нагонах» (шведских набегах), которые бывали на Севере в XVI веке. Отсюда сказочная «шведка Кулимана».

Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит:

— Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки?

— У меня серебряных копеек пять.

Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит:

— Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку-четверик: хочет жито мерить.

— Возьми.

Лисица принесла мерку в шатер, запихала в заклеп две серебряные денежки и несет мерку обратно:

— Государыня Устьянка, дай меру побольше — четвериком мерить долго.

Вдова дала Лисе полмеру и говорит дочери:

— Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое «жито» меряют, хитряги!

Лиса опять там в полмеру за обруч влепила три серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять приметила серебро, однако виду не подала, спрашивает:

— Для какого случая зерно-то меряли?

— Жениться собирается.

— Пожи́точному человеку что собираться? Посватался — и все.

— Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать.

Вдова говорит:

— Надобно жениха-то в лицо поглядеть.

Ведет Лисица Пойгу на смотрины и думает: «Не гораздо ты, жених, одет. В чем зверя промышляем, в том и свататься идем». А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото.

На сухое место выбрался, заплакал:

— Испугается меня теперь невеста. Скажет, черт из болота вылез...

А Лиса над ним впокаточку хохочет:

— Сохни тут, тетеря косолапая! Я хорошую одежу принесу.

Лисица к Устьянке прилетела:

— Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе! К вам на смотрины торопился, на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел.

Вдова зашумела на Лису:

— Как это назад пошел?! Глупая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежу. Пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам.

Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой в сенях:

— Ты виду не показывай, что мы встречались.

Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя: глянется ему кафтан василькового сукна, с серебряными пуговками.

Вдова и шепчет Лисе:

— Что это жених-то только на себя и смотрит?

Лисица отвечает:

— Он в соболях, в куницах ведь привык ходить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике.

Вдова и говорит Пойге:

— Ну, добрый молодец, сидишь ты — как свеча горишь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне и дочке по уму, по сердцу, Однако, по обычаю, надо съездить посмотреть твой дом, твое житье-бытье.

Пойга смутился: как быть? Ведь дом-то шведка схватила.

А Лиса ему глазком мигает, чтобы помалкивал, и говорит:

— Обряжай, Устьянка, карбас. Возьми в товарищи уверенных людей, и поплывем смотреть житье жениховo. Не забудь взять в карбас корабельный рог.

Вот плывет дружина в карбасе: Устьянка с дочкой, Пойга, да Лиса, да пять уверенных старух. Подвигались ме́шкотно: по реке пороги каменные; однако до вершины добрались.

На заре на утренней Лисица говорит:

— Теперь до нашего житья рукой подать. Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдет, что есть силы в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно.

Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит-храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро: шкуры лисьи, куньи, беличьи, оленьи.

В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел — затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может.

А Лисица верещит:

— Дождалась беды, кикимора? Это Русь трубит!

Кулимана по избе бегает, из угла в угол суется, лисиц, куниц под печку прячет:

— Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?

Лиса говорит:

— Твои слуги-кнехты где?

Кулимана вопит:

— Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей, а теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад. Так летят, что пуля не догонит.

Лиса говорит:

— Тебе, чертовка, надо спрятаться. Я при дороге бочку видела. Лезь в эту бочку.

Кулимана толста была, еле запихалась в бочку.

Лисица сверху крышку вбила:

— Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана. Не пыши и не дыши. Я потом велю тебя в сторонку откатить.

А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет.

Лиса к нему бежит:

— Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну-ка, гостьюшки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтоб не рассохлась.

Пять уверенных старух мигом подкатили бочку к берегу и бухнули с обрыва.

Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет.

Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит:

— Дом у тебя как город! И стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшка и тебе помощница.

Вот сколько добра доспела Пойге Лисья мать за то, что он ее детей помиловал.

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само последно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в го́род за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет óногды с этими деньгами, видит — мужик собаку давит:

— Мужичок, вы пошто шшенка мучите?

— А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.

— Продай мне собачку.

За копейку сторговались. Привел домой:

— Мама, я шшеночка купил.

— Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат!

Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.

— Мужичок, вы пошто опять животину тираните?

— А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу.

— Продай мне.

Сторговались за две копейки. Домой явился:

— Мама, я котейка купил.

Мать ругалась, до вечера гудела.

Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки.

Идет, а мужик змею давит.

— Мужичок, што это вы все с животными балуете?

— Вот змея давим. Купи?

Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:

— Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.

Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:

— Мама, я змея купил.

Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит:

— Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хороша квартира не отделана.

Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера, Ванька с мамой да змея Скарапея.

Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени не спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит. Скарапея не хочет здеся жить:

— Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!

Змея по дороги — и Ванька за ей. Змея в лес — и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высока стена городова с воротами. Змея говорит:

— Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извошыка, поедем во дворец.

Ко крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скарапея наказыват:

— Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно — золóтно, волшебно.

Змеиной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.

— По-настояшшему,— говорит,— вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговоренной. А мы вас деньгами отдарим.

Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.

Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?

— Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да...

Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит:

— Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?

— Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!

— Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!

Матка в анбар двери размахнула, да так головой в муку и ульнула.

— Ваня, откуда?

Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платьё модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик.

Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.

Опять Ванька и говорит:

— Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочерь.

— Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?!

— Иди сватай, не толкуй дале.

Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу налóжила и побрела за реку, ко дворцу. В палату зашла, на шляпы кажной цветок трясется. Царь с царицей чай пьют сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала середи избы под матицу:

— Здрасте, ваше велико, господин анператор. У вас товар, у нас купец. Не отдаите ли вашу дочерь за нашего сына взамуж?

— И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать на ответ:

— Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.

Царица даже чай в колени пролила:

— Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак подет ли наша девка за мужика взамуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем жениховo житье смотреть.

Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:

— Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила...

— На! Неужели не согласны?

— Обрадовались... Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут жаниховo житье смотреть.

— Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскими палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

— Халера бы их взела с ихной непрерывкой... То субботник, то воскресник, то ночесь работа...

А Ванькина семья с вчера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились... На! што случилось!.. Лежат на золоченных кроватях, кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занавéсы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а лампы горят... Толь богато! На крыльцо

выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

— Ну, мама,— Ванька говорит,— оболокись помодне́ да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдернула, барыной нарядилась, шлейф распустила, зонтик отво́рила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул,— она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

— Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйте работу принимать.

Царь к окошку, глазам не врит:

— Мост?! Усохни моя душенька, мост!..

По комнаты забегал:

— Карону суда! Пальтё суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптической омман здренья.

Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат... А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:

— Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать...

Царь не знат, што делать:

— Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?

Царица руками-ногами машет:

— Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!

Тут вся свита зауговаривала:

— Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!

Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита на запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит.

Царя да царицу той же минутой укачало — они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью, середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с

подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не примают:

— Ох, тошнехонько... Ох, укачало... Ух, растресло, растрепало... Молодой человек, мы на все согласны! Бери девку. Только вези нас обратно. Домой поворачивай.

Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троих сенотóров в драки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в заграницы хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:

— Супруг любезной, ну откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и россказал. Как только он зáспал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:

— Што, нова хозейка, нать!..

— Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живет.

Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежной избушке оказались. Только Иванко и жонат бывал, только Егорович с жопой сыпал! Все четверо сидят да плачут.

А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в темпу. Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:

— Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай, побежим до города Парижа к той б...и Ванькино кольцо добывать.

Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима.

Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоит середи города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спрета-

лась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройство знакомо.

Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевны в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед има река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось — как попасть? Собака не долго думат:

— Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепяхну.

Кошка говорит:

— Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.

— Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!

Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается:

— Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!

Кошка ответить некак, рот занет...

Берег недалеко. Собака опеть:

— Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не вырони кольца!

Кошка и бякнула:

— Да не уроню!

Колечко в воду и булькнуло...

Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются.

Собака шумит:

— Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!

Кошка не отстават:

— Последня тварь — собака! Собака и по писанью погана... Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!

А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:

— Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.

Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись да свое кольцо и нашли...

Дак уж, андели! От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.

Собака домой, а кошка к тюрьмы.

По тюремной ограды на виду ходит, хвос кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:

— Кыс-кыс-кыс!!

Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.

Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.

А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.

МАРТЫНКО

Мартынко с артелью матросов в море ходил, и ему жи́ра была хорошая. Хоть на работу не горазден, а песни петь да сказки врать мастер, дак все прощщали. С англичанами, с норвежанами на пристанях толь круто лекочет, не узнать, что русский. Годы подошли, взели на военную службу. Послали караульным в стару морску крепость. Место невесёло, начальство строго, навеку бедной парень эдак не подчинялся, не покорялся.

Вон оно́гды на часах у складов и видит: подъехали конпания лодкой и учали в футбол играть. Мартына и раззадорило:

— Нате-ко меня!

Ружье бросил и давай с ребятами кубарем летать.

В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать. Ей от Мартынова пинка мяч в

зубы прилетел и толь плотно сел, дак фельшер до вечера бился, добывал.

Мартынку утром суд. Перва вина, что благородной дамы в рот грезной футбол положил, втора вина — с поста убежал. На ночь замкнули в башню. Башня заброшена — хлам, пыль, крысы, паутина. Бедной арестант поплакал, полежал у порога, и захотелось ему исть. В углу стол. Не завалялось ли хоть сухаря в ящике? Дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул,— как огнем осветило — карт колода золотых, на них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет:

— Тебе с огнем играть!!!

Тут на карты обзадорился, тут сели играть. И видит Мартынко — карты сами ходят, сами на хозяина играют. Часовой арестанту в минуту все гроши продул.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: «Я этими картами жить зачну». Часовому долг простил, выгонил его, в потеменки раму вынял, железно прутье вышатал да окном и выпал.

Утром арестанта хватились, а он уже в городе, в порту похаживат. В портерной иностранного кептена присмотрел, ему карты показал. Кептен ум потерял, сел с Мартыном,— не то что деньги, с себя мундир проиграл. Мартынко говорит:

— За проигрыш перепехни меня за море на своем пароходе.

Вот Мартынко в заграничном городе разгуливат по трактирам да по пивным. Где карты явит, там люди одичают. Мартынко один с барышом. Денег стало черту на печь не закинуть. Тогда загрустил: «Мне это низко, желаю по своим капиталам в высшее общество». Заказал брюки клеш, портянки сатиновы, нанял такси:

— Вези в трактир, куда первостатейны господа ездят.

Ну, завезли в самолучшей ресторан. Зеркала до потолку, посуда, самовары, публика ослепительно одета.

«А что тако,— думат Мартын,— нисколько не совестно за свои деньги...»

— Эй, молодцы, бутылку водки!

Чтобы ловкость показать — и штопору не взел, а по-мужицки о долонь половинкой как хватит. Пробка соседке в плеш, водка соседу во что ешь... Тотчас вся

зала заверешшала, налетели господа с орденами в лентах:

— Вон отсюда, невежа! Твое место под забором с бродягами распивать!..

— На свои пью, не на ваши!

— Ты понимаешь, куда забрался? Этта генералитет, а которы есть и министры, чай пить соизволяют. Король приворачиват. Этта рюмка водки рублем пахнет.

Потащили бажоного вон за шиворот. Бажоный затужил:

— Вот как! Вот как!! Набывался в высшем свете.

За прилавок зачалился, карты из-за пазухи вывернул:

— Предлагаю сразиться в картишки.

Эких карт на веку никто не видывал. Льзя ли отказаться? И проиграла почтенна публика и коней и кореты, и одежду и штиблеты. Мартынко ихни брюки да сертуки нафталином посыпат да в ломбард отправлят. Далее удоволился, говорит:

— Содвигай столы! Угощаю пострадавших за свой счет!

Этим генералам да профессорам все одно делать нечего. Голой домой не побежишь. У кого дома телефон, позвонили, чтобы костюм послали, у кого телефона нет,— с запиской лакея турнули, а сами сели закусить. Мартынко выпил и отмяк:

— Друзья! Наша игра не более как милая штука. На фига мне ваши клячи да кареты. Получай обратно ламбардны квитанции. Пущай всяк при своем!

Тут хмель сборол Мартынка. Он поговорил, песенку еще спел да и растянулся на полу.

Дежурной генерал с докладом к королю:

— Явился в ресторане субъект, с первого взгляду малостоющий. Выкинул на прилавок необыкновенные карты и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигрыши не токмо простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удоволил.

Король говорит:

— Эта личность где сейчас?

— Где гулял, тамотки и повалился.

Король туда лично пальнул в легковом автомобиле, спрашиват лакеев:

— Где-ка гостя-то положили?

— Они сами под стол удалились.

Мартына ростряслм, душетырного спирту дали понюхать, в сознание привели. Король с им за ручку поздоровался:

— Мимо ехал — и вдруг жажда одолила, не иначе с редьки. К счастью, вспомнил про этот лесторан.

Мартынко осмелел:

— Ваше королевское величие, окажите монаршее внимание с выпитием рюмочки при надлежашшей закуске.

— Ха-ха-ха! Вы в состоянии короля угошшать?

Мартын сидельцу мигнул, лакеи полон стол наносили. Король сколько сам уписыват, боле в чемодан складыват:

— Деточкам свезу гостинчика.

— Не загружайте тары эким хламом, ваше величие. Есть у нас кока с соком в чемодан ложить.

— Это вы не про карты ли?

— Имеются и карты.

Король колоду позадевал:

— Этих картов я и на всемирной выставки не видел.

Сели за зелено сукно. И проиграл король Мартыну деньги, часы, пальто, автомобиль с шофером. Тогда расстроился:

— Тошнехонько машины жалко. Летось на именины ото всей инперии поднесёна...

— Ваше величие! Папаша всенародной! Это все была детская забава. Велите посторонним оставить помещение.

Король выпнул публику, заложил двери на крюк, подъехал к Мартынку. Нас бы с вами на ум, Мартына на дело. Говорит:

— Ваше велико! Держава у вас — место самое проходное. В силу вашего географического положения пароходов заграничных через вас плывет, поездов бежит, еропланов с дипломатами летит ужасти сколько. Никакому главному бухгалтеру не сосчитать, сколько через вас иностранного купечества со своима капиталами даром пролетит и проплывет... Ваше велико! Надеюсь, вы убедились, кака сила в моих картах... Поручите мне осударственну печать, посадите меня в главно место и объявите, что без пропуска и штенпеля нету через вашу границу ни пароходу проходу, ни ероплану пролету, ни на машине проезду... Увидаете, что будет.

Король троекратно прокричал ура и объявил:

— Министром финанцевым быть хошь?

— Велите, состоим-с!

— Завтра в обед приходи должность примать.

Отвели под Мартына семиэтажной дом, наголо окна без простенков. По всем заборам наклеили, что «через нашу державу без пропуска и министерской печати нет ни пароходу проходу, ни на ероплане пролету, ни на машине проезду».

Вот Мартын сидит в кабинете за столом, печати ставит, а ко столу очередь даже во всю лестницу.

Иностранно купечество, дипломаты — все тут. Новый министр пока штемпель ставит, свои карты будто ненароком и покажет. Какой капиталист эти карты увидал, тот и ум потерял. Не только что наличность у Мартына оставит — сколько дома есть денег, все телеграфом сюда выпишет.

Ну, Мартынкино королевство разбогатело. Сотрудникам пища пошла скусна. Ежедень четыре выти, у каждой перемены по стакану вина. В каком прежде сукне генералы на парад сподоблялись, то сукно теперь служащи завседенно треплют.

Однако соседним государствам ужасно не понравилось, что Мартынко у них все деньги выманил. Взяли подослали тайных агентов — какой бы хитростью его потушить.

Тут приходит вот како дело рассказать. У короля была дочерь Раиска. И она с первого взгляду влюбилась в нашего прохвоста. Где Мартынко речь говорит или доклад делат, она в первом ряду сидит, мигает ему, не может налюбоваться. Из газет, из журналов Мартынкины портреты вырезат да в альбом клеит. Уж так его абажат. А она Мартыну ни на глаза. Он ей видеть не может, бегом от ей бегат. Однажды при публике выразился:

— Эту Раиску увижу, меня так блевать и кинет!

Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайны агенты других держав и довели до сведения Раиски... Любовь всегда слепа. Несчастна девица думала, что ейна симпатия из-за скромности на нее не глядит. А тут, как ужасну истину узнала, нахлопала агентов по харе, также отдула неповинных фрелин и упала в обморок.

Как в себя пришла, агенты говорят:

— Вот до чего довел вас этот тиран. Конешно, де-

ло не наше, и мы этим не антиресуимся, а только напрасно ваш тятенька этого бродягу в главно место посадил. Вот дак министр с ветру наскочил! И вас своими секретами присушил. Такого бы без суда в нужнике давно надо утопить. Но мы вас научим...

Утром получат Мартынко записку:

«Дорогой министр финанцев! Пожалуте выпить и закусить к нам на квартеру антиресуимсе каки таки у вас карты известная вам рая».

Мартынко этой Раи боитсе, а не идти неможно,— что он у ней с визитом не бывал.

Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угошшения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду. А Раиска речь пересекла:

— Я слыхала, у вас карты есь бутто бы золоты? Я смала охвоча карты мешать.

И зачала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой — все продула гостю.

Тут он домой сторопился:

— Однако поздно. На прошшанье дарю вам обратно ваши уборы. Мне-ка не нать, а вам от папы трепка.

А Раиска нахальне:

— Я бы все одно в суд подала, что у тебя карты фальшивы.

— Как это фальшивы?

Она искусственно захохотала:

— А вот эк!

Выхватила колоду да к себе под карсет.

— Докуль у меня рюмку-другу не выпьете, дотуль не отдам.

Делать нечего. Дорогой гость две-три рюмочки выкушал и пал на ковер. В графине было усыпаюшшее зелье. Шпионы выскочили из-за ширмов, раздели сонного догола и кошелек нашли. Тело на худой кляче вывезли далеко в лес и хвоснули в овраг, куда из помойных ям вываливают.

На холоду под утром Мартын очнулся. Все вспомнил:

— О, будь ты проклята, королевнина гостьба! Куда теперь подамся, нагой, без копейки?

Како-то лохмотье вырыл, завесился и побрел лесом. Думат: «Плох я сокол, что ворона с места сбила».

И видит: яблоки растут белого цвету.

— Ах, как пить охота!

Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных.

Вот дак приужахнулся бедный парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что на меня за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря у дикого. О, задавиться ли, утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучче с хичныма хехенами и со львами.

Во слезах пути-дороженьки не видит и наткнулся опять на яблоню. Тут яблочки красненьки, красивы.

— Объистись разве да умереть во младых летах?..

Сгрыз яблоко, счавкал друго,— головы-то ловко стало. Рукой схватился и рога, как шапочку, сронил. Все тело согрелось, сердце звеселилось и напахнула така молодось, дак Мартын на голове ходить годен.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: этих красных молодильных яблоков нарвал, воротился на старо место, рогатых яблоков натряс, склал за пазуху и побежал из лесу.

Дорога в город повела, а Мартынко раздумался: «В эдаких трепках мне там нельзя показаться. В полицу заберут».

А по пути деревня, с краю домик небольшой — и старуха кривобока крыльцо пашет. Мартынко так умильно:

— Бабушка, дозвольте в ызбу затти обогреться. Не бойтесь этих ремков, меня бродяги ночесь раздели.

Старуха видит: парень хоть рваной, а на мазурика не похож — и запустила в кухню. Мартынко подает ей молодильного яблока:

— Баба, на-ко съешь!

Баба доверилась и съела.

— Парень, чем ты меня накормил, будто я вина испила?

Она была худа, морщевата, рот ямой; стала хороша, гладка, румяна.

— Эта я ли? Молодец, как ты меня эку сделал? Мне ведь вам нечем платить-то!

— Любезна моя, денег не надо. А нет ли костюма

на мой рост — мужнева ли, братнева ли? Видишь, я наг сижу.

— Есь, дитетко, есь!

Отомкнула сундук.

— Это сынишка моего одежонка. Хоть все понеси, андел мой, благодетель!.. Оболокайся, я самоварчик согрею.

Мартыну гостить некогда. Оделся в простеньку троечку и в худеньки щиблеты, написал на губы усы, склал свои бесценны яблоки в коробок и пошел в город.

У Раискиных ворот увидал ейну стару фрелину:

— Яблочков не прикажете-с?

— Верно, кисляшши.

— Разрешите вас угостить.

Подал молодильного. Старой девки лестно с кавалером постоять. Яблоко на обе шшоки лижот. И кряду стала толста, красна, красива. Забыла спасибо сказать, полетела к королевны:

— Раичка, я-та кака!

— Машка, ты ли? Почто эка?

— Мушшина черноусой яблочком угостили. Верно, с этого... У их полна коробка.

— Бежи, ростыка, догоняй. Я куплю, скажи: королевна дорого даст!

Мартынка того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машки:

— Это для барыни. Высший сорт. Пушшай едят на здоровье. За деньжонками потом зайду.

Раиска у себя в спальны зеркалов наставила, хедричество зажгла, стала яблоки хряпать:

— Вот чичас буду моложе ставать, вот чичас сделаюсь тельна, да румяна, да красавица...

Ест яблоко и в зеркало здрит и видит — на лбу поднелись две россохи и стали матеры, и выросли у королевны рога долги, кривы, кабыть оленьи.

Ну, уж эту ночку в дому не спали. Рога те и пилой пилили, и в стену она бодалась — все без пользы.

Как в зеркало зглянет, так ей в омморок и бросат.

Утром отправили телеграмму папаше, переимали всех яблочных торговцев, послали по лекарей.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: наклеил бороду, написал морщины, наложил очки. Срядился эким профессором и с узелочком звонится у королевиной квартеры:

— Не здесь ли больная?

— Здесь, здесь!

Раиска лежит на постели, рошшеперя лапы, и рога на лямках подвешаны. Наш дохтур пошшупал пуп — на месте ли, спросил, околько раз до ветру ходила, и были ле дети, и были ле родители, и не сумашеччи ле были, и папа пьюшшой ле, и кака пинтература?

Также потребовал молоток, полчаса в пятки и в темя колотил и дышать не велел. Тогда говорит:

— Это вполне научное явление с рогами. Дайте больной съись два куска мыла и ташшыте в баню на снимок.

Она ела-ела, тогда заревела:

— О, беда, беда! Не хочу боле лечицца-а! Лучче бы меня на меленки смололи-и, на глину сожгали, на мыло сварили-и!

Тут Мартын выгонил всех вон и приступил накоротки:

— Я по своей практике вижу, что за некотору подлось вам эта болесь!

— Знать ницего не знаю, ведать не ведаю.

Тогда добрый лекарь, за рога ухватя, зачал ей драть ремнем:

— Признавайся, дура, не обидела ле кого, не обокрала ле кого?!

— О, виновата, тепере виновата!

— В чем виновата?

— У тятенькиного министра карты высадила.

— Куда запехала?

— Под комод.

Мартын нашел карты. Достал молодильные яблоки:

— Ешь эти яблоки!

— О, боюсь, боюсь!

— Ешь, тигра рогатая!

Она яблоко съела,— рога обмякли и отпали; друго съела — красавица стала.

Была черна, суха, стала больша, красна, налита!

Мартынко взглянул, и сердце у него задрожало. Конешно, против экой красоты кто же устоит! Глядел, глядел, дале выговорил:

— Соблаговолите шайку воды.

Подала. Он бороду и краску смыл. Раиса узнала,— где стояла, тут и села.

Мартынко ей:

— Рая, понапрасну вы на меня гору каменну несли. Это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть, а тепериче страстно абажаю.

Дальше нечего и сказывать. Свадьба пошла у Мартынка да у Раиски. Песни запели, в гармонь заиграли.

Вот и живут. Мартынко всех в карты обыгрыват, докуль этих карт не украдут. Ну, а украдут, опять и выпнут Мартына.

ДАНИЛО И НЕНИЛА

В некотором месте королёшко был старой, утлой, только тем поддярживался, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натакали знающу старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, ушки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра — Данилко да Митька, по матери Девичи.

Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он с мала вралина был, рева и ябеда. Братья много из-за него дёры схватили. И в училище Данило впереди учителя идет, а Федька по четыре года в каждом классе.

Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец и богатырь; высок — под полати не входит. И Митька в пару. А Федька-королек — чиста облизьяна. Отчишко оногды спьяна розмяк, своей шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточку-то уж не набавил.

А хоть сморчок — да королю сын. Куда поедет — на мягких подушках развалится, а Данило — красавец, да на облучке сидит.

Вот однажды Федькин отчишко прилетел с рынку, тычет наследника тросью:

— Ставай, дармоедина! Счастье свое просыпаш! Соседка наша Ненила Богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихи-ти идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, дак сказывают. А добычи-то военной, добра-то пароходами притянула! Деветь неверных губерен под свою руку привела. Небось не спала!!

— Я, папенька, воевать боюсь.

— Где тебе воевать, обсечек короткой! Тебе чужо царство за женой надо взять... Ох, не мои бы годы!.. Ненилка-та — красавица и молода, а сама себя хранит как стеклянну посуду. А работница! Бают, жать подет, дак двенадцать суслонов на упряг. А сенокосу-то у ей, пашни-то! Страм будет, ежели Ненилину отчину, соседню, саму ближню, чужи люди схватят.

— Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю.

— Ты-то любишь, да сам-от не порато кус лакомой. Ей, по сказкам-то, матерого да умного надо. Испытанья каки-те назначат, физическу силу испытыват. Однако поезжай.

— Я Данилку возьму.

— Да ведь засмеют. Ты ему до пупа!

— Адиеты! Кто же будет ровнеть мужика с королями.

Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на четыре. А у Данила каблуки отрубили. Дале — Федьке под сертук наложили ватны плечи и сверьху золоты аполеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Ненилином городе. Чайку на пристани попили и к девети часам пошли на прием к королевы. Дворец пондравился — большой, двоепередой, крашеной, с подбоями, с выходами. Думали, впереди всех явятся, а в приемной уж не мене десятка женихов и сватовей. Королек спрашиват секретаря:

— Королева принимают?

— Сичас коров подоят, и прием откроитсе.

А публика на Данила уставилась:

— Это какой державы богатырь?

Федьке завидно, командует на парня:

— Марш в сени!

А министры Федьку оприметили, докладывают Нениды:

— Осударына, суседского Федьку испытывайте вно всяких очередей и со снисхождением. Ихна держава с нашей — двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять.

— Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да сарафанишко сменю.

Погодя и она вышла в приемну залу. Поклонилась:

— Простите, гости любящи, задержалась. Скота обряжала да печь затопляла.

Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка — как Волга: бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит — дак половица гнется, по шкапам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит: «Вот дак жених — табачна шишка, лепунок...» И говорит:

— Твоя рабоча сила нать спробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишну елку, чтобы окна не загораживала.

Федька затосковал,— ель выше колоколен, охвата в три. Однако нашелся:

— Стоит ли костюм патрать из-за пустяка. Это и мой кучер осилит.

У Данилы топор поет, щепа летит. Ненила в окно зглянула, замерла:

— Откуль экой Бова-королевич?! Где экого архандела взели?

Королек сморщился:

— Я сказал, что мой кучер.

Зашумело, ель повалилась. Ненила пилу со стены сдернула:

— Побежу погреюсь. Роспилю чурку-другу.

Одночасно Данило да Ненила печатну сажень поставили, хотя не на дрова, а друг на друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь.

Утром королек торопит:

— Сударына, когда же свадьба?

— Добро дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, дак топере кони-ти на волю спушшены. Дома один жеребеночек, в упряжи не бывал. Ты бы объездил.

Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. Конь — богатырю ездить — прикован, цепи звенят.

— Таких ли,— Федька говорит,—я дома рысаков усмиряю, а этого одра мой Данилко объездит.

Данило не отказался, спросил бычью кожу, выкроил три ремня, свил плеть в руку толщиной, пал на коня. Видели — богатырь на коне сидит, а не видели повадки богатырские. Только видят: выше елей курева стоит, курева стоит, камни, пыль летят.

Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Ненила середи двора любуется потехой богатырскою. Двор был гладок, укатан, как паркет, конь и всадник его что плугом выбрали. Теперь на жеребца хоть ребенка сади.

Назавтра и Федька, разнаредясь, верхом проехаться насмелился. Конешно, Девич повода держал.

Советники к Ненилы накоротки заприступали:

— Как хотите, сударыня, а Федькины земельны угодья опустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот ихна держава, вот наша. Вот этта у их еловы леса, этта деревья кедровы...

— Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком! Дня три поманите.

Ненила грубо советникам отрезала, а сердце девичье плачет.

Веселилась, да прираздумалась, радовалась, да приуныла, пела, да закручинилась. Полюбила Даниловы кудри золотые, завитые.

День кое-как, а ночью — соболино одеяло в ногах да потонула подушка в слезах:

— Данилушко, я твой лик скоро не позабуду!

И во сне уста сами собою именуют:

— Данилушко!

Данилушко не дурак, это заметил. Тоже сам не свой заходил. Ненила где дак бойка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы осталися считанные.

Данило пошел на заре коня поить, Ненила навстречу. Мешкать некогда. Он выговорил:

— Неужели, госпожа, ты моя да моя?!

— Уж и вправду, господине, твоя да твоя!!

И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.

Федька это вышпионил, сенаторам наскулил. Сенаторы опять поют:

— Ох, государыня... Конечно, Федька против Данилы — раз плюнуть, но ведь за Федькой-то земельных угодьев у-ю-ю!

Ненила заплакала:

— Ах вы, бессовестные хари! Я на двенадцати войнах была, разве мало земли добыла?!

Сенаторы Ненилу зажалели, отступились уговаривать. Корольку сказали:

— Наша Ненила досюль была спяща красавица. Данило ее разбудил. Пущай она дичат, как знат.

Федька взял да купил знающу личность по медицине. Личность дала травы сбрунец, от которой память отымается. Федька подсыпал сбрунца Нениле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федька забегал по дворцу:

— Сию минуту сряжать королевну под венец!!

Фрейлины испугались, что Ненила молчит, однако живо обрядили, к венцу повезли. Тут Девич налетел, растолкал свадебников, схватил Ненилу за руку:

— Госпожа! Ты помнишь ли?

Она долго на него смотрела:

— Ваша личность мне кабыть знакома...

Он заплакал навзрыд. Ушел к морю.

На обрученье Ненила только одно слово выговорила:

— Данилушко, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт!

Ей ни к чему, что возле-то Федька.

Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали. И как венчать стали, невеста второ слово высказала:

— Венчается Данило Нениле, а маленька собачка Федька не знай зачем рядом стоит.

Тут весь народ и с попами по домам полетели:

— Это свадьба не в свадьбу и брак не в брак!

Личность, у которой королек траву купил, тоже спокаялась, отыскала Девича, шепчет ему:

— Не реви! Этот угар у королевны к утру пройдет. Мы обманули Федьку. Он на месяц дурману просил, а мы дали на сутки.

А Федька скорехонько погрузил Ненилу на пароход. Она в каюте уснула как убита. Плыть всю ночь. Данило вахту дежурит. По морю лед идет весенний, по молодецкому лицу — слезы.

И королек свое дело правит. Подкрался да оглушил Девича шкворнем. Тело срыл в море.

Утром берег стал всплывать и город.

Федька ходит козырем:

— Ненилка месяц будет не в уме. Я ее выучу по одной половице ходить.

Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, только брови, как медведи, лежат:

— Я как сюда попала?

У Федьки живот схватило:

— Вы, значит, со мною обвенчавши. И плывете, значит, в наши родные палестины-с!

Ненила вдруг на палубу упала, руки заломила:

— Что со мной стряслось? На войне я была удала и горазда, а тут...

Она вдруг сделалась страшна, грозна:

— Где Данило Девич?!

— Данило накачался на свадьбе как свинья; не свалился ли в воду с пьяных глаз...

Но тут пароход к пристани заподоходил. Музыка, встреча, отчишко с министрами, народ. В пристанском буфете сряжен банкет. Все в одну минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Королек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался и под шумок стянули они пьяного в лодку. Отчишко уплавил тело к морю, валил на пески, ножом вывертел сонному глаза и угреб обратно.

А Федька, как за стол-то воротился, думает: ничего никто не приметил. Глядь, Ненила подходит:

— Кого куда в лодке повезли?

— Митьку, Данилкинова брата, папаша вытрезвлять поехал.

Мать Данилы да Митрия тут привелась, заревела медведицей:

— Убивать повезли моего детища! И Данилу убили!!

На дворе тишина стала. Ненила, как туча грозова, приступила к Федьке:

— Где Данило?!

Королек завертелся собакой:

— С пароходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся.

Матка опять во весь двор:

— Врешь ты, щучий сын! Не пьет мой Данилушко, в рот не берет. Где они?! Где мои рожоны дети?!

Ненила королька за плечо прижала, ажно он посинел:

— Сказывай, вор, где ейны дети?!

Федька вырвался, по полу закатался, заверещал свиным голосом:

— Эй, слуги верны-ы! Хватайте мою жену Ненилку, недостойную королевского ложа! Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как комара, а ее, суку, на воротах расстреляю! Вяжите ее! Каждого жалую чином и деньгами!

Середи двора телега привелась ломовая, оглобли дубовы велики. Ненила Богатырка вывернула эку семисаженну снасть да как свистнет, свистнет наокруг: по двору пыль свилась с каменьем, из окошек стекла посыпались. Брызнул народишко кто куда, полезли под дом, под онбары, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так и хранились, как мертвы. Старой королешко ухватил с собой десяток мужиков поудалее, да на двух телегах и удрал неведомо куда.

Воля во всем стала Ненилина.

Перво дело она послала людей к морю искать Данила и Митрия, да от себя подала во все концы телеграммы. Посыльны бродили неделю, принесли голубой Данилов поясок:

— Не иначе рыбы съели братанов. По берегу есть костья лежит.

Ненила убрала в сундук цветны сарафаны, наложила на голову черной плат. Ни с кем боле не пошутит, не рассмехнется. День на управленье да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинохонька у окошка, голубу Данилову опояску к сердцу прижмет и запричитат:

Птичкой бы я была воронкой,
Во все бы я стороны слетала,
Под кажду бы лесинку заглянула,
Своего бы дружочка отыскала.

. . . .

Месяц мой светлый,
Почто рано погиб?!
Цвет мой прекрасный,
Почто рано увял?!

Народ-от мимо идут, дак заслушаются.

А Федьки королевна объявила:

— Не знаю, что скажет осень, а нонешно лето будь ты пастух коровий в Митькино место.

Он и пасет, вечером домой гонит. Ненила с подойником у хлева ждет и считает, все ли коровы. Пересчитат и велит корольку последню под хвост поцеловать. Эта корова так уж и знат. Дойдет до конюшны, остановится и хвост подымет.

А Данило не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине. Утром прикачало к берегу. А встать не может — ноги умерли с морозу. Федьки боится, в лес на коленцах бежит, ноги, как кряжи, волокет. И вдруг слышно — лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал:

— Зверь али человек?!

И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, рассказали друг другу.

— Помрем лучше, братец,— говорит слепой,— кто нам рад, эким-то?

— По миру будем ходить, коли работать не заможем,— утешит безногой.— У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, целой человек и станет. А теперь затянемся в тайболу, переждем, не обойдецце ли Федькино сердце.

Зашагал слепой под север, на себе несет брата, тот командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

У глухого озера нашли избушку — от ветру, дождя схорониться. Связали из вичья морды-ловушки, рыбку промышляют.

Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половины не дошли.

Живут братья, быват, и месяц.

Оборвались, в саже умарались. Данило и сказыват:

— Вот что, Митя, зима этта пострашне будет Федьки. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чего попытать. Отсюда под юг должна быть трактова дорога. Я смала езжал. По дороге, все под юг идти, Федькиного отчишка летней дом с садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра — шипучих минеральных вод, друга дыра — огнедышаща, подземну лаву выкидыват. Шипуча-та вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это заграбучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору каменьем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станем-ко подвигаться.

У озера отмылись, вяленой рыбки увязали, сел хромой слепому на плечи, командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

Подойдут да полежат у ручейка либо где ягод побольше. Нашли трактову дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедны странники и зашли. Кресьяне забоялись эких великанов, на постой не пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду

девица, тоненька, беленька, личушко как яичушко, одета пряжей по-деревенски. Данило и заговорил:

— Голубушка, не бойся нас, убогих людей, мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились. Приволоклись сюда по добру живу воду.

Девица покачала головой:

— Напрасно трудились, бедняжки. Единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А тепере королешко приехал, дак и близко ходить не велено.

— Старик приехал? Когда?

— Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле... Не стряслось ли чего в городе?

Данило весь стрепенулся — не моя ли там желанна воюет? Да поглядел на свои ноги, приуныл: кому я, увечной, надо?.. Дале говорит:

— Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя недельку. Не слыхала ли баньки, кухонки порозной? У нас цепи есть серебряны, мы бы хлебы и постой оплатили.

Девица на братьев посмотрела: хоть рваны, убоги, а люди отмениты, приятны, красивы, обходительны.

— У меня горница свободна. Я одна живу сирота. За постой ничего не надо. Я портниха, зарабатываю.

Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое.

Данило на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, разумна, рассудительна. Данило и спрашивает:

— Скажи-ко, Агнея, старик-от в деревню показывается ли?

— Навеку не бывал. Только и видим — в усадьбу едет да оттуда.

— О, горе наше, горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички — стали бы целы. Помрем лучше, Митька!

Агнея слушат, зашиват ихну одежду, свою думу думат. Назавтра принесла деревенски вести:

— Королешко-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья... Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда?

— Брось, Агнея! Слушать негодно!

Вечером она срядилась по-праздничному:

— Я, братцы, к девушкам на игрище.

Вот и отемнало, люди отужинали, ей все нету. Митрий пошел к соседям:

— Сегодня игрище где?

— В страду что за игрища?!

Братья заплакали:

— Она туда ушла! Ушла ради нас!

А она и идет:

— Не убивайтесь, каки вы эки мужики! Никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за каки услуги старичонко не даст. Добром никак не взять, надо насильно.

Митька перебил:

— Ты, Агнея, с краю сказывай.

— Я даве, нарядна-то, прохаживаюсь возле ворот, меня король и оприметил. Сторожа выслал. «Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а королешко возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенька — зачем гора, и зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дале рассказал. Перва от ограды труба и есть минеральная, дальня огненна. Крышки у труб замкнуты и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то, будто пьяны, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.

— Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем — в долгу у тебя не останемся.

На другой день, на закате, Агнея опять приоделась, в зеркало погляделась — лицо бумаги беле. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклось, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой на короушках ползет, видно, что оба пьяне вина. Дальше стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели.

И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых сторопилась. Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, себе косы расплела, да и заохала:

— О, живот схватило!

Вылетела из дому — в сторожке храпят. Ключ схватила, ворота размахнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и — в сад:

— Ближну трубу ломайте с одного удару. Лишний

гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился.

Старик в самом деле на лестнице ждет:

— Что долго?

— Сударь, пожалуйте в горницу! Ночь холодна.

Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило. Старик всполошился:

— Что это?

— Луна выкатилась больша, красна. А стукнуло — охотники в лесу стрелили.

Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять гременуло, люди забегали.

Старик соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец, соврал не без умысла. Данило подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опалило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой колодец. Данило бросился туда ползунком,— лом вместо костыля, да опять как грянет в чугунные затворы... Замки, краны отлетели, чохнула вода ледяна, игриста. Данило пал под поток, зовет:

— Митя, Митя!

А слепой уж тут, глаза полощет.

От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в суставы. Данило вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит — стал видеть. А радоваться некогда. Дворня бежит с топорами, с саблями. Ну, теперь-то Данило да Митрий богатыри, целы да здоровы — никого не испугаются. Как туча с громом, налетели на королевску челядь, у Данила лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит.

Агнею нашли, весело поздравились. Лакей — из тех, что со старичонком приехал,— выложил все новости.

Королевство под Ненилой, а под Федькой — коровы. А королевна Ненила каждый вечер Данила оплакиват — за версту слыхать.

Данило боле не терпит:

— Сегодня же в город!

Митрий добавлят:

— Агнея с нами. Она за меня замуж согласилась.

Покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнеей на постоялом стали, Данило попозже задней улицей подошел ко двор-

цу. Слышит, скот мычит, Федька коров гонит. До того Данило думал — встречу, изуродую. А тут жалко стало. Спрятался за навозны вороты и видит — Ненила, в черном платке, с подойником вышла и прислонилась у конюшни. Стали коровы заходить, а последня остановилась и хвост призняла и Федька ей целует... Этого Данило не стерпел. Налетел как орел, схватил коровенку за хвост, ажно шкура долой. И Ненилу за косу да о землю:

— Как ты можешь над мужиком эдак изгилятъся??!

Ненила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за праву ножечку, плачет да смеется:

— Бей меня, трепли, убивай! Ведь я твоя, твоя, Данилушко! Изгасла по тебе!

. . . .

Как дорожны-ти люди в себя пришли, села Ненила с Данилом рука об руку — неделю с ним проговорила:

— Отступиться хочу здешнего осьего гнезда. Этта все не мое и сердце ни к чему на радет. А дома короушки, осударственно управление, огороды, мельница — все на людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушко, вместях будем королевствовать. У нас место обширно — пашня тут и сенокос тут. Агнею с Митей утенем за собой. Агнюшка нас с мели сдернула.

Вот и уехали, увезли свое счастье Данило и Ненила, Агнея и Митька. Матерь-та при них же.

А Федька с отчишком и остались на бубях.

ПРОНЬКА ГРЕЗНОЙ

Были три брата, три американа, и сидели они за морем. Старшой прошел все науки и нажил больши капиталы. Однажды созвал он братьев и говорит:

— Пока сила да здоровье позволят, охота мне белой свет посмотреть и себя показать. Домой не вернусь, покамест славы не добуду.

Братья запричитали:

На кого ты нас оставляешь,
на кого ты нас покидаешь?!
Мы ростом-то велики,
а умом-то мы малы.
Уж мы лягем да не вовремя,
уж мы встанем да не во пору!

Расстроили старшого:

— Разорвало бы вас, как жалобно сказываете... Вот вам тысячу золотых на разживу.

Молодцы деньги приняли, благодарно стукнули лбом в половицу и сказали:

— Дорогой брат и благодетель! Ежели не секрет, в каку ты державу прависсе?

— Надумано у меня в российски города.

— Дорогой брат и благодетель! И нам в Америки не антиресно. Тоже охота счастье испытать. Возьми нас с собой.

— Россия страна обширна. Хотите — поезжайте, хотите — нет.

Вслед за старшим братом приезжают эти молоды американы в Питербурх. Сидят в гостиницы, головы ломают, на како бы дело напуститься. Увидали на столе календарь. В календаре на картины царь написан с дочерями. Эти дочери пондравились.

— Давай посватаимся у царя! Вдруг да наше счастье?

Послали во дворец сватью. А царские дочки были самовольны и самондравны. Кажна по четыре кукиша показала:

— Мы в женихах-то, как в навозе, роемся. Князьев да прынцов помахивам. На фига нам твои американы, шваль такая!

Младша добавила:

— Не хотят ли на нашей рыжей кобылы посвататься? Она согласна.

Так эта любовь до времени кончилась.

Теперь пойдет речь за старшим братом. Он тоже посиживат на квартиры, рассуждат сам с собой:

— Годы мои далеко, голова седа, детей, жены нету, денег не пропить, не происть. Нать диковину выкинуть всему свету на удивленье.

В торговой день от скуки он пошел на толкучку и видит — молодой парень ходит следом и глаз не спускат.

Через переводшика спросил, что надо. Парень не смутился:

— Очень лестно на иностранной державы человека полюбоваться. Костюм на вас первый сорт-с...

Американин портфель отомкнул, в деньгах порылся и подает парню трешку:

— Выпей в честь Америки!

А тот на портфель обзарился. Навеку столько денег не видал. Американину смешно:

— Верно, нравятся богатые люди?

— Бедны никому не нравятся.

— Имя ваше как?

— Пронькой ругают.

— Зайдите, мистер Пронька, вечером поговорить ко мне на квартиру.

В показанное время Пронька явился по адресу. Хозяин посадил его в мягки кресла:

— Увидел я, мистер Пронька, велику в тебе жадность к деньгам и надумал держать с тобой пари. Я, американской гражданин, строю на главном пришпехте магазин, набиваю его разноличными товарами и передаю тебе в пользование. Торгуй, розживайся, капиталы оборачивай, пропивай, проедай... За это ты, мистер Пронька, пятнадцать лет не должен мыться, стричься, бриться, сморкаться, чесаться, утираться, ни белья, ни одежды переменять. Мои доверенны будут твои торговы книги проверять и тебя наблюдать. Ежели за эти пятнадцать лет хоть однажды рукавом утрессе, лишаю тебя всего нажитого и выбрасываю тебя босого на улицу. Ежели же вытерпишь, через пятнадцать лет хоть во ста миллионах будь, все твое бесповоротно. Далее, как ученой человек, буду я про тебя книги писать и фотографом снимать. Вот, мистер Пронька, подумайте!

Мистер Пронька говорит:

— Живой живое и думает. Согласен.

К нотариусу сходили, бумаги сделали, подписи, печати.

Дело, значит, не шутово.

Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами... Первы-то годы Пронька спал по два, по три часа. Товары получат, товары отпускат — из кожи рвется, торгует. В пять годов он под себя дом каменной — железна крыша — поставил. К десяти годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил двум своим братьям, несчастным от любви, узнавши, что они не при деле да не при месте.

День за днем, год за годом зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки — чернее башмаков, грива на голове метлой, бородишша свалялась,

лохмотья висят. Летом дождик попадат на голову — то и мытье.

Год за год хлебошшится в грязи, только и порадуется, что над деньгами. А денег — всей конторой считают.

Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозну кучу, повезут по городу. Однако этой куче ото всех почет и уважение. Все у ней в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К двенадцатито годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот каку силу мужичонко забрал!

Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом снимат во всяких видах, измерят, во сколько слоев грязи наросло, вшей вычислят, каждогодно насчет Проньки сочиненье издават. В американских тиматографах стали шевелюшших Пронек показывать. Ну, экой бы славы не все рады.

Год за годом, скоро и сроку конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли.

Тут соседни державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо ерапланы клеить, выпускать удушливы газы. А казна порозна.

Царь Проньки записку:

— Одолжите полдесятка миллиончиков.

Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил:

— Ты что, сопля пропашша, куражиссе? Как хошь, давай денег!

— Никак не могу, ваше величие! Вы и так в долгу, что в море,— ни дна, ни берегов.

— Хошь, я тебя, бандита, енералом пожалую?

— Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругою назвать.

— Что ты, овин толстой! Что ты, вшива биржа! Да поглядись-ко ты в зеркало...

— В зеркало мы о святках смотряли, и вышло, что воля ваша, царская, а большина наша, купецкая.

У царя губы задрожали:

— Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропашша!.. А у меня девки-то три, котора нать?

— Каку пожалуете.

— Тогда хоть патрет сресуй увеличенной с твоей рожи. Я покажу, быват, котора и обзарится. Только имей в виду — в теперешно время нету настояшшого художника. Наресуют, дак зубы затрясет.

За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме.

Пронька со страху прослезился:

— Сатаной меня написали... Знают, как сироту изобидеть... Уж и кажной-то меня устрашится, уж и всяко-то меня убоится!..

Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет:

— Вот, дорогие дочери! Есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, аригинальный старичок, зато комерсант богатеюшшой.

Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом — все напрасно. Друга дочка сперва тоже заревела, дале сграбилась за раму да с размаху родителю на голову и надела...

Младша дочь явилась, папаша сидит в картины и головой из дыры навертыват:

— Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грезишша да волосишша, он тебя обажать будет нельзя как лучче...

Девка его пересекла:

— Плевать я хотела, что там обажать да уважать! Ты мне справку подай, в каких он капиталах, кака недвижимость и что в бумагах!..

Она с отчишком зашумела. В те поры старша из подпечка выбралась да к середней сестры катнула:

— Сестрича, голубушка, татка-то одичал, за облизьяна за шорснатого замуж притугинива-а-ат! Убежим-ко во болота во дыбучи, а мы схоронимся в леса да во дремучи!

— В дыру тебя с лесом! Мы в Америку дунем. Черт ли навозного лаптя лизать, когда нас американы дожидаются.

У старшухи слезы уж тут:

Ох, чужедальня та сторонушка,
Она слезами поливана,
Горьким горем огорожена...

— Реви, реви, корова косая! Вот уже таткин облизьян обнимать придет.

— О, не надо, не надо!

— Не надо, дак выволакивай чемоданы, завязывай уборы да сарафаны! А я фрелину к тем понаведаться сгоняю.

Два брата, два американа рады такому повороту. Ночью подали к воротам грузовик, чемоданы и обеих девок погрузили да и были таковы. Дале и повенчались и в Америку срядились на радостях. Мужья рады дома женами похвастаться. Жены рады, что от Проньки ушли.

Царь как узнал, что дочки к американам упороли, только для приличия поматерялся, про себя-то доволен, что на свадьбу изъяниться не нать.

Тут Пронькины пятнадцать годов на извод пришли. У него мыло просто и душисто пудами закуплено, мочалок, веников, дресвы возами наготовлено. Везде по комнатам рукомойники медны, мраморны умывальники, а также до потолку сундуков с костюмами зимними, летними, осенними, весенними и прочих сезонов.

В последний нонешний денечек является Пронька к своему американину. Опять к нотариусу сходили, все договоры разорвали, по закону ни во что положили и любезно распростились. Пронька, что птичка, на волю выпорхнул.

Радось за радосью — царь объявляет о дочкином согласии. Поторговались, срядились. На остатки нареченной жених говорит:

— Итак, через полмесяца свадьба. В венчальной день публика увидит неожиданной суприз.

На друго утро он снял под себя городски бани на две недели и пригласил двенадцать человек баншиков и двенадцать паликмахтеров. И вот бани топятся, вода кипит, аки гром гремит, баншики в банны шайки, в медны тазы позванивают. Паликмахтеры в ножницы побрякивают.

Неделю Проньку стригли садовыми ножницами, скоблили скобелем, шоркали дресвой и песком терли. Неделю травили шшолоком, прокатывали мылами семи сортов, полоскали, брили, чесали, гладили, завивали, душили, помадили.

В венчальной день двенадцать портных наложили царскому жениху трахмальны манишки, подали костюм последной париской моды, лаковы шшиблеты и прочее.

И как показался экой жентельмен на публику, дак никто буквально не узнал. А узнали, дак не поверили. Он явился, как написаной, бравой, толстой, красной, очень завлекательной. Царевна одночасно экого кавалера залюбила. До того все козой глядела, а тут приветлива сделалась, говорунья. Свадьба была — семь ден табуном плясали, лапишшами хлопали, пока в нижной этаж не провалились, дак ишшо там заканчивали.

А Пронькин американин, приехавши на родину, не избежал некоторой неприятности. Американска власть на его заобиделась, что пятнадцать лет в России потратил, эдаки деньги на вшивого мужичонка сбросал.

— Неужели,— власть говорит,— ты за эстолько лет не мог его соблазнить хоть раз сопли утереть?

Тогда достойной субъект показал им пятнадцать научных изданных томов насчет Проньки. Также открыто спросил:

— Разве вы не в курсе, что две особы императорской фамилии вышли замуж за американов и принели американску веру?

Власти говорят:

— Это мы в курсе. Вот этот случай — велика честь. Америка гордицца теми двумя молодцами.

— Дак эти два молодца мои родны братья. Кабы не я да не мой Пронька, им царских-то дочек не понюхать бы!

Публика закричала «ура», тем и кончилось.

ВАРВАРА ИВАНОВНА

У Якуньки была супруга Варвара Ивановна.

И кажной день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот кака пагуба. Ежели Якунька скажет:

— Варвара Ивановна, спи!

Она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать:

— Варвара Ивановна, сегодня ночью затменье предвешшают. Посидите и нас разбудите.

Дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби.

Опять муж скажет:

— Варя, испекла бы пирожка.

— Не стоишь, вор, пирогов.

А скажет:

— Варя, напрасно стряпню затевашь, муку переводишь...

Она три ведра напекет:

— Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было!

Муж скажет:

— Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?

— Нет, к эдакой моське не пойдем.

Он другомя:

— Сегодня сватья на именины звала. Я сказал — не придем.

— Нет, хам, придем. Собирайся!

У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет:

— Якунька, это чья там толстомяса-та девка в углу?

— Это хозяйская дочь. Правда, красавица?

— А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила.

Муж не знат, куда деться:

— Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.

— Почтеннейший?.. А по виду дак жулик, казнокрад.

Тут хозяйка зачнет положенье спасать, пирогом строптиву гостью отвлекает:

— Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.

— Все хвалят, а я плюю в твой пирог.

И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало. Который человек обрадуется угощению, тот ни фига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти запотчует.

Мода пришла — стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара наросьне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой приташшит. Вот кака Варвара Ивановна была: хуже керосина. Она и рожалась, дак поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался:

— Ах ты... проваль тебя возьми! Запехать разве мне ей на службу. Может, шелкова бы стала?

Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все закрыто, дак Варвара в те дни черным ходом в учрежденье залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат.

А ежели объявят:

— Варвара Ивановна, эта вся будет спешна неделя. Пожалуйста, без опозданиев...

Дак Варвара всю эту неделю назло дома лежит.

Настанет праздник какой, Варвара одна в учрежденье работу ломит.

Муж дак за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить.

Оногды идет он со службы, а домой неохота. И видит: дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо б и мне перед смертью на лоно природы.

— Дяденька, подвези!

За папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Якуня думат:

— В эту бы яму мою бы Варвару Ивановну!

Яма смородинным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. Домой явился:

— Хотя ноне и лето, ты, Варвара, за город ни шагу!

— Завтра же с утра отправимся! И ты, мучитель, со мной.

Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, задью пятится.

К ямы подошли, к смородиннику. Якунька заявил:

— Мои ягоды!

— Нет, холуй, мои! Лучче и не подступайся!

Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следом три пачки папирос:

— Прости, дорогая!

Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто его не страмит. Самоварчик наставил, сидит, радуется:

— Вот кака жисть пошла приятная!

Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли, боле не орет. Начальник вызвал Якуньку:

— Где супруга?

— Дачу искать уехала.

— Смотри у меня!

Якунька до полусмерти напугался:

— Лучче побежу я добывать свою Варварку.

С веревкой полетел к ямы. Припал, слушат... Писк, визг слыхать...

...А вот и Варин голосок...

Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал. Начал удить:

— Эй, Варвара! Имай веревку! Вылезай!

Удит и чует, что дернуло. Конец высбирал, а в петле кто-то боязкой сидит, не боле фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала:

— Дяденька, не рой меня к Варвары! Благодетель, пожалей!

— Вы из каких будете?

— Я Митроба, по-деревенски Икота. Мы этта в грезной ямы хранились, митробы, иппузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Папиросу жорет, я с табаку угорела. О, кака беда! Хуже сулемы эта Варвара Ивановна, хуже карболовой кислоты!

Якунька слушат да руками хлопат:

— Ах да Варвара! Ну и Варвара! А все-таки по причине начальства приходится доставать.

— Якуня, плюнь на их на всех! Порхнем лучче от этого страху в Москву.

— Что делать-то будем?

— Там делов, дак не утянешь на баржи. За спасение моей жисти от Варвары я тебя наделю капиталом. Я Митроба и пойду вселяться по утробам. За меня дохтура примуцца, а я их буду поругивать да тебя ждать. Ты в дом, я из дому.

Якунька шапку о землю:

— Идет! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!

Митроба завезалась в шелково кашне, на последни деньги билет купила да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала:

— По городу ле в киятры ходить, у меня платье не обиходно, да и на Варвару боюсь нарвацца. Лучче без прогулов присмотрю себе завтра барыну понаряднe да в ей и зайду.

— Как зайдешь-то?

— Ротом. С пылью ле с едой.

— А мне что велишь?

— Ты в газету объяви, что горазен выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип.

Утром Якунька в редакцию полетел, а Митроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красива, полна, в мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, барына ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейной муж схватил газету, каки есть дохтора? И читает: «Проездом из Америки. Утробны, внутренни, икоты, щипоты, черевны болезни выживаю».

Полетели по адресу. Якунька говорит:

— Условия такая. Вылечу — сто рублей. Не вылечу — больной платы просит.

Наложил на себя для проформы шлею с медью.

Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила:

— Здравствуй, Якунюшка! Вот как я! Все тебя ждала. Да вот как я! Лише звонок, думаю, не Якуня ли! Вот как я!

Якуньке совестно за эту знакому:

— Ладно, ладно! Уваливай отсель!

Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского дохтура благодарят, сто рублей выносят.

Теперь пошла нажива у Якуньки. Чуть где задичают, икотой заговорят, сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено боле двадцати, сапогов хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов быват пятнадцать.

Бедну Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хапат. Дачу стеклянну строить зачал, думал — и век так будет. Однако на сем свете всему конец живет. Окончилась и эта легка нажива.

Уж, верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а Икота зауросила:

— Находилась более, нагулялась!.. Пристала вся!

Якуня тоже расстроился:

— Ты меня в Москву сбила! А кто тебя от Варвары спас?

— Ну, черт с тобой! Этта ешше хватай, наживайся! А далеша! Я присмотрела себе подходяшшу особу, в благотворительном комитете председательшу. В ей

зайду, подоле посижу. Ты меня не ходи гонять. А то я тебя, знахаря-шарлатана, по суд подведу.

Якунька удобел:

— Ну, дак извод с тобой, боле не приду. Не дотрону тебя, чертовку!

Получил последню сотенку, тем пока и закончил свою врачебную прахтику.

А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бойка, така выдумка, на собраньях всех становит. Речь говорит — часа по два, по три рот не запират. Вот эдак она слово взела, рот пошире открыла, Митроба ей туда и сиганула.

Даму зарозбирало, бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнают, кто по эким болезням. В справочном бюро натакали на Якуньку.

Якунька всеми ногами упирается:

— Хоть к ераплану меня привяжите — нейду!

Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял:

— Науке известны такие факты. Есь подлы люди. Наведут, дак в час свернет. В данном случае напушшено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной десеть баен окатывать с оружейного замка.

Другой профессор говорит:

— И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лиситер возрос. Пушшай бы больна селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лиситер полдела выжить.

Третий профессор воздержался:

— Мы спину понимам, спину ежели тереть. А черев, утробы тоись, в тонкось не знам. Вот бабка Палага, дак хоть с торокана младень — и то на девицу доказать может.

Ну, они, значит, судят да редят, в пятки колотят, в перси жмут, в бани парят, а больна прихворнула пушше.

Знакомы советуют:

— Нет уж, вам без американского дохтура не сняцца.

К Якуньки цела делегация отправилась:

— Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите, а без вас не воротимсе.

Якунька весь расслаб:

— От вот каких денег я отказываюсь!.. Сам без прахтики живу, в изъян упал.

Он говорит:

— Ваш случай серьезной, нать всесторонне обдумать.

Удалился во свой кабинет, стал на голову и думал два часа тридцать семь минут. Тогда объявил:

— Через печать обратитесь к слободному населению завтре о полден собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему:

— Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла.

Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной улицы столько народу набежало, дак транваи стали. Не только гуляющие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детями, бабы-молочницы, учашшиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают на окна.

Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью. Его проводят к больной. Вынимат трубку, слушат... Митроба на его зарычала:

— Зачем пришел, собачья твоя совесть?! Мало я для тебя, для хамлета, старалась? Убери струмент, лучче не вяжись со мной!

Якунька на ей замахался:

— Тише ты! Я прибежал, тебя, холеру, жалеючи. Варвара приехала. Тебя ишшет!

У Митробы зубы затрясло:

— Я боюсь, боюсь!.. Где она, Варвара-та?

Якунька раму толкнул, рукой махнул:

— Она вон где!

Как только на улице этот знак увидали, сейчас натобили загудели, транваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массыя открыли рот и грянули:

— Варвара Иванна пришла! Варвара Иванна пришла!

Икота из барыни как пробка вылетела:

— Я-то куды?

— Ты,— говорит Якунька,— лупи обратно в яму. Варвара туда боле не придет!

Народ думают — пулей около стрелили, а это Митроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала.

А Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко...

СЛОВО УСТНОЕ И СЛОВО ПИСЬМЕННОЕ

Беседные очерки

Любую нашу мысль мы излагаем на бумаге не в той форме, в какой высказывали эту мысль в разговоре. Вразумительность разговорной речи подкрепляется интонацией голоса, отчасти мимикой и жестом.

Эмоциональность живой речи, восклицания, паузы исчезают при записи. Устная фраза, перенесенная на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса. Фонетическая запись устной речи утомит читателя своей пестротой.

Отсюда законы речи литературной, необязательные для речи устной, живой. Вот одна из причин различия между живой речью и речью письменной.

Имеются высказывания, что народная устная словесность и словесность литературная суть две самостоятельные стихии.

Не правильнее ли думать, что хотя эти стихии неслиянны, но и нераздельны?

Полностью, точно и достоверно изложить многовековую жизнь устного народного слова — вещь многотрудная. Много здесь надобно догадок и домыслов. Много явится, как на ландкарте, белых мест. Сомнительно мнение, что народная поэтическая память донесла до нашего времени как раз все самое ценное, самое отборное. Нет, многое быльем поросло и останется беспамятно.

Перечень известных нам со школьной скамьи видов устного народного творчества не велик: богатырские былины, сказки, песни обрядовые и лирические.

Есть мнение, что ритмизированная форма наших былин устоялась или сложилась не ранее шестнадцатого века.

Какова же была форма древнейших эпических сказаний? «Слово о полку Игореве» тем и драгоценно для нас, что в нем отразился лад и строй забытых русских рапсодий.

И древнегреческий эпос, и эпос других европейских народов, в том числе героический эпос Древней

Руси,— все это не читалось, не декламировалось, но по-особому напевалось.

Слушая, как исполняют былины архангельские поморы, можно представить, как звучали эпические песни древней Европы. Если вздумаем счесть века и возраст устной нашей поэзии, если положим в начале вещего Баяна, перед нами откроется тысячелетний песенный путь. Школьные хрестоматии водят нас по оазисам этого пути. Водят, как по музею: это — былины, это — сказки, это — песни. Но устное слово в книге молчит. Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?

Мы говорим: «Далекая пора, старина».

Если нам утомительно сыскивать, в чем же красота и жизнь устной народной словесности, поверим на слово столь чуткому к русской красоте Римскому-Корсакову, удивительному Мусоргскому, Врубелю и Васнецову. Эти и подобные им люди чувствовали песенную и художническую душу народа.

Известные нам виды устной поэзии назвал я «оазисами». Не песчаная пустыня окружает эти оазисы, кругом были вечно зеленеющие луга жизнетворческой народной речи. Избыток творческих сил создавал тот или иной вид поэзии.

Бытие отдельных видов устной словесности рассмотрено учеными-исследователями. Но последовательную историю жизни устной словесности трудно уяснить и по ученым трудам. Впрочем, ведь мы не особенно горюем и о том, что не знаем подробностей своей семейной хроники.

Былины, песни, сказания — это гнезда, свитые под сенью вечно зеленеющего, густолиственного дерева.

Тьмочисленная, тысячеголосая светлошумная листва — это живая народная речь. Бесчисленными голосами шелестела и звенела живая речь. И это был аккомпанемент к былине и сказке. Живой творческий говор рождал поэзию.

Наряду с разговорной народной речью жительствовала на Руси особливая речь — письменная, литературная. Русские люди — северное славянство — книги читали и книги писали на языке южнославянском, а именно — на болгарском.

Обособленность литературного языка от народной речи примечательна была не только в Восточной Европе, но еще резче в Европе Западной.

В Европе Западной со времен раннего средневековья во Франции, Германии, Англии, Скандинавии образованные люди писали на языке латинском, непонятном народу.

Такое явление объясняется тем, что образованность здесь воспринята была от Рима, одного из центров «средиземной» культуры.

Восточная Европа (славянские народы) приняла образованность от греков — из таких центров мировой культуры, как Царьград, Афины, Александрия. Это была образованность эллинистическая, по существу — античная.

Принципы эллинизма требовали, чтобы литература классическая преподносилась на языке той страны, того народа, который принимал эллинизм. Таким образом, греческая литература переведена была на языки балканских славян: болгарский, сербский.

Русь (северное славянство) приняла греческую образованность не позже IX — X веков. Не представлялось особой нужды переводить греческие книги на русский язык. Русский язык был наречием единого общеславянского языка. Болгары, сербы, поляки, чехи и русские в те времена свободно понимали друг друга.

Русь воспользовалась греческими книгами, ранее переведенными на славяно-болгарский язык.

Большую роль в распространении греческой культуры сыграло высокое совершенство греко-византийского искусства.

Византийская архитектура послужила образцом для создания романского архитектурного стиля в Западной Европе. Вплоть до эпохи Ренессанса итальянские живописцы следовали канонам живописи византийской. Величественные здания возводились на Руси византийскими зодчими. Чуткому ко всякой красоте русскому человеку восхитительной казалась великолепная греческая живопись, мозаика.

Русский народ, народ-художник, восхищение свое «эллинской премудростью» перенес и на литературу. Предлагаемая народу на славянском языке литература содержала эллинскую премудрость, как и другие виды эллинского художества. Было отмечено, что язык поступавших на Русь книг был понятен русским. У всех славянских наречий корни слов одни и те же. Словарный состав един. Но грамматика южнославянского (болгарского) наречия, ставшего на Руси языком

литературным, не тождественна была грамматике языка русского.

Славянская форма слов — младой, златой, брада, врата — нимало не затрудняла. Русские говорили: молодой, золотой, борода, ворота.

Мудрены были формы глагольных спряжений. Например, в живой речи русский человек говорил: «Я уснул, и спал, и встал». Но в книге эти слова излагались так: «аз уснух, и спах, и восстах». Русскому читателю отнюдь не казался странным этот особливый книжный язык. Ведь книга трактовала о вещах необыкновенных. Естественно, что и речь должна быть необыкновенной, небудничной. Южнославянские грамматические формы стали обязательными для образованного писателя. Употребление русских грамматических форм считалось признаком необразованности.

Убеждение в том, что в писаниях о вещах серьезных и важных должно применять и грамматику особливую — такой взгляд господствовал в России до конца XVII столетия. Надобно подчеркнуть, что язык древнейшей нашей литературы прост, лаконичен, от него веет свежестью.

Вот рассказ летописца о смерти князя Олега.

«Бе осень и вопроси Олег кудесников, волхвов: — Отчего ми есть умрети? И рече ему кудесник един:

— Княже, конь, его же любиши и ездищи на немь, от того ти умрети.

Рече же Олег: «Николи же сяду на конь, не вижу его боле того».

И пребысть несколько лет на видя коня. Дондеже и на грекы иде. И пришедшу ему Киеви помяну конь свой. И бысть ответ: — Умерл есть». И поеха Олег на место идеже бяху лежаще кости коневи голы и лоб гол. И наступи ногою на лоб, рече:

— От сего ли лба смерть ми взяти? И выникнучи змея и уклюну князя в ногу. И с того разболевся, умре».

* * *

Если мы посмотрим на письменность нашу, скажем, с конца века XIV по конец века XVII, то увидим, что «славянская» одежда облекает уже иного человека. Грамматика остается, по-видимому, прежняя, но композиция повествования имеет мало общего с

древней литературной речью. Литераторы этой эпохи увлекаются «плетением словес».

Епифаний, писатель второй половины четырнадцатого столетия, пользуется «плетением словес», с большим композиторским тактом. У Епифания это или прелюдии к его сказаниям, или полные живым лирическим чувством интерлюдии. Вот образчик Епифаниевой речи:

«Коль много лет многие философы эллинские собирали и составливали грамоту греческую и едва уставили многими трудами и многими временами едва сложили; пермскую же один чернец сложил, один составил, один сочинил, один в едино время, а не во многие времена и годы; один уединенный, один единственный.

И так азбуку сложил, грамоту сотворил и книги перевел в малые лета; а они, семь философов, едва азбуку уставили; и семьдесят мужей-мудрецов перевод истолковали, книги с еврейского на греческий язык перевели».

Епифания Премудрого Древняя Русь почитала образцовым мастером слова. Эллино-византийскую литературу Епифаний изучил на месте, в Константинополе.

Обладая высоким поэтическим чутьем, Епифаний понимал, что русский язык по богатству равновелик греческому. В житиях Сергия Радонежского и Стефана Пермского не знаешь, чему дивиться: богатству русского языка или мастерству, с которым Епифаний показывает это богатство читателю.

О том, что Епифаний чутко прислушивался к народному поэтическому слову, свидетельствует, например, «Плач пермских людей о Стефане». Этот «Плач», нежный и красноречивый, весьма близок к русским народным причитаниям.

«Извитие словес» высоко ценилось в XVI и XVII веках и позднее. Но в структуре житейских повестей устанавливается отчетливый трафарет: начало, изложение, заключение. Вот образец такого начала у писателя конца XVII века Андрея Денисова:

«Аще, убо, древле творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа, во еже написати Тройска града начало, жительство и разрушение, тем же, убо, нам...» (Далее излагается история Соловецкого монастыря.) («Если древний поэт Гомер такое старание, такой подвиг, такой труд показал, чтобы

описать города Трои начало, жизнь и разрушение, тем более нам...»)

Писатели сторонятся богатств народной красной речи. Любое «житие» обильно уснащается трафаретными стихами — цитатами из Псалтыри.

Протяженно сложенные силлогизмы напоминают ткань, до преизбытка заполненную узором. Очевидно, это было и во вкусе читателя. Москва, например, обожала пеструю узорчатость даже в каменной архитектуре.

Разгадку устойчивости древнеславянских форм в нашей письменности не даст ли титул центров русской образованности: Славяно-греко-латинская академия в Москве (XVII век) и другая — старейшая — в Киеве?

Русь, войдя в орбиту славяно-греко-латинской культуры, сознательно шла по избранному пути. Новые идеи, возникавшие в литературе восточноевропейской, ярко и творчески отображает письменность русская.

В XIV веке и ранее образованные русские люди питают ум и душу премудростью книжной. Устная народная словесность уже не удовлетворяет.

Но былины, сказки, песни по-прежнему украшают быт.

Русские люди, стоявшие на уровне славяно-греко-латинской культуры, не могли снижать общий для всей Восточной Европы высокий литературный стиль. В свою очередь и читателю, и слушателю простая разговорная речь в книге показалась бы весьма неуместной. Вкус к высокому стилю деревенские грамотеи сохранят и в веке XIX.

В XIV веке завременились на русской земле зори освобождения от ненавистного монгольского ига.

Вдохновенная проповедь единства Руси, пламенный призыв к единому национальному сознанию были для русского народа как живая вода, как дождь для иссохшей земли. Славяно-греко-латинская премудрость поставлена была на божницу, когда услышала Русь победные трубы с Куликова поля.

Когда Русь сбросила с плеч татарский хомут, душа великого народа широко и державно расправила крылья. Забылись эти речения: мы — рязанцы, а мы — новгородцы. Ведь все говорили единым русским языком, и русская народная речь приходила из силы в силу.

* * *

Любопытно, однако, что в XVI—XVII веках, при непрекословном следовании правилам грамматики словенской, у писателей-книжников остро и неожиданно прорывалась живая, окатистая народная речь.

Тому пример такой начетчик, как Иван IV. Доказывая Курбскому законность единодержавия, исписывает целые тетради бесконечными словенскими цитатами. Но темперамент Ивана Васильевича известен: он вдруг перескакивает на речь русскую, притом бранную.

«...Единого моего слова гневного ты стерпеть не похотел. Ко врагу нашему, кралю Жигмонту сбежал. И оттоле лаешь на нас, как пес из-под лавки. Только укусить не можешь».

«...Вы будете государить, а царь при вас, как староста в деревне: сиди да вам в рот гляди да притакивай».

Курбский, человек также темпераментный, но сдержанный, литературно образованный, в ответных писаниях с удовольствием кольнет глаза царю его литературной безграмотностью. Как-де можно в образованное государство писать таким избным слогом?!

Однако язвительная острота царских эпистолей проняла сердце Курбского. Он говорит, что нельзя так «грызть кусательно» человека, живущего на чужбине.

Ивану IV тесно было в рамках условного схоластического наречия: «Сердце яро, места мало, расходиться негде».

Родословную свою Иван IV выводил из Древнего Рима. Узнав, что шведский король Густав Ваза тоже считает себя потомком кесаря Августа, Иван IV пишет Густаву: «В которых своих чуланах ты, Густав, сыскал, что ваш род от Августа? А наши купцы, бывши в Стекольном, видели, как родитель твой, в рукавицы нарядясь, ходит с кнутом по торгу, у кобыл зубы считает, коней торгует. А потому ваш род самый мужицкой. Еще пишешь ты, что Москва на Украину задорится и на Волынь... И то бы не дико: язык един, вера едина. А что пишешь, будто мы у тебя хотим жену отнять, и мы тому, на Москве, много смеялись. Неграмотные твои толмачи перевели наше слово «рубеж» словом «жена». О рубежах речь была. А твоя жена нам не надобна. Никто ее у тебя не хватает».

* * *

В семнадцатом столетии распространена была по России «Грамматика, сиречь наука о еже право писати и право глаголати». Этот солидный том в кожаном переплете с медными застежками был пособием и для прозаиков, и для поэтов. Однако это была грамматика все того же условного, схоластического словенского языка.

Наряду с этим в середине семнадцатого столетия раздается пламенный призыв к употреблению русского народного языка в литературе.

Знаменитый Аввакум Петров автобиографию начинает так: «Не позазрите просторечию нашему, люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить.

Небрегу о красноречии, не уничижаю своего языка русского. ...Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев».

Аввакум пишет царю Алексею: «Вздохни-тко по-русски. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек».

Сосланный в Сибирь Аввакум так описывает путь по Тунгуске:

«О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, стеной стоит, и поглядеть — заломя голову!»

Народная молва так оценила борьбу Аввакума за народность языка: «Яснее солнца письма Аввакумовы».

Однако возникла и оппозиция. Пуристы находили невероятным допустить в литературу «деревенских баб басни».

Лишь в середине XIX века сочинения Аввакума Петрова были оценены как замечательный памятник живой русской разговорной речи.

* * *

Со времен Петра I литературный язык наш испестрили слова немецкие, голландские и французские.

Сам преобразователь даже в быту любил щегольнуть голландской фразой. Проезжая Белым морем, поставил он на берегу памятный крест. На поперечном дереве вырезал собственноручно: «Дат крус макен Питер Михайлов». («Этот крест сделал Петр Михайлов».)

Во второй половине XVII века появляются в Москве ученые люди с Украины. Ученый ритор обучает москвичей ораторскому искусству:

«Наиперше маем зложити з письма святего фему. Бо ведлуг тея фемы мусится все казане чинити... Же бы що обецалем мувити и показати, то и мувилем и показалем». («Сначала выберем тему из писания. Вокруг той темы сочиним все сказание. Что обещали, то и скажем и покажем».)

* * *

Нестроение литературного языка упорядочил Ломоносов. Он составил грамматику языка русского. Ломоносов переновил корабль русской литературной речи. Обветшавшее убрал с дороги. Славянский язык остался в книгах церковных.

Когда Пушкин принял в руки руль — правило корабельное, литература русская пошла по курсу державному, славному. В паруса дунули русские ветры.

Сколько веков полноводная река живой народной речи плыла рядом с речью книжной!

Хотя бы бегло взглянем, рядом жили эти две стихии или вместе?

Русские люди искони любили слушать книгу. Фабула книжного сказания, если она была разительно яркой, запечатлевалась в памяти слушателей.

Устно-народное поэтическое слово, заимствуя книжный сюжет, никогда не воспринимало форм грамматических. Полюбившийся сюжет народ непреклонно обогащал русскою красотою.

Наблюдаются явления и обратного порядка. Например, в XVI — XVII веках писатель-историк, собирая материал для биографий той или другой исторической личности, иногда обращался к памяти народной. Если в устах народа все эти памяти были живыми цветами, то переведенные на условный литературный язык цветы эти нередко видятся нам поблекшими.

Таким образом, стихия живой народной речи и стихия речи литературной, условной существовали хотя нераздельно, но и неслиянно.

. . . .

«Помянув родителей», то есть века XVII, XVIII, выходим на широкое раздолье русской литературы XIX века.

Тургенев сказал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

В этой похвале Тургенев объединяет и живую народную речь, и русскую речь литературную.

Язык классической нашей литературы XIX века весьма богат потому, что создавали его люди глубокой мысли, люди высоких стремлений, страстно искавшие правду.

Многосложны человеческие характеры, но проницательный взгляд художника-психолога видит и высоту неудобовсходимую и глубину неудобозримую.

Русские классики XIX века в подлинниках штудировали авторов французских, немецких, английских. Блестящее знание литературных форм Запада изощрило русское писательское мастерство.

Каково соотношение русского языка, закрепленного в литературе, и русского языка разговорного?

Если язык русский есть богатство, наследие отцов наших, то славные писатели наши, как добрые сыны, приумножают отцово наследие.

Не департамент одобрил их речь, не министерство рекомендует,— нет, весь народ русский на Севере, на Волге, в срединной России, в Сибири читает и слушает эту речь и находит, что все сказано статно и внятно.

* * *

Толстой изображает судьбу человека внимательно, последовательно, детально.

Психолог Достоевский тонко-прозрачно раскрывает перед нами и свет, и тьму, и доброе, и злое — все, что скрыто бывает в глубинах сердец человеческих.

Но ни нравоучительность Толстого, ни громоздкость Достоевского не отягощают. Это потому, что и Толстой и Достоевский являются художниками слова. Чувство эстетического удовлетворения все время сопровождает работу нашей мысли.

Но сейчас для меня важен лишь следующий вывод: писатели-психологи бессознательно, незаметно внушают нам и приучают нас внимательно и вдумчиво относиться к поведению людей, нас окружающих. И тогда обогатится и расширится твоя мысль, тогда у тебя и речи будут.

* * *

Итак, русский язык стал языком литературы. Что же, река живой народной речи и река русской речи литературной слились воедино? Нет, они остались неслиянны, хотя и нераздельны.

Это потому, что у писателя (классика) все сковано единой идеей: и фундамент, и стены, и кровля — все сцементировано единой мыслью («Война и мир», «Воскресение», «Анна Каренина»).

К творению писателя-классика ничего не прибавишь, не убавишь. Органически целостны и мысль, и язык. Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь монументальны. Эти здания знали наши деды, и отцы, и мы с вами.

Но рядом, но вокруг неутомленно бегущая, терпкая разговорная речь. Можно к разговорной речи применить стих Державина:

Алмазна сыплется гора
С высот, четыремя стенами,
Кипит внизу, бьет вверх буграми...

Еще видится нам теперешняя речь рекой без берегов. Сколько струй чистых и мутных, светло-прозрачных и иловатых!

В последнее время и в печати не раз поднимался вопрос о чистоте литературного языка.

Порою также делаются ребятам краткие, но убедительные внушения:

— Нельзя говорить: одел калоши, раздел пальто. Калоши надо надеть; раздеть можно человека, пальто надо снять. Правильному языку учитесь у великих наших классиков.

Если первые две заповеди конкретны, то последняя абстрактна (по-русски говоря).

Правильно и достойно поступают, когда велят молодежи учиться языку у классиков.

Школьная программа предписывает знакомство с некоторыми образцами классической литературы. Что имеет в виду школа? Ответ дают темы программных ученических сочинений: характеристика Онегина, Чацкого, Печорина; роль крестьянства в «Кому на Руси жить хорошо».

Следует отметить, что если в классическом произведении налицо яркая фабула, то молодежь причтет такое произведение к числу интересных книг.

Но, получив задание учиться у классика языку, ученик по-иному должен перестроить свои мысли.

«Учись языку у Толстого»... Это целая программа. Ученик раскрывает «Войну и мир». С чего начать? Разобрать фразы по частям речи и по частям предложения?

Кто будет проходить такой «заочный курс»?

В планах по обучению языку у классиков есть еще один важный пункт: любая литературная эпоха очень быстро становится историей.

Боюсь сплетать силлогизм — не сделать бы вывода, что Пушкин, Толстой, Достоевский являются уже историей литературы и произведения их — исторические памятники.

Нет, живы они и, во-первых, потому, что писатели эти запечатлели несравненную глубину русской философской мысли. Живы они точно так же, как живет и вечно юнеет могучая русская музыка Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.

Неумирающая сила дышит и в изобразительном искусстве того времени: Серов, А. Иванов, Суриков, Репин и др.

Древний философ говорит о Гомере: «Гомер каждому, и дитяти, и мужу, и старику, столько дает, сколько кто может взять».

Если книга заключает в себе светлый разум, чистую совесть, поэтический талант — в такой книге великая сила и угодье.

В греческом языке слово «логос» обозначает и «слово» и «ум». «Слово есть провозвестник ума». Мы должны всячески обогащать свой ум, свою речь.

Философ Платон требует, чтобы творческий пафос присущ был и педагогу-учителю, и плотнику-строителю, и ремесленнику.

Гениальный Ломоносов воплотил в себе идеи Платона. Ломоносов был и физик, и химик, и филолог, и историк, и ученый-электрик, и географ. И любой вид деятельности Ломоносова озарен, как солнцем, творческим пафосом, поэтическим вдохновением.

Разнообразны виды человеческого труда. Но интерес к литературе, к книге объединяет людей различных профессий.

* * *

Родимый край, реку, берег любят не за красивые пейзажи. У меня стопа открыток — виды Севера. Бу-

мага и бумага. А берестяной туесок из-под морошки сколько лет хранит живое благоухание родины!

Как птицы по весне летят на Север и поют: «В крае суровом, ненастном, далеком родина наша, родные леса»,— так неутомленно стремится наша молодежь в края небывалые, но прекрасные.

Свойства поэта и художника чудодейственны. Творческая сила одного человека заставит десятки людей почувствовать пленительную, нежную красоту северной природы: тень дремучего бора, сияние цветущих лугов, жемчужные нюансы неба и воды...

Вспоминаю северную сказку. Парень идет с девицей по берегу, спрашивает: «Богата ли ты?» Она отвечает: «Я богаче тебя. Видишь, за рекой черный ельник и белый березняк?» Он говорит: «Ну что — елки да березы боговы». Она говорит: «Нет, мои эти ели и эти березы! А видишь, летят по реке лебеди и утки?» — «Ну что, лебеди и утки боговы!» — «Нет, мои эти лебеди и утята!»

* * *

«Учись — свой ум точить!» И ты, творческая душа, руководитель, передовик, оттачивай свой ум и свою речь на алмазном камне художественной литературы.

Ты, дорогой мне человек, перекинемся душевным словом: каких писателей ты успел полюбить? Я, например, люблю Чехова и Пришвина. По-моему, никто так, как Чехов, не видит человека.

Лаконизм, простота, изящество, высокая художественность — все собрал в себе Чехов. И Пришвин: уж ты все свои бока обтер, лазая с ним по тундрам, по лесам, по горам, по долам. Это он научил тебя видеть и понимать природу, и землю, и всякую тварь, на ней живущую.

Гляжу на Чехова, на Пришвина. Они ничем от нас не отгорожены, как и те светлые, которые жили и творили в прошлом столетии.

* * *

Если хочешь стать добрым, разумным и желанным собеседником, читай книги, в которых словам тесно, а мыслям просторно. Найди поэта, который видит солнце «и в малой капле вод».

Полюби книгу, которая научит тебя видеть «разумное, доброе, вечное». Читай то, что обогащает твой ум.

Если в тебе самом есть содержание, то и каждый твой день будет содержательным. «Хозяин что ступит, то дело найдет».

Когда научишься видеть, что «серенькое» русское небо богаче красок жемчужной раковины, когда почувствуешь глубину беседы простых людей, тогда любое твое слово к товарищам будет живым.

Как учиться у художника? Поживи с Чеховым. Вникни в те рассказы, где Чехов вяжет героя с природой.

Каким художником является Чехов в ряде своих «весенних» рассказов! Ранняя, зыбкая весна, недавно оттаявшие поля, подмерзшие лужицы — будто карандашный набросок. Но велико изящество этих скудных линий. Чехов как истинный поэт видит, что сквозит и тайно светит в этом предначатии русской весны.

Чехов не берет взаймы и у словесности фольклорной. Речь его разительна богатством мысли. Чехов облекает мысль в простые слова, «но им без волненья внимать невозможно». Иной чеховский рассказ «тих, как день ненастный», но оттенки северного жемчуга нежнее и изящнее брильянтовых изделий. В противоположность, например, Гоголю, у Чехова нет речений роскошных, обворожительных.

Тонкое изящество чеховской мысли таково, что вопрос — «язык чеховских рассказов вместе или рядом с живой народной речью?» — вопрос этот окажется примитивным или тяжеловатым.

* * *

Вопрос о том, как поживает «народная» речь в наши времена, есть вопрос школьный, отвлеченный. Быт города и деревни нивелируется. Устанавливается массовый язык.

Поэтически одаренные люди давным-давно равняются по тому или иному направлению общей литературы.

Я упомянул, что словарь печатной речи и речи устной в наши дни стал нейтральным. От газетного пошиба не убежишь.

Если говорить о разговорной речи, то как прежде, так и теперь люди не записывают своих высказыва-

ний. Устное красноречие не теряется. Если человек талантлив, если мышление его живо, таких людей ценят: «У него есть что призанять».

Над языком, над речью в первую очередь должен думать писатель.

Тусклое пренебрежение, косное предубеждение к «простонародному» языку зиждет язык литературный не на живой речи, а на литературно-бумажном наследии. Словарь русского народного языка просеивают не через решето, а через сито. Вместо доброй муки не пойдут ли в дело высевки?

* * *

Разговор о языке, о речи, как о всякой вещи, тогда будет на пользу, когда ты видишь в речах собеседника «раздумьице великое». Если он не удовольствован знанием, науками, ты добавляй. И спор не беда: в споре истина сыскивается.

ИЗ ДНЕВНИКОВ

Со мною не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне ли застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрестка и тумана — и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза. (Или это разум вдруг обострится?) И одним умом думаешь — когда-то в детстве-юности шел ты и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, т. е. то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее *тогда* и происходящее сейчас соединилось в одно *настоящее*. И всегда в таких случаях, чтоб «вспомнить», когда я это видел, мне надобно шагнуть *вперед* (отнюдь не назад).

«Шедший сзади был впереди меня».

В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчетливости и несомненности уяснилось мне.

В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной.

Потом опять тянулись дни и месяцы обычного житья-бытья. Но уж это мне ясно и видно, что в «те минуты» я отнюдь не выходил из себя, но *приходил в себя*. Это были минуты сознания и знания. И я отчетливо видел (понимал), что многолетнее мое житье-бытье проходит как бы в комнате без окон. И я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилось-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознанье, иное бытие, настоящее.

...Как-то я уже поминал: старая девица (из богатых), как настанет Велик день или святки, и она в те

дни опухнет от слез. Вишь, юность и детство вспоминает: как-де у них празднично было...

Это мне непонятно. Вот хоть бы мое дело: наследством, по родителех, не судил бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое наследство! Неиждиваемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. «Не говорю с тоской — их нет, но с благодарностью» — оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство — не воспоминания для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили доброчестно. И тихое сияние этой благостной доброчестности чудным образом светит и мне. Светит и посейчас. В этом какой-то великий и благостный закон. О, как это должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей!

И вот именно поэтому люди любят рассказать-вспомянуть свое детство-молодость. Бабки-деды — внучатам, отцы-матери — детям, бабки-хозяйки — у печки, у плиты — друг дружке.

Бывает, что человек вынес в жизни множество горя и — представьте! — он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими! Потому что самый незначительный человек, вынесший много горя, становится значительным, заслуженным.

Старики, когда скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись, начинают говорить о них как бы хвалясь. Перенесенные скорби становятся приобретением.

В течение тридцати лет знаю женщину, теперь уже старуху. К двенадцати годам лишилась родителей и пошла работать «на торф». Вышла замуж за горького пьяницу, который удавился, оставив ее с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живет относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал ее рассказы об ее жизни. Старуха эта всегда производила впечатление существа забитого. Но год от году рассказывает она свою жизнь интереснее, художественнее, вдохновеннее. Лет двадцать назад она немногословно-кратко вспоминала о том, как умер ее отец: «Пошел отец-то к утрене, весна была, воды. Он меня, крошку, на руках нес. А утреню отмолились, на обратном пути (из села в деревню) он присел отдохнуть и умер».

Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ее, стоя у заутрени, чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане старуха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость.

Передавая печали и бедности своей жизни, человек, конечно, и вздохнет, и задумается. Зато как любо, как весело пересказывают люди светлые картины своего житья-бытья. Об уюте родительского дома, о доброй воркотухе-бабушке, о труженике-отце, о нежно-заботливой матери. Все они давно умерли, и кончина их, в аспекте прошлого, представляется рассказчику закатом тихим и мирным.

О бабушках, о тетушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники, именины. В том же настроении, веселяся, опишут и случившиеся пожар, покражи.

У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного, ничего не отпечатлелось. Бездарному все ни к чему, все мимо носу прошло.

Самая великая печаль человеку — утрата близких, вековечный уход их. Уходят отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и совестно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, «годы катятся, дни торопятся», пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, ее неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только мать сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны (старость нередко приносит известное нечувствие).

О, как досадно слышать:

— Все это было, да прошло. Что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет...

Немысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел, без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестное бывало, но надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней и — почувствуешь удовлетворение.

Все, что ты видел, все, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, все это, как некие неиждиваемые дрожди, остается в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество (твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними)...

Из сказанного вытекает силлогизм, ради которого я и весь этот разговор завел: мне часто пеняют, и на меня дивят, и меня спрашивают: «Для чего ты в старые книги, в летописи, в сказанья, в жития, в письма преже отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»? И я отвечаю: «Совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь-история моей семьи, отца-матери, бабок-дедов...»

Творчески одаренный человек создает около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. «Подобное влечется к подобному» (Платон). У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живет сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем «большого» искусства была церковность. Центром внимания «большого» искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многострунную реку русских художеств... И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучи царя Михаила, всячески тщился уподобить живое лицо иконописному

лику, то в конце века наоборот: «белостью и румяностью», доведенными до лубочности, старались добиться «живства». Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон.

Но и сторонники Никона, теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть незаметно для себя, увлеклись «живостью» в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель Севера, холмогорский архиепископ Афанасий (род. 1640 г., умер в 1702 г.) и современник его, страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим. В Сийском монастыре была старинная живописная мастерская. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим, была, несомненно, и холмогорская мастерская. И если у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность «сийского» стиля, то на Холмогорах, поощряемый широкою, жизнедеятельною натурой Афанасия, вводил в иконопись реальный пейзаж, «младую округлость» фигур, белость и румяность ликов. Впрочем, и сийская школа давно, еще до расцвета своего при Никодиме, писала ангелов с обнаженными по колено ногами, с голыми по локоть руками.

В таких случаях исследователи начинают, как дятлы, долбить о влиянии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют (А. Голубцов) исключительно влиянием Немецкой слободы в г. Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасий и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству.

Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а главное, украшать дала толчок, стимул бытовым народным художествам и ремесленникам. В течение двадцати одного года буквально день и ночь «без поману» и на Холмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по Пинеге работают «каменные мастера», «плотники добрые», «искусные умельцы по железу», «мастера кузнечного дела», «добрые мастера столярного художества», «изрядные живописцы-малеры». (Эти «малеры» расписывают карбаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галереи и переходы.) В

великом фаворе у Афанасия были художники — резчики по дереву и, конечно, резчики по кости.

Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальных, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств Русского Севера оно стало и широко известным, и наиболее оцененным.

Читающий статьи-исследования об этом искусстве получает впечатление, что оно как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Холмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая и примеряя, один из исследователей (а их всего два) полагает первым организатором холмогорских костяников зятя Ломоносова, Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера (правда, эти «исследования» носят очерковый, эскизный, чисто дилетантский характер) не рассмотрел, не оценил столь важной, столь значительной в истории искусств эпохи, какова была эпоха Афанасия и Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время.

Между тем «зажиг» пошел от Афанасия. Не при нем костерезное художество зачалось на Холмогорах, но он первый единичных резчиков собрал в «число».

Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный «свод» русского художества — «Сийский лицевой подлинник», дали резчикам рисунки-образцы и подробнейшие инструкции.

Эпоха Афанасия была эпохой лютой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником «Никоновых новин» и «адамантом древнего благочестия от своих нарицашеся». Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы заставило его усомниться в правоте раскола. «Ежели по букве мы в малом чем и видимся правы, то по духу церкви единой вселенской мы не правы: воюя за меньшое, попираем великое». Афанасий сблизился в Москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний — Стефаном Яворским, Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, с художниками — Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток «божественных» писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким.

Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на Севере. Дальновидный Иоаким учредил в Холмогорах архиепископию и послал туда Афанасия. Староверы твердили, что-де «нонешние архиереи чины и уставы церковные ни во что кладут». Между тем Афанасий был любителем, несравненным знатоком и ценителем богослужебных уставов, чинов и обрядов. Благодаря Афанасию раскол не стал на Севере явлением массовым.

Северные люди чутки ко всякой красоте, к художеству, к искусству. Ценитель, любитель и знаток «всякой красоты и преизящности», Афанасий в своем строительстве необычайно широко применял народное искусство.

Построенный Афанасием каменный собор в Холмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы «кованы с вымыслом». Замки, кованные по рисункам самого Афанасия то в виде коней, то в виде птиц, до сих пор, двести лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника.

Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козьеруцкой пустыни, владыка зело кручинился: «Откудова вы взяли такое поведение, чтобы городить фряжский турм?» (Дас Турм — башня.)

Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на Севере храмов, предписывая «освященное пятиглавие». Надобно сказать, что северные зодчие и плотники зачастую «учинялись архиерейскому указу ослушны и противны»...

(Во всяком случае, мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна.)

Но любовь Афанасия к бытовой «преукрашенности» нашла сочувствие. Из Холмогорской и Сийской мастерских распространялись рисунки-образцы всякого «узорочья». Кроме старорусских здесь видим и мотивы североевропейского барокко и рокайль. В горниле северного народного творчества европейское барокко XVII века и французский рокайль переплавились, стали одним из видов вполне русского стиля.

В XVIII веке мода на художественные вещи, сделанные «по маниру городов версальских», распростра-

нилась всюду. И холмогорские, например, резчики-костяники, к чести их, могли предложить обществу этот «барок» и этот «рокайль» уже в чисто русской переработке.

Прочитываю книгу «Чиновники холмогорские соборные». Первый завод Афанасьев на Севере... Бывал там, видал места те. Шумящие под ветрами воды, песчаные берега. Древний деревянный городок, и поодаль меж старых елей белокаменное Афанасьево зиждительство. Великого размаха был человек. Под стать Петру-то. Какую художественную нарядность, какую цветистую картинность... Как декоративны, каким восхитительным зрелищем, истинно театральным, были даже эти «большие и малые провожания» Афанасия из его дома к службам и обратно. Перезвоны, обрядное пенье, узорные аксашиты, разноцветные штофы... И все это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно-восковым небом Севера. Сколько тут было для народа посмотренья-погляденья! Было на что полюбоваться!

А ведь не про это, про другое любованье мне поквакать было охота. Ведь то моя родина... Чины холмогорские соборные старинные глазами читаю, а сердечное, а умное-то око видит, как все это при мне, во дни юности моей было. Вижу обтаявший пригорок у южной стены собора. И мосточки тут вытаяли и обсохли. Бугор соборный хоть пообсох с юга, трава еще бурая, прошлогодняя. Старухи тут сидят в шубах с долгими рукавами. Из-под шуб видны сарафаны с репейчатыми пуговками. С холма далеко видать: реки еще не вышли, но уже лед посинел. Под Куростровом, где стоит древний ельник, уже вон какие забереги: попадут ли куростровские к заутрене... А что Матигоры, что Куростров — они художники, любители до чинов, до обрядов, до всяких прекрасностей, интересностей!

Долга предвесенняя и весенняя пора на Севере. Долго вешние воды шумят и поют; долго глядится весеннее небо в полые разливы рек. Долги вечерние тихостные апрельские зори. А в три утра светает. В велик пяток на погребенье, бывало, бежишь: светлооблачно, с моря ветерок, инде полоса снегов, инде воды по улицам. Середка реки водой взялась, от ветра рябь идет. Меж островами лед стоит. В распуту весеннюю

бывает холодно, с ветром, когда реки идут, а весело на сердце! Бывает, река еще стоит, а уж Город утопает в водах. По улицам на плотах ездят...

Таким образом, читая о XVII столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соглядая художественность быта оного столетия, радуюсь тому богатству впечатлений, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя там, на родине.

И вот ведь какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлое для меня. Что было потом, лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем: в юность отец-мать подарили мне сто рублей, а я прибавил со временем другие сотни. Ведь первая-то сотня не потерялась!

Может быть, я не вспомню по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность. Очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь непреходящая, нестареющая.

Вот почему веселить может «воспоминание».

Откуда поэт-художник? Что это такое? О чем истинный поэт нам толкует? Тот поэт, кто не почивает на житухе обывательской, сытой ли, голодной ли. Мысль поэта имеет «криле позлащение голубини». И любо поэту, когда мысль его в каковом-либо месте, в каковой беседе с единомысленным человеком может привитать...

...В незакатной белой ночи Севера любо «криле-то голубини» расправить, чуда слетать. Там мое радование... Не пуста Россия-та! Люби, храни сердцем и мыслию места-те святые святой Руси. И не сомневайся, что они и есть на своем месте...

Соломонидушка, бывало, скажет: «Ты все дома, как печь. Печи никуда не надо...»

— Я, Ивановна, умом летаю, где мне любо. Везде на оконце посижу...

«Разумом молчи, разумом глаголи». Правило основное в быту и премудрое. Живя в разуме, сам себя бережешь и ближнего. Берёчи ближнего, войди и в разум сего святоотеческого слова: «Кто себя видит, в брате не видит». Ежели б мог я себя по-настоящему, каков я есть красавец, увидеть, дак ужаснулся б я. Брат-от ангелом бы показался. А ежели и бросил отру-

гиваться, опомняся, захлопнул пасть-ту свою окаянную, дак без злобы язык-от прикуси.

Лукавой ведь может подсунуть тебе сознание: «Вот-де мне что приходится выносить! Вот-де что Я терплю!..» Ложно сказано: «Не видал я праведника оставленного...» Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не дает понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня, и только от меня терпят...

...Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить: «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим?!» А вот это-то и надо сделать, надо исполнить!

— Да отвержется человек себя!..

Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе все, что в мире сам видишь, надо заставить себя проснуться, очнуться...

Даже у Тютчева живы и живут в нас, и вечны, и могущественны лишь тема смысла существования, тема бога, темы философские, также несравненные типические описания природы, картин природы. А темы политические уже отошли. Не трогают нас, сколько бы пафоса ни влагал сюда поэт...

Глубокая и чистая искренность человеческая поражают нас в Тютчеве, в его поэзии и влечет нас к нему. Это был человек-философ, поэт с миросозерцанием цельным и законченным. Поэт был человеком светским и семейным. Была привязанность и «на стороне». Но печать великости душевной у Тютчева и к дальним и к ближним.

В родном городе, в музее, было множество изумительных моделей старинных церквей, домов... Была нарядная утварь в виде зверей, птиц. И я, еще подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство творчества заражает, вдохновляет, подвизает художника к творчеству.

Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчелы; время точно остановилось... Творческое счастье охватывает тебя.

Вот она, сказка о заколдованном Городе... Святые вечера, святые дни. Далече будни. Ныне время наряду и час красоте... Как бы матери голос слышу, поющий северную ста́рину-былину:

Королевичи из Кракова
сели на добрых комоней...

А пушистые хлопья кружатся над Городом и неслышно ложатся в снег.

Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями Каменного города так же вот без конца кружатся белые мухи. И падают, и падают. И уже все покрыто белой, чисто праздничной скатертью. Святые вечера. «Во святых-то вечерах виноградчики стучат...» «Виноградие» — северная коляда. Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах о святках. Об рождестве сказка стояла на дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея. И ночи в звездах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам бог живет»... Тут-то бабки и дедки сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для святочных вечеров женщины вынимали из сундуков и парчу и жемчуга нарядов XVII века, фижмы и робы елисаветинских мод и фасонов.

Но что вспоминать детство?! Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела с Севера сюда и заворожила...

Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской. Родился в селе Серегове Яренского уезда в 1850 году. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на мурманских пароходах. А матери моей предки (и дед мой по матери) все служили в Адмиралтействе при корабельных верфях.

Род матери моей покоится на Кузнечевском клад-

бище (а частью на Соломбальском). Здесь же и отцова мать, бабушка Мария, и отцова сестра Павла.

Я сегодня помянул род свой... День с утра такой северный, какой на родине милой бывал, когда реки тронутся. Во второй половине апреля, бывало, пойдет лед на море.

Как бы я туда слетал, походил бы по родимым берегам, ветрами бы подышал, детство и юность желанную помянул. Как беспечально там жизнь проходила...

Детство, юность, молодость — все у меня с родимым городом северным связано, все там положено. И все озарено светом невечереющим. Годы золотые, юные — заботы, тревоги о куске хлеба на завтра я там не ведал. Делал то, что любо было... «Что пройдет, то будет мило».

Но разве мало милого было в здешних местах, во вторую половину моей жизни, столь несхожею с бытом Севера родимого? Как сравню, думы там были невеликие, хмель молодой одолевал, печали молодые, несмысленные. Мать, разумная, терпеливая, дом, житье-бытье вела и правила, а я с сестрами одну заботу знали — учиться. Вишь, потому еще жизнь-та в те поры красна и светла вспоминается, что сил душевных и телесных много было.

А теперь все — ох да ох... Не живем, а колотимся, как навага о лед.

От юности моею увлекался я «святою стариной» родимого Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родного края, сказочная красивость и высокая поэтичность этой культуры — вот что меня захватывало всего и всецело увлекало.

Я пишу, ведь не учу и не выдумываю. Заношу в тетрадку то, что становится для меня ясным, что в моих мыслях высветляется для меня. Вынашивая «свою веру», сам с собой об одном и том же и беседую. Все «зады» твержу, чтобы вперед-то надежнее ногу поставить...

Хромому да подслепому, всякий шаг мне затруднителен. Вот и сижу я у оконца в Городе ли, в деревне ли, справив малую порядню домашнюю (пол вымести, самовар согреть...), сижу и гляжу я на небо. Меняется

оно ежеминутно — туча накатится, облака пройдут грядою с просветами. Вижу я лик неба выразительным, многоглаголивым. В зиму ли, в осень ли, весною ли особенно выразительна и беседлива блакитная пелена небесная...

Я и дождливое, ненастливое небо люблю, когда и лес-от дальний туманцем потянут, и вороны мокрые сидят на изгороди. Очень уж с тихим, ненастливым мне душевно и понятно. По городским улицам люблю в дождь: точно я с приятелем хожу.

С утра, при тусклом солнце, зажундели мухи: подумаешь — лето. А по обеде опять затянуло дождичком.

Жизнь с природою—телу здравие и душе веселие. Однодумно надо жить с нею и поступать. Надобно знать и переживать, дождь ли идет, ветер ли, непогодушка,— ты слушай, люби. Первый снег напал, ты празднуй, как дети-то об этом празднуют. Хиреет творчески человек, изолировавший себя от жизни природы, от времен года городским комфортом. Надо чувствовать, надо любить, надо переживать времена года.

Смотри-ко, как вместе небо с землею. Как земля живет и дышит, как зависит от неба. Я говорю здесь о дождях, о снеге, о ветрах... Лес, поля, вот эти кустышки травы, глинистые дороги с глубокими колеями, с дождевыми лужами, стаи галок, ворон, то прилетающие, то опять исчезающие куда-то,— как все это связано с временем года, с состоянием погоды. О, добро человеку жить, как галка и ворона! Он сохранит душу живу...

Погода стала строптивиться. По дню-то и дождь не раз пробрызнет, и ветер со всех румбов, и солнышком с краю поманит. Облаки уж все по сезону: с темной подкладкой. Холодное сей год «бабье лето»...

Отвык давно от этого ощущения счастья. Душа — точно беспокойная, бесприютная, безнадежная птица нашла родимое гнездо. Есть ли большее счастье, как улучить, обрести это единство, тождество своего душевного устроения с душевным состоянием природы? Не сады, не парки, не луга, не нивы... Заунывная равнина. Ухабистые глиняные дороги. Изрытые и брошен-

ные поля. Молчаливо, согняся под мешком картофеля, опираясь на лопату, пробредет человек — и нет никого. Над молчащею равниной низко склонилось облачное небо. Быстро опускается вечер. Редкие корявые сосны вдоль дороги теряются вершинами в сумеречном небе. Печаль убогих полей, пустынность дорог, одиночество этой равнины... О, любимая моя царица — бедность.

Говорят, душа не хочет расстаться с телом, когда начинают петь и играть гусли. И душа птицею устремляется на этот зов.

Я увидел, узнал, нашел себя бесконечно своим этой заунывной осенней заре, бесприютности этих вечерних полей и дорог. Душа находила свое, она летала как птица; сладко ей было пребогатое молчание заунывных далей, безглагольных дорог. Никакая музыка не бывала столь вожделенной, никакая песня столь родимой, ничто не звало душу столь властно. Давно не слышал я столь родимого голоса и зова, каким позвал меня этот осенний пустынный вечер.

На западе, низко над землею, все время сияла широкая, как река, лента зари. Ее немеркнущее золото было как обещание, как победа. И радость единства убогой души с бедною природой венчалась венцом надежды на счастье таинственное.

Уж таково-то душевно насытил я сей год свое сердце «небесьем» осенним, величавым, среброоблачным. Осень подошла величавая. Вечерами по залесью туманисты дали. Застегнувшись да шапчонку нахлобучив, посиживаю на улице, поглядываю. Что же я так рад приходу осени? Или она мне по нраву, или я ей по душе?

По горизонту то ли облака земли касаются, то ли мать сыра земля туманы возносит... Обвечерело, сумерок опустился, в перелеске галки на сон гнездятся, еще тараторят. Не наговорились за день-то... А се и писать не видно. Далеко на огородах костер замигал.

Я трепетно обожаю предначатие весны. Но весна для меня —«невеста неневестная». Душа моя молится таинственной поре — времени марта...

Осень приемлется в иных переживаниях и настроениях. Когда поля сжаты и побурели, леса оголены, дороги блестят лужами, ветер гонит по небу серые обла-

ка, утро туманно, а ночью стучит в окно дробный дождь,— кому желанна эта пора? А мне она люба и желанна. Потому что никто ее у меня не отымет, никто не станет оспаривать. Я сватаюсь по осени, и она идет за меня. Венчаться, венчаться надобно человеку с природою, с временем года и жить вкупе и влюбе.

Роскошь фетовской весны, май, соловьи, ахи и вздохи под черемухой душистой — этому я не пайщик. Не станет меня с это. Ну и «золотая осень», олеографичная: на нее все зарятся. Я люблю рисунок мокрых сучьев и веток на фоне серого неба «осени поздней».

Когда «открыта» была новгородская икона, отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшие в России, скажем, до выставки древнерусского искусства в 1913 году. До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или «фотографии Борщаговскаго» (чеканка, орнамент) или «боярский стиль» (картины Шварца, Маковского и др.). Васнецов, Нестеров, Абрамцево подвели к «новгородской» иконе. И вот точно завеса упала с глаз: увидели и удивились. Увидели искусство как бы с другой планеты. Искусство светлое, широкое, «простое», но как бы искусство иного мира, даже иного народа. Четыре столетия, отделяющие нас от XIV — XV веков, веков расцвета русской культуры, чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа.

Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить.

Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство новгородское ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас. О той эпохе, или эпохах, мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории, или приходят на ум, если мы хотим представить живых людей, исторические романы XIX века: Загоскин, Соловьев, Мордовцев, также оперы: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка»...

Историческая беллетристика и историческая опера XIX века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая беллетристика —

это почти сплошная фальшь. Так же картины Маковского.

Но я ушел в сторону. Все они, и романисты-писатели, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского и Римского-Корсакова, показывают нам как XIX век, с середины которого началось «возрождение национального русского искусства» в живописи, и в архитектуре, и в музыке (только не в литературе), все они показывают только свое представление о жизни и людях Древней Руси. И в этом их право.

Может быть, здесь в чем-то мы видим Русь XVII века, даже XVI. Но подлинного лика удивительных эпох Новгорода, Радонежа, Андрея Рублева здесь нет.

Теперь, после «раскрытия» икон, мы видим, какою была живопись — столь связанное с жизнью и бытом, столь почитаемое искусство.

Мы говорим: «Вот они какие, эти жизненные святыни наших предков! Какая она странная, и непонятная, и прекрасная — душа наших праотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске. Как все это, говорим мы, непохоже на привычные наши представления о Древней Руси...»

Итак, мы видим икону — то, что было прижато у сердца древнерусского человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо и ощутимо мы не видим, как жил с этою иконою человек XIV — XV веков. Лик иконы выдвинулся из глубины веков, а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали преждебывших времен.

Жития русских святых, исторические документы, документы юридические, также эпистолярная литература Древней Руси — вот что, при умении видеть и слышать, может оказаться крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху и поставят тебя на ту землю, на те дороги, по которым ходит интересующая тебя жизнь и люди. В особенности важны жития, как произведения фабульные, связные. Они дают картину яркую и подлинную. К великому сожалению, до нас лишь в немногих случаях дошли первые редакции житий, представляющие собою непосредственные записи с уст самовидцев и очевидцев.

Литературные вкусы XVII века, любовь к «крас-

нословию» и «плетению словес» подвергла переработке драгоценные подлинники житий. И все же наша любовь и внимательность увидит там живых людей и живые дела.

Скажут: «Что уж ты все древних-то людей хвалишь, чем они такие отменитые?» Да! Древность и, скажем, средневековье — это была юность, молодость человеческой душевно-сердечной, умно-мыслительной восприимчивости и впечатлительности. Древний человек несравненно был богат чувствами, воображением, памятью. Ныне одряхлел мудрец. Мало радуют ныне «специалиста» его знания. Будто кляча с возом...

У природы лик всегда живой... Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны. Сколько годов я гляжу зимою и летом, ночью и днем на купу деревьев, что против моего оконца... Всегда они живы, всегда скажут что-то.

В деревьях, в цветах — чудо вечно юнеющей жизни...

Апрель, весна ведь. И коснулась сердца радость моя вечная. Огляделся: тихо-светло так... И уж не городской бульвар, а «насадил бог сад, еже есть рай». Дорожки видятся чистые, как бы речным песком усыпанные. Нежно и тонко нарисованные весенние деревца тихими рядами. Как бы внове вижу это воздеяние гибких тоненьких веточек. Человек-от живет, мятется; день так и век так: сгибайся, падай, подымайся. А эти деревца и во дни среди шума особо стоят, с суетою неслиянно, светлы и тихостны, умильные дети Матери-Земли. Одно ведают — тихость неба, благость света, животворную силу весны...

Негасимые, немеркнущие весенние зори Севера, которыми от лет младенчества любовался я всегда сквозь узор стройных берез, стоявших перед домом родительским, навсегда запечатлелись в сердце как нечто прекраснейшее. И теперь, и всегда было сладко мне видеть утренний рассвет. И дивно мне, что и здесь, у второй родины, в городе брата моего любимейшего, что и теперь, на пороге старости, живу я опять оконцами на Север, опять в стогодовалом доме, опять сквозь узор деревьев сияют мне весенние зори утром и вечером. Там, далеко на родине, в юности, в трепетные

часы рассвета ждал и ждал, и мечтал я сладко о дружбе, о любви. И вот молодость прошла. Много ли годов впереди?.. А позади много.

О неведомом счастии, о неведомой радости без слов молилось сердце в дни юности, там, у светлого моря, когда, забывая о сне, глядел я в жемчужные, таинственные зори белых северных ночей.

Смала был я любитель рисовать, красить. На то и учился, падая по цветам древнерусского стиля. Любителем навек остался. Потом былинами и сказками стал управлять. На том коне и еду. Но не интересна мне автобиография эта. Никак! Главное: чем душу питаю. Зрение утекает, как из утлой посудины вода. Прислушиваюсь к музыке. За целые века много тут дива положено. «Светская» европейская музыка. Не только оперетки, но и большинство опер... Верди, Бизе в XIX столетии... Но и Рахманиновы, но и Скрябины, думается мне (я еще не вникал сюда), не для меня. Но говорить об операх и судить... не своим я тут товаром торгую. Я вот на сем свете несказанно, невыразимо люблю природу. У Римского-Корсакова в музыке есть картины природы. Есть у Глазунова, скажем, «Четыре времени года». Вот сюда мне хочется внимательно приникнуть. В такую «светскую» музыку. Ведь я люблю и народные песни «весенния» и стихотворения о весне, осени, зиме, положенные на музыку.

В молодости я мало думал о том, что восприятие природы у художника, у композитора может быть непосредственным и живым.

В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого — тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек и этого: «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...» Рахманиновская музыка на эти стихи мне не нравится. Светлой грусти весенней нет в этой музыке.

А надо сказать, что благополучные, так сказать, спортивно-здоровые люди в большинстве случаев равнодушны, не замечают, не ценят да и не подозревают великого значения, несказанной значимости красот природы. Здоровые не ценят... Это не значит, конечно,

что всякий человек, заполучив острое или хроническое заболевание, начнет переживать отражение облаков в луже. Сказываю о тех, кто может вместить, кому дано.

Не завидна доля умываться заместо воды слезами, но дивно то, что, как дождевые потоки уносят пыль и грязь с мостовой, так слезы (столь болезненные!) очищают очи мысленные, омывают зрение сердечное, прозрачными творят очи ума.

Таким образом, человек становится счастливым через свои несчастия. Видит прекрасное и великое там, где большинство не видит ничего, обретает богатство в том, мимо чего мир сей пробегает пуст и нищ...

Бреду бульваром. Безлюдно. Пасмурный вечер.

...Пора моей весны пришла. Не подумай, что «вспомнила бабка свой девишник». О временах года баю. Природа украсилась зеленью. Деревья пышно завесились листвою. Не видать неба сквозь веточки. Зелень еще нежная, чудесная. Май наступил. Все поэты эту весну воспели. Соловей, черемуха; тут уж я бессилен, идите к Фету. Пышный пир для детей своих мать-земля готовит: растите, множьтесь, наполняйте Землю...

На днях [1], ожидая трамвая на бульваре, еще издали услышал сладкую такую и тихую музыку... Наконец начал проходить оркестр, за ним взвод за взводом — молодежь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойные молодые лица. Все одеты по-походному. И подумалось: вот мы, старые, как цепляемся за житуху, как разоряемся, расстраиваемся, что не наелись, мерзнем, зиму еще одну доживем ли и т. д. и т. п. А эти, молодые, прекрасные, спокойные, сильные, еще и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют, покорные, кубок жизни. Отводят от себя кубок жизни царственным таким, великодушным жестом. А мы, старичонки, тесня, давя друг друга, друг у друга отымая, лезем к кубку тоя жизни беззубыми деснами, цепляемся, имаемся за него.

Ряды за рядами... Молодые, полные жизни, сил...

---

[1] Запись 1944 г.

Я, заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий, из кривого и безумного своего опыта делаю самовольные выводы. Я, например, никак не жду над собою чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение, не перестанет отмирать зрительный нерв. Материя должна умирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастными». Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо взглянул:

— Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы. Для кого, как не для нашего времени, сказано Тютчевым: «Слезы людские, о слезы людские! Льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвестные, льетесь незримые, неистощимые, неисчислимые, льетесь, как льются струи дождевые в осень глухую, порою ночной».

...Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей...

Вечером остался один с хозяйскими ребятишками. Тьма глядела в окна. Синела керосиновая лампочка. От большой печи веяло теплом. Когда налетал ветер в нежилых верхах точно кто-то ходил. Ребята жались ко мне:

— Дяденька, расскажите сказочку. Страшную...

Куда-то отлетели десятки лет, прожитые в городе. Чудно мне было сознавать, что сижу в деревнюшке. Кругом поля, леса... Далеко до города. На конце деревни пролает собака. Ей ответит другая, и опять тишина. Уже поздно: восемь часов. Ни в одной избушке нет огонька.

Годов сорок пять назад точно так же жались мы, и я и две сестренки, к матери.

— Матушка, запой про кнегиню Юрьевну.

Тоненьким голоском мать поет старину:

Сине море на волнах стоит,
По седой волне корабль бежит —
Юрий-князь в Орду плывет,
Дань-калым кораблем везет...

Тьма глядит в узенькие оконца поморского дома. С моря налетает норд-ост... скрипит флюгер на мачте, во дворе.

— Ох, деточки! Папа-то у нас в море...

Не забуду, каким праздником, каким надолго взвеселяющим душу событием было для наших северных горожан морское плаванье в Соловецк, пятидевное пребывание в мире живой легенды.

Прекрасное зодчество, древняя живопись, древний покрой облачений, старинное убранство не только храмов и келий, но и гостиниц, а главное, неумолчная песня моря, из волн которого, точно сказка, точно древняя былина, точно дивное виденье, точно явленный Китеж-град, возносилась древняя обитель. Кроме того, на Соловках сохранилось древнее столповое, знаменное пение — музыка чрезвычайно своеобразная, необыкновенная, удивительная, некое торжественное, величавое и вместе с тем умилительное, манера пения разительно противоположная театрально-оперным красотам, повсюду и давно въевшимся в наше церковное пение.

Тонкое обаяние русской природы, нежную радость русской весны, настроение какого-нибудь февральского деньκа, когда начинаются уже оттепели, первый снег на покров, одиночество сжатых нив, проселочных дорог, шелест осеннего дождя,— все, что так исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью,— все эти «настроения» мы почему-то алчно и жадно ищем встретить у художника-живописца и у писателя-поэта. При этом нас может оставить совершенно равнодушными обширная салонная картина, изображающая природу. И наоборот, этюд, эскиз, рисунок вдруг скажет нам жданное слово о том, «кого» мы любим. И хочется часто, постоянно этот, скажем, пейзаж видеть. Видеть как собеседника, как друга, который нам такое верное и нужное, взыскуемое нами слово сказал о Любимом, о Желанном, Единственном, но как бы неизъяснимом или неуловимом.

Заветное, желанное дело соглядать лик природы. Соглядатайством этим обогащаешь разум, собираешь в душу сокровища, которые никто не сможет у тебя отнять.

Напрасно тебе кажется, что ненастливые, с дождичком, осенние дни похожи один на другой. Не воображай, что весною, когда тронутся льды на реках, то холодно-ветреные, облачные дни также схожи... Вот около тебя есть человек, лицо которого любо тебе. Посмотри на дню-то несчетно раз оно переменится. То задумчивое, то грустное, то приветливое, то хмурое. То милый-то твой человек брови насупил, уста сомкнул— досадует. То опять брови высоко округлил, улыбка пробежала по губам,— весел друг-то твой, но с выжиданием... А все одно и то же лицо, что и вчера было.

Ты мне скажешь: «Вот ежели любимое-то лицо реветь возьмется неустанно и днем, и ночью, и целую неделю... Сидит перед тобой любимое лицо и пущает слезы с утра до ночи. Неделю я на даче сидел и дожжинушка стояла несменяемая...»

— Применил ты море-океана к малому озеру, а то и к пруду, или к лужице. (Не обидься!) Лик природы — море великое. Сокровищница неисчислимая, несчетная, неизъяснимая. Лик природы — красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство всем дарованное и одному тебе принадлежащее.

Ты любишь вечерние закаты —«слети к нам тихий вечер на мирные поля...» Ты резвишься на зеленой траве, припевая: «Дождались мы светлого мая. Цветы и деревья цветут. И по небу синему, тая, румяные тучки плывут!..» Люби. Это твое богатство.

А вот я люблю тихие ненастливые дни летом. Люблю оттеиели зимою, когда, знаешь, небо оттушевано тонко-серым тоном. А земля бела, как ватман, и по ней черные лужи... А пуще всего я, знаешь, что люблю? — люблю удивительный и неизъяснимый час рассвета. Люблю караулить рассвет и в городе, и в деревне. И зимою, и осенью.

Великое богатство — эти раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало, на родине мать, бабки и зимою в четыре часа встанут. На кухне березовые дрова весело затрещат. По горницам засияют лампадки. И как я радехонек, когда вовремя сон отряхну. При лампе что-нибудь рисую... И вот ок-

на начнут мало-помалу синеть, небо бледнеть. Синий свет зимнего утра потиху начнет одолевать золотой свет лампы, восковой свечи...

Кухня у нас была обширная и по старой моде «улиминована» лубочными картинами. За год от чада и мух яркие краски пожухнут, и к рождеству мама накупит новых лубков. Опять как цветы зацветут по стенам.

...Часто употребляют фразу: «Доброе старое время». Но и в «доброе старое время» во всех ли людях светился свет?..

Обращая мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и все заветное мое, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрет, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих...

К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.

До осязательности живо, как бы наяву предстает мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на Севере, на родине милой. Места по Лаереке временем вспоминаются каким-то садом божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб... Тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, плачевные флейты гагар... Или днем: лесная тропинка, бор-корабельщина, меж колонн, благоухающих смолою паче фимиама, цепь озер, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошеные пожни-луга, цветы, каких московские и не видали. На лугах, на полянах малинник: ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву...

Круглое тундряное озеро (чарус) с плачущими гагарами лежит в версте от Лайского дока, где мы жили. Мимо озера к деревне Рикасиха идут и едут берегом Белого моря (Летним) в посад Нёноксу. Четырнадцати годов я живал в Нёноксе. Посад отгорожен от моря дюнами; с колоколен видать воздымающуюся над горизонтом стену черно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря слышен в домах днем и ночью, при ветре и без ветра.

Вкруг Нёноксы ячменные поля, пожни-луга с сини-

ми цветами, холмы, покрытые белыми оленьими мхами, и всюду-повсюду так нарядно, как бы в садах рядами и кругами богопасажденный черемушник, рябинник, малинник, смородинник. Из ягодника вылетит нарядная тетера и сядет поблизости. Зайцев — тех летом не трогал никто.

Уже и ягод брать некуда: корзина полна морошки, туес полон малины, а все идешь: места открываются одно другого таинственнее по красоте. Круглая сухая поляна белого мха, по белому моху синие круглые цветы — колокольчики, незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку. Поляну окружает стена розовой ольхи и рябины. Пройдешь эту стену (под ногами несметно черники), и уж в глазах золотится полоска жита (ячмень), в жите поет птица симануха. И тут же непременно речка в белых песках, непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике, в ягоднике или, отражая высокое жемчужное небо, изогнется меж сребро-мшистых холмов «высокой тундры». Сколько звезд на небе, столько в архангельском крае озер. И речки наши серебряные текут меж озер и через озера. И с этих озер, куда бы ты ни зашел, с ранней весны до поздней осени крики птицы водяной слышатся днем и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц, музыка родины милой... Лебеди, когда летят, трубят как в серебряные трубы. А гагары плачут «куа-уа! куа-уа! куа-уа!»

Далеко от посада не уходил, все в глазах держал высокие шатры древних ненокских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки заунывного колокола: кто-нибудь в лесах, во мхах заблудился из ягодников. На колокол выйдет.

«И страна моя Белая Индия преисполнена тайн и чудес»,— поет о Севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда, среди этой природы, в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-то сказка виделась воочию. В те годы, сначала в Лае-реке, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы.

Нёнокса было место удивительное, там еще царствовал XVII век в зодчестве, в женских нарядах, в

быту. Художник, любитель старины, эстет зашелся бы от восторга. Красота старины северной пленила меня навсегда годов с шестнадцати (Николо-Карельский монастырь). Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов.

В реку Лаю впадает лесная речка Шоля. Отец брал меня, малого, туда на охоту. Мы вставали на заре, я трепетал от счастья: Щоля, покрытая белыми кувшинками, стада чирков, мелких уточек,— все это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на веслах или с парусом. Воды северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны. Помаваемые глубокими течениями леса водорослей, похожие на косы русалок... Серебряные рыбы меж зеленых кос, раковины. О, как любо было, купаясь, нырнуть в яхонтовый этот мир да оглядеться тамо на мгновение.

Воды всегда шепчутся с берегом, а в карбасе с парусом встречь волнам — то-то у вод разговору с карбасом остроносым. И в Городе у пристаней бывало, где много деревянных судов, суда поскрипывают, вода поплескивает: то-то молчаливая беседушка.

Я ни зверя, ни птицу не стрелял, я смала в белые ночи рыбку любил сидеть удить. Ладно, ежели на уху свежей достану, а я за этим не гонился. Озеро или Лая-река в июльскую ночь — как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод... Сидишь на плотике и боишься комара сгонить, чтобы не упустить какой ноты чудесной симфонии северной ночи...

Нейгауз играл Шопена. Ряд вещей пленительных и по исполнению. Музыка интимная и меланхолическая. Так хорошо; так ко времени; так отдыхает, в себя приходит душа под этот переливный ручей звуков, под ласковый перебор этих струн, под это лирическое и медлительно прелестное веретено, прядущее музыку интимную, трогательную.

Сегодня опять слушал Моцарта. Симфония «Юпитер». Музыка величественная и веселящая сердце. Музыка растет в душе, как «сокол щиряся на ветрах». Величество нарастает. Сердце веселится, как птаха ма-

лая, взмывая под облаки, в лазурь. Дух-от захватывает, не может птаха навеселиться...

И Моцарт и, к примеру, Штраус оба были людьми светскими, оба выступали в салонах. Моцарт любил оперу и был блестящим оперным композитором, как, например, Верди, Гуно, Бизе. Но, слушая Штрауса, представляешь себе венские роскошные гостиные, великолепные танцзалы. А Моцарт выше своего времени, он парит выше европейских столиц. Не прикладываю музыку Моцарта к русской природе... Но инде соединяется с этой светлой музыкой сердце...

...Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берез... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьев на изгороди. А по сторонам тропинки ромашка. А вдали стена темных, важных, неподвижных елей.

Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя... Музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейшая! Иной гул хвойного бора, совсем иначе шумит березовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берез. Под ними кусты ягодника и трава-метляк. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно.

Апрель и говоря дождя... Уж сколько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают спешно. Тучка-то торопится, деревень-то много надо облететь, каплям дождевым многое надо обсказать: то у них и спешная говоря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-от заведет. Я лежу да внимаю... Осенний дождь слушать люблю. Он мое мне рассказывает. Мерная говоря дождя, особливо осеннего, спокой в душу приводит.

Дождь-от знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной беседушку ведет, все мне обскажет. Мое говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних или грозовых летних, или осенних тихомерных,— всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны.

Новостей человеческих не знаю здесь, в деревне. Одни надо мною новости природы.

Рисовать любил с детства страстно. Художествам учивался в молодые свои годы. Ничего в этой области своего не сделал, своего ни в графике, ни в акварели не показал, опричь невеликих декоративностей, но любованье «видимым же всем (и невидимым!)» во мне есть. Люблю рисунки и картины, где тонкостно переданы настроения русской природы, особливо зимней и ранневесенней. Люблю залы картинных галерей, вроде Эрмитажа и Третьяковки, когда там тихо, когда не мешает никто жить с художником. Смотришь любимые картины, рисунки, и радость надмевает твою мысль. Бывало, иду из Третьяковки, точно богатыми подарками кто меня нагрузил. Домой тороплюсь донести. Не знаю, что с таким богатством буду делать.

...О, как я люблю, какую заветную песню напевает уму и сердцу моему, например, саврасовская «Грачи прилетели»! Я родился на Севере, люблю природу родимого края. Вторую половину бытия переживаю в Средней России. Вопросом духовной жизни и смерти явилось для меня умом и сердцем прилепиться к природе второй моей родины. И вот то заветное, что сладко беседует нам с картины «Грачи прилетели», положил я как печать на сердце свое.

Возлюбленная «от младых ногтей» красота русского исконного народного художества, многоликого и прекрасного во всех своих проявлениях. И так, как она проявилась у сергиевских «игрушечников», и так, как она показала себя, скажем, у созвездия «абрамцевских» художников.

Торжественно-величава, может быть и сурова красота родимого Севера. Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с нее. Уж я прилепился сердцем к здешней Владимиро-Суздальской и древлемосковской земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокровище всея Руси, тут и мое. Не тут у меня несено, да тут уронено.

Носле гимназии (на родине) стал я ездить для обучения художествам в Москву. Но оставался страстным поклонником Севера. Приеду на лето домой и запальчиво повторяю, что сколь ни заманчива художественная Москва, но жизнь моя и дыхание принадлежат Се-

веру. И моя мать с светлой улыбкой скажет: «Нет, голубеюшко, ни ты, ни сестры твои, вы не будете свой век здесь на родине доживать...» Точно она знала.

...Материальное, вещественное меняется, ветшает, проходит. Глядеть на черепки бабушкиной чашки — одно сожаление: «все в прошлом». «Милое, невозвратное прошлое...»

А по мне, то, что в музеях да в сундуках тлеет, и пусть тлеет! Мои воспоминания, мои впечатления детства меня на всю жизнь обогатили.

Не знаю, хотел ли бы я, чтобы, например, наш дом, там, в родном городе, сохранился со всем убранством комнат, с комодами, креслами, киотами, картинами, скатертями, книжными шкафами, ткаными половиками, на тех же местах, как стояло, лежало, висело все при дедах, при отце и при мне, ребенке и подростке.

Эти вещественные останки породили бы во мне грусть, что «никого уже нет». Эти материны вещи связали бы меня. И велик был бы соблазн сделаться хранителем музея:

«Вот это мамочкино платье сшито в 1875 году. Вот это вышитые ею туфли отца. Вот очки тетушки. Вот остатки скатерти, которую я, младенец, залил вином. Вот в медальоне мои волосики, когда мне сравнялся год...» и т. д. и т. п.

К счастью, в нашем быту не было прискорбного и жалкого обычая фотографировать усопших сродственников в гробах. Того бы еще не хватало!

Для меня не велико то сокровище, которое моль ест, шашел точит, червь грызет. Но подлинно «золотым» назову я свое детство и юность, потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое моль не ест, которое не линяет, не ветшает.

Живая душа содержала наш «старый» быт...

Когда я был помоложе, то внешние явления и предметы, имеющие, так сказать, общий интерес — философский, поэтический, идейный, художественный,— оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Я хватал перо, чтобы занести внезапно охватившее меня радостное, счастливое настроение.

...Чудное дело: вижу куст, дерево в черной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая развеличилась во весь перекресток, вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостное: «Иже в девятый час...» И ты скажешь: «Воспоминания детства как живые встают передо мной...» В том-то и дело, что не «воспоминания»! Воспоминания — это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует.

Ты скажешь: «Понимаю: события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи...»

— Но цепь ведь влачат! Разве ты «влачишь» воспоминания детства? Или уж это чудная «златая цепь». «Красное золото не ржавеет»... И дивное дело: бывали ведь и в юности, в отрочестве горести-печали, но в «златой цепи» жизни моей черных звеньев нет. Должно быть, с «золотом» слезы-то сплавились.

— Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою сорок лет назад, и то, чем живешь ты в данную минуту? Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетним?

— Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих «златниц» таково, что их нельзя растерять. Жизнь свою я назвал «златой цепью». Первое звено ее есть мое младенчество, последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность.

При этом называю я свое младенчество первым звеном, а старость последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и естественно их соединить.

Разговор сейчас идет не о вещественном, плотском, осязаемом. Но все же и тело мое, руки, ноги те же самые, что были в четырнадцать лет. Я говорю о переживаниях тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родилась реальность, стали существовать «вещи», которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые несомненно существуют.

Истинная мудрость должна бы об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано... Человек я зело неграмотный. Языка у меня этого нет и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя дошел, а объяснить не умею.

Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлеченных. Ничего абстрактного я не понимаю; этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я «не учен, не школен и в грамоте недоволен».

Я упоминал о своих переживаниях, которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности, а отнюдь не воображения.

Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В четырнадцать лет у меня был некий «пир», некий «брак» с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, березы, тополи, пели птицы... Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. Я как бы «восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы». Царственно было... Как будто утешитель меня всего исполнил.

Это событие «плоть бысть» и существует.

Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни. На Паже, затем у прудов. Я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти, не знаю — часы или минуты все становилось «не тем». Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению...

Был сентябрь, конец месяца. С тяжелой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к Больничной. Брат пошел быстрее, чтобы взять билет. Я брёл тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, черная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг все начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздернулись. Все стало несказанно торжественным. И черные воды, и долина пели, пели как громы, сладко и дивно...

...Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность черного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы

белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает мое стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стрекочет мне: «Жив ли сказочник?»

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно.

В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам, и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми, праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором елочки. Вдали черная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего ума-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у человека. Высотою, для молодости неудобовосходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозримою.

От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло.

Помню: выпал первый снег... Убелил радонежскую землю, холмы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное полотно, стлалася долина Пажи, и Пажа, незамерзшая, вилась посередине серошелковой узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали черные стежки-тропочки... Какое веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя, веселясь, летела, привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края.

Михаил Дроздов хвалился расписной хотьковской посудой: цветастыми чашками, чайниками, блюдами.

Фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы — фарфоровые головки для шитых кукол — славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были хотьковские шитые «мягкие» игрушки, а также всякое художественное вышиванье, вещи и для светского обихода-украшательства и для церковного. Мастерством шитой игрушки и высокой золотошелковой вышивкой именит был Хотьковский девичий монастырь. Здесь было исконное гнездо художества женского. Художницы — монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам преподобный Сергий. Он будто бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия — резные кресты, панагии — хранятся в лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще сергиевская игрушка — эта истинная радость и для ребенка и для художника,— сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, «хлебом» здешнего края, овеянного, осененного светом Радонежа.

«Не сами, по родителям»,— скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом «эти бедные селенья, эта скудная природа», из подслепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит дере-

венский игрушечник, видны тощие нивы, глиняные, ухабистые дороги, «серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках и на печке — праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага — все сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, брусничных, маковых, сахарных, седых, облакитных, бирюзистых, жарких тонов и цветов.

Когда я брел по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепетала осинка еще не опавшими листьями, и узорным рядком, темнея по белому склону, стояли молоденькие елочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу шадровитую столешницу, бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А потом два дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как галки кричат над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой Буренка. Погляжу, как нарядна черно-талая дорожка по белому-то скату горы, как изящен сребро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих первый снег, покрывший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлевкашенной столешнице напишу Лавру розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую кампанеллу. Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А оконца и воротца черными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям черным же цветом подобающие литеры-пояснения вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тогда лаком покрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно.

...Пересчитываю популярные картины и художников русских и ловлю себя на мысли: а сколько у тебя любимых по «настроению» картин из иностранных?

В Эрмитаже есть «Избиение младенцев» Брейгеля. Дело не в сюжете избиения, а в пейзаже. Удивительно и широко дана деревенская зима. Как бы первый снег,

темные лужи по дорогам, снег на кровлях, голые ивы, низкое тяжелое пасмурное небо, контрастное белым тонким пеленам снега. Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне.

Вообще люблю уютные голландские зимы, с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях.

Есть у меня любимые гравюры. «Утерянная драхма». Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол — ищет драхму. По стене, углу и потолку движется громадная черная тень... Не картина из русского быта (Перов, Федотов), не домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как «Утерянная драхма», и вижу себя дома, соглядаю свое детство.

И еще храню старинную-старинную гравюру, переносящую меня домой. Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежесть яиц... Видно, зимние утра там, дома, в детстве пали мне на сердце.

И еще храню картину на сюжет утра, любезный сердцу. Это опять-таки голландская гравюра XVIII века: две служанки, отягощаясь ранним пеньем петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пенья петуха. Опять женщина в широкой юбке, со свечой, стропила сеней, тени от свечи, поющий петух, не слезшие еще с седала куры. В верхнее оконце глядит еще серп месяца, а в приоткрытую дверь — низкая еще полоска утренней зари.

Бревна стропил, тяжелая дверь, свеча, разгоняющая мрак, поющий петух, сундуки, серп месяца на предутреннем небе — подлинная серьезность, талант художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство интерьеров старой Голландии и родного поморского города заставляют меня в голландских картинах ощущать свое детство.

В страстную, в светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на светлой неделе река еще не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на мхах еще снега. Город весь, как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега, холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой про-

шлогодней травой-отавой. На взлобье холма древняя церквица, внизу еще белеет снег, но два-три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается к реке, сидят две старухи, отдыхают, глядя вдаль, тихо поют...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, Сергиева Городка, Сергиева Посада... в марте, когда еще «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», разве вербочки и ручьи, и проталинки, лазурь весеннего неба и белые березки не те же?..

...Лучше меня на пилу посадите, нежели тащить гулять по жаре... Нет уж... Около дома, в тени чудесных старых дерев, куда благоприятнее, нежели не вем где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил. На одном чтобы месте. Вылез на крылечко и — вся гулянка. А как незнакомые места — меня это досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу...

Молодость все топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь-страсть — главное в жизни. Что любовь — во-первых, а все остальное — во-вторых.

Молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть — это частность в жизни, вожделение телесное лишь неизбежный период. В годы расцвета красоты тела человеку надобно, чтобы им любовались, желает и сам любоваться, любить и быть любимым. И это добро, и надобно, и повелено. Как яблоня цветет и приносит благовонные яблоки, так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству. Это не для всех. «Все» пускай открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А пройдет этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым, честным должно после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрясти с вежд липкий медвяный этот сон, и прохватиться, и осмотреться. Открой «вещия свои зеницы». В долине твоей уже вечер. Посмотри,

как сияют горния вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним: увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в «мужа совершенна».

То, что свойственно молодости, что любо и мило у юности, то сожалетельно видеть у пожилого человека, то бесчестье и зазор для старика.

Человеку дотоле свойственно копошиться в цветке любви, доколе не созрел ум. Отдай «долг природе» и подклони свою честную главу под венец светлой и радостной мудрости.

У всякого возраста есть своя красота. Не говорю уж, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за пятьдесят, а я гонюсь за утехами двадцатилетних и тридцатилетних. «Что-де за годы — пятьдесят! Я-де еще в соку и хочу жить». Не жалкое ли мое духовное и морально-нравственное состояние, когда мне семьдесят, а я не желаю поддаться сорокалетним и пятидесятилетним?..

Конечно, всякий понимает, что значит это «жить». Уж весь-то я старый одёр, старая кляча... Плешь блестит как самовар. Шея что у журавля. Брюхо посинело, ноги отекли. Задница усохла... А все пыжусь, все силюсь подражать молодому жеребцу.

И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям, на меня глядя, смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скраденной жизнью.

Так вот мы и до старости молодящимся легкомысленным умом уже не живем, а влачим жизнь. Мы убеждены, что, как скоро минули наши молодые годы, жизнь покатится под гору. И вот тщимся, усиливаемся как можно дольше в саду-то молодости остаться. Потому что до старости дожили, а ума не нажили.

Сознанию молодости свойственно легкомыслие. Разум спеется на следующей степени возраста. А мы и в пекле пятидесяти довольствуемся тем же легкомыслием. Обольщаем и обманываем сами себя, бедные!

Жар молодого цветущего тела, сила юной крови — от всего этого как бы хмелеет мысль-воображенье юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти «страстныя мечты» отнюдь не суть естественное свойство человеческого мозга. Этому положено свое время. Страстный хмель с годами должен пройти. Ум, мысль, воображенье должны снова стать чистыми,

ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на ступень высшего мироощущения.

Но как часто с человеком бывает такая беда: «страстныя мечты» засядут в мозгу, и полюбит человек ими услаждаться. Страстной-ёт хмель должен налететь да вылететь, налетать да вылетать. И чем старше становится человек, тем реже и реже чад-то этот туманит воображенье. А бывает, страстные-то помыслы прочное гнездо совьют себе в нашем сознанье. Полынным медом обволокут, залепят наше сердце и ум. Здесь уже не молодая кровь и плоть будет смущать ум и воображенье, а воображенье, ставшее распутным, и ум, сделавший себя развратным, начнут впрягать наш телесный состав в несвойственную, ненужную работу. Человеку-то по годам пора хвалиться и радоваться о «почестях высшего звания», человеку-то в разуме чистом, омытом, светлом пора богатеть и строиться, а человек-от в низинах похоти, как свинья в грязи, роется. По себе скажу: сколько тут моей беды, столько и моей вины.

У нас на родине уже и август месяц в осень кладут. По здешним местам — август еще лето. Ино теперь и по-вашему и по-нашему осень пошла...

...Каким лучезарным, добрым, ласковым светом озарены для меня мои воспоминания об отчем доме, о родной семье, об отце и матери. Эти воспоминания точно благословенны на всю жизнь.

...Добро, добро читать книги, которые книги годны-то тебе. Ты тогда себя человеком числишь, когда утверждение какое-то имеешь, когда пишется тебе, когда стоящее хоть помалу накапливается. Иное — стоящие мысли проносятся в голове, но не подвизают руку к писанию. Неохота взять карандаш. Уныло созерцаешь себя в такие дни. Не люблю жить бесполезно. А много дней так-то прошло...

И вот как же ценить надо такую книгу или такие книги, которые не только мысли в голове рождают (воистину книги эти живые и живы их словеса, как семя чистое, жизненное, благопотребное), но и руку к писанию подвигают. Настолько насущны, живоначальны, живодательны, настолько сильны, могучи слова этих книг, что даже мой дух, мнилось — невсклонно упавший, давно поникший, заботами, неисправностями, тревогами, страхами, болезнями дух угнетенный, эти

книги, т. е. мысли, идеи, в них заключенные, будят, подымают, зовут, окрыляют, живят...

И вот еще мысль мелькнула: а для чего, на какой предмет, для кого пишешь или записываешь, и записываешь такие и всякие свои мысли... Не знаю, для кого. Опытные и высокие, достигшие уже меры, адельфи, хоть сколько преуспевающие, только улыбнутся этим строчкам... Да ведь и сам я сознаю, что это все «говор водный», пена, на воде сбиваемая. Все эти мои описания ощущений радости суть «восхощение недарованного». Это все не на деле, не от дел слова. Все это самообольщение. Потому самообольщение, что при всякой даже тени страха все как дым рассеивается без остатка. При тени страха готов я от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко...

Но почему же все-таки, заведомо зная,— думаю и люди знают, и лучше меня знают ничтожество и бесчестность мою — у многих достойных в долг взял и не отдал (в долгах всяко замарался), и все-таки пишу и люблю сквозь все гнетущие заботы это веселье в себе. Потому что единственно стоящим (сам-то ничего не стою) считаю это на земле, единственный смысл жизни в этом вижу. Единственную правду, единственный смысл жизни...

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален... Безлюдно, будто я и не в городе. Ясное небо вечернее. Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьется меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-желтые поля на холмах, елочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

— Добро нам здесь быти,— говорю я брату.— Построить бы избушку под елью...

А на Ма́ковце всякий раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда. Три белых собора — как три белые птицы у моря. Они только что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя»,

дивная «золотая легенда» Андрея Рублева... Здесь поет «птица Сирин, глас ее в нощи зело силен. Кто поблизости ея будет, тот все в мире сем позабудет». Он, ученик «Святой Троицы», вдохновлял и Андрея Рублева и зодчих. В этой песне линий и красок у блаженного Андрея, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания — все нездешнее, на всем свет горнего мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампанилья, «чертоги» — это все вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье, возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь:

— Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??

Невольно начнешь спешить, опережая других, начнешь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве, там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву... Лазурная музыка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России.

В народное искусство, даже в игрушку — «радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится — принимается сердцем.

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту скудостью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками

как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину, в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, «голубоглазый василек»? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение — икону «Святая Троица»?!

Жемчужность и перламутр рублевских красок — оне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет уж, извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

...Пуще соловьев, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и грачей — вестников весны.

Сорока — птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, всего наговорит; да таково спешно да занятно. Любезную птичку-сорочку увидишь — и уже знаешь, что сказочное «некоторое царство» тут близко, что никуда оно не девалось.

Славная здесь земля. Здесь возродилась русская сказка...

Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад.

Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Все шире и шире открываются душевные его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твое «упование» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедные селенья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу...

Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — «художник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вижу с собою никакого особого мира. Мое упование в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту. Потому что талантли-

вость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых».

Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, и — на черной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто мы хотим слушать сорокину сказку. О богатом мире русской красоты сорока-та возвещает...

Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и «невидевшие уверовали»? Живая кисть может. Но не копируя, а передавая разум этого «радонежского пейзажа».

...Слышал человека, побывавшего на Севере: Кемь, Онега, Ухта, Военаволок... Все, слышь-ка, однообразно. Климат, слышь-ка, скудный, холодный.

А мне родина моя какой кажется прекрасной! И не сравню с здешними местами. Тихославная Двина, родимая северная речь, прекрасное зодчество... Отцы и праотцы там лежат. А меня отнесло-отлелеяло от родимой стороны. Иное и вздохну «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом».

Но уже не оторваться мне от здешней, теперешней жизни. Близкое и дорогое мое здесь. Тут все мое дыхание и сердоболь. Забвени буди десница моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя, родина моя прекрасная.

Но здесь, «на реках вавилонских», и жизнь моя, и дыхание, и все. Север для меня — туманное и сладкое воспоминание, а жизнь моя здесь.

...Перечитывал «Запечатленного ангела» Лескова. Нельзя довольно надивиться богатству этой повести. Лесков несравненный мастер рассказа-монолога («Полуночники», «Очарованный странник»). Но повесть-монолог «Запечатленный ангел» — вещь совершенная в этом роде. Автор дает обильные сведения о технике древнерусских художеств (и какою замечательною речью он это преподносит!), рисует очаровательные типы артельных людей, каменщиков: Марка, Мароя, Луку,

«отрока» Левонтия, живописца Савостьяна. Вместе с рассказчиком мы живем в рабочей слободке, ходим в Москву, бредем дремучими лесами Заволжья в поиске прехитрого изографа Савостьяна и обретаем Панву безгневного.

Многообразный этот рассказ настолько целен и целеустремлен, что кажется очень простым, бесконечно хочется слушать этого Марка, от лица которого ведется речь.

Монолог как литературная форма очень трудная вещь, но настолько оригинальна и трогательна фабула, настолько живы положения, любопытны и ценны сведения о народном искусстве, что без конца готов насыщаться (от) богатой трапезы, учрежденной изумительным мастерством слова. Многие пишут в народном вкусе, но в больших дозах угощение это становится пресным и приторным. У Лескова несравненный вкус, Лесков никогда не свернет на торную дорожку слащавого и банального «русского штиля», которому так легко подражать. Язык «Запечатленного ангела», «Полуночников» и (местами растянутого) «Очарованного странника» навсегда видится нам струею чистою и живописною посреди мутноватых и подражательных и зачастую бездарных подражаний народной речи.

У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края оного таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ея уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца,— оттого и я чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца оного дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же из чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности.

СЛОВАРЬ ПОМОРСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ОБЪЯСНЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

Адмиральский час — так с петровских времен и почти до революции назывался в Архангельске полдень.

Аксӣнья-полузӣмница — 24 января старого стиля. По народному календарю — середина зимы, когда уже прошла половина холодов.

Аредовы веки (Аред — мифическая личность, упоминаемая в Библии, достопамятная удивительным своим долголетием) — народное русское выражение удивительного долголетия, равнозначно с «Мафусаиловы годы».

Афана́сьев день — 18 января старого стиля. С этого дня кончается полярная ночь, в полдень показываются утренние зори. Со 2 февраля старого стиля появляется солнце, светлое время увеличивается с каждыми сутками, постепенно переходя в беззакатный северный трехмесячный день.

Барк, барка — океанское парусное судно, у которого задняя мачта снабжена косыми парусами, а остальные имеют прямые паруса.

Бахи́лы — высокие кожаные сапоги на мягкой подошве, с круглыми носками, сшитые на прямую колодку, удобные для хождения по толстому льду в зимнее и летнее время, употребляются поморами на промыслах.

Баюно́к (от слова «баять») — сказочник.

Бе́рчатый (от слова «бе́рдо») — узорчатый; узорчатое нецветное тканье.

Бла́го — много.

Блазни́ть — мерещиться, казаться, представляться.

Бот — род лодки; ходит на веслах или под парусом, в наше время применяются моторные боты.

Браты́ня — деревянный или медный сосуд для браги или кваса.

Бриг, бриганти́на — типы легкого двухмачтового судна: у брига прямое вооружение, у бригантины — вторая мачта с косыми парусами; строились на Севере в XVIII—XIX веках.

Бу́ево — открытое возвышенное место.

Бус, бу́сель — мелкий дождь, мокрый туман, морось.

Бутена́нт — воинский чин в польской армии во времена польской оккупации 1612 года.

Быва́нье — событие, происшествие.

Быстри́на — течение, быстрота, быстрое течение воды.

Ва́женка — самка оленя.

Вап, или вапа — краска.

Ва́рака — гора, крутой холм, скалистая гора у берега моря.

Ватерли́ния — линия или полоса, наведенная краской по корпусу судна, от носа к корме. Глубже этой линии судно при погрузке не должно садиться в воду.

Веде́ньев день — 21 ноября старого стиля. По народному календарю — время обильных снегопадов: пошла настоящая зима.

Велизария питает — Велизарий, знаменитый византийский полководец (499—565 гг.), после громких побед над персами и другими врагами Византии в результате дворцовых интриг подвергался временной опале, которая впоследствии и дала повод к легенде об ослеплении Велизария, в которой упоминалось, что мальчик-поводырь собирал подаяние для прокормления несчастного Велизария.

Ве́рес, вереск — можжевельник; вересовый — можжевеловый.

Верфь — место, где строят суда и корабли.

Ве́треница — шитый из разноцветной материи длинный и узкий флаг, показывающий направление ветра; прикреплялись на длинных шестах. Встречались и служили скорее украшением в Архангельске, включая начало XX века.

Ветхое (ветховое) озеро — озеро, в котором рыба ловится только на ветхом (ущербном) месяце.

Взво́день — сильное волнение на море; крутая, большая волна, крутой вал.

Вздохну́ло море — начался прилив.

«Виноград (то есть сад) *российский»* — книга Андрея Денисова (1675—1730) о преследованиях, которым подвергались со стороны церкви и царской власти староверы в конце XVII — начале XVIII века. Андрей Денисов основал на реке Выг крупное поселение староверов, которое стало своеобразным культурным центром Поморья (так называемая Выгореция).

В испо́ди головой — низко склонив голову.

Вняться — вникнуть, понять.

Вода больша́я — прилив.

Вода кроткая — отлив, состояние воды во время наибольшего отлива, затишье при смене отливно-приливных течений.

Вода ма́лая — отлив.

Вож — вождь.

Волоща́не — жители волости.

Ворото́ша — возврат; *без воротиши* — без возврата.

Во сре́ту — навстречу.

Всток — восточный ветер; порывистый, часто штормовой силы ветер с востока, дующий в западном устье пролива Маточкин Шар.

Всхожее и закатное солнце — восход и закат.

Выть — еда, прием пищи. В обычных условиях у поморов было три-четыре выти в день: первая выть — завтрак между 4 и 6 часами утра; вторая выть — обедник (обед) в 9 часов утра; третья выть — паужина — между обедом и ужином; четвертая выть — ужин (ужна). На промыслах были две главные выти: первая — в 9 часов утра и вторая — в 3 часа дня.

Вя́зьбленое тканье — род сквозной узорчатой прошивки на ткани, сделанной посредством выдергивания поперечных ниток, мережка.

Гальо́т — вид морского парусного судна, разновидность шхуны голландского образца, на Севере появился с XVIII века.

Га́ндвик, Гандвиг — песенное название Белого моря, слово скандинавского происхождения.

Гарчи́ть, гаркать — хрипло лаять.

Глы́за — глыба.

Гля́день — 1) знак на берегу (обычно крест или пирамида из камней), указывающий безопасный фарватер при заходе в становище или пролив; 2) возвышенный пункт у становища, с которого открывается широкий вид на море. Отсюда наблюдали за морем.

Гнус амбарный — мыши.

Гово́ря — речь, разговор.

Го́лк — крик, галдеж.

Голо́вщина — уголовщина.

Го́ломень, го́ломя — дальнее от берега, открытое море; *голомя́нный* — уходящий далеко в море.

Голубе́ц — голубая, бирюзовая краска.

Го́рло, ги́рло, горловина — пролив, соединяющий два бассейна. Горло Белого моря — пролив, соединяющий северную часть Белого моря с Баренцевым морем.

Гость — купец.

Грумала́ны (груманланы) — русские промышленники, плававшие на Грумант (Шпицберген) и зимовавшие там.

Губа́, губи́ца — большой залив, в который впадает более или менее крупная река. Губа носит название той реки, устье которой выходит в губу.

Гу́бка, или ла́хта — небольшая губа, мелководный морской заливчик.

Гудо́к — древнерусский музыкальный инструмент, похожий на виолончель.

Гусиная земля — у поморов так называлась некая северная земля, где покоятся души храбрых и добрых людей.

«Де мортуи низиль ни бебене» — искаженная латинская поговорка: «De mortuis aut bene, aut nihil» — «О мертвых (говори) или ничего или хорошее».

Домови́ще — гроб.

Досе́льный — старинный.

Дра́вить (то же, что *драить*) — тереть, чистить; палубу дравить — мыть палубу.

Дресва́, дресвя́ный камень — камень из породы гранитов, в пережженном и измельченном виде употребляется для мытья полов, палубы и деревянных тротуаров; для этого раскаленные в печи камни бросают в холодную воду, отчего они становятся хрупкими, а потом измельчают до крупнозернистого песка.

Егорьев день — 23 апреля старого стиля, время весеннего половодья на Севере. «Егорий — с водой, Никола (9 мая ст. ст.) с травой, троица (50-й день после пасхи) — с листом».

Езы — колья, которые вбивают в дно реки и переплетают прутьями для ловли семги.

Еко́нская губа — становище Еконга в восточной части Мурманского берега.

Ела (отсюда — ялик) — легкое на ходу беспалубное однопарусное судно с высоким носом и кормой; применяется для рыбного промысла у мурманских берегов и в Норвегии, откуда и взят поморами образец этого судна.

Жа́дать — любить, ценить, жадно хотеть, жаждать.

Жать в себе — сдерживать(ся), зажимать.

Жи́ра (жирова́ть) — богатство, роскошество.

За́болонь — ближайшая к коре, молодая часть древесины. Превращается в годичное кольцо. Заболонь, как недостаточно окрепшая часть древесины, при подборе судостроительного материала удаляется.

Задве́нный — удаленный, далеко задвинутый.

За́лежка — скопление зверя на льдине или на берегу.

Заро́д — стог сена.

Заруди́ть — окровавить, окрасить кровью.

Зару́пасить — загромоздить льдом, наторосить.

Зато́р — стеснение льда в устье весною.

Звягли́во — крикливо; *звягливо и рогато* — крикливо и неуклюже.

Здви́женье — воздвиженье, церковный праздник 14 сентября (ст. ст.). По народному северному календарю с этого дня начинается холодное время.

Земляна́ старуха — древняя старуха, «в землю зрит, край могилы ходит».

Зимнее море — часть Белого моря, прилегающая к Зимнему берегу.

Зимний берег — восточное побережье Белого моря от Двинской губы до Мезенской.

Знатли́вый — знахарь, ведун.

Зуёк — северная птица вроде чайки. Зуйками называли у поморов мальчиков, работавших на промысловых судах.

Ико́тница (от слова «икота») — больная особой, вроде падучей, распространенной на Севере болезнью, кликуша; бранное слово у пинежан и мезенцев.

Казёнка — каюта на судне, в которой помещался или хозяин или кормщик.

Кано́н — правило, чин.

Ка́нская земля — полуостров Канин, в прежнее время место безлюдное. «В канский мох провалиться» — затеряться, пропасть.

Ка́нтеле — музыкальный щипковый инструмент вроде гуслей у финнов и карелов.

Ка́рбас — парусно-гребное судно древнерусского образца для речного и морского прибрежного плавания. Карбас легок и поворотлив на ходу; распространен на Севере до наших дней. Морские карбаса были с палубой.

Ка́рбасник — владелец карбаса.

Кая́не — от названия города Каяна, на территории нынешней северной Финляндии, с которого шведы (свеи) не раз делали набеги на Поморье.

Кемь — западный берег Белого моря с центром в городе Кемь.

Керёжка — вид санок с плетеным кузовом; в них промышленники тащили за собой продовольствие и мелкие снасти.

Кожаный старец — в Соловецком монастыре старец, заведовавший запасами кожи и кожаных изделий.

Ко́йда — деревня, и сейчас существующая в Архангельской области, в Мезенском районе.

Коко́ра, или кекбо́ра — ствол дерева с корневищем; при помощи ее связывают бимсы со шпангоутами. На речных судах заменяет шпангоуты.

Копы́лья, копо́лы, или *утро́ры* — вертикальные стояки у саней, вделанные в полозья. «Поставить разговор на копылья» — заговорить о главном, основном; «с копыт сбиться» — потерять правильную нить в жизни, сбиться с панталыку.

Корабельщина — корабельный лес.

Ко́рга — каменистый островок (или мель), образовавшийся у берега.

Корга, или *корг* — передний вертикальный брус, крепящий обшивку судна спереди,— форштевень.

Коре́ла — западный берег Беломорья (Карелия).

Ко́рмщик, или *ко́ршик,* — капитан морского промыслового судна.

Коробка нищая — презрительное выражение: на Севере нищие ходили с коробом или корзиной.

Ко́ртома — аренда.

Косты́ч — косоклинный, с застежками по переду, сарафан у староверок.

Котля́на — судовая артель промышленников на моржей.

Ко́ча, коч, или *кочма́ра,* — древнейшее парусное палубное судно, устройством схожее с лодьей, но значительно меньших размеров. Коча известна на Севере еще во времена новгородского владычества.

Ко́шка — отмель.

Креневóй — крепкий.

Кре́нья — полозья.

Крестóвые братья — названые братья.

Кроте́ть — ослабевать, уменьшаться. Кроткая вода — отлив. Зима окротела — конец зимы.

Кряж — выступ горы.

Ку́десы — волшебство, чародейство.

Куку́ль — шапочка из меха или тонкого сукна вроде капора или чепца, носили монахи и дети.

Кулёмка — ловушка для зверя.

Кумири́ческие боги — боги античной мифологии (от слова «кумир»— изображение языческого бога).

Ку́тер — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII и XIX веках.

Ку́фман (норвежск.) — купец.

Лазóри — утренние зори.

Ла́хта — небольшой морской залив.

Ла́я — приток Северной Двины.

Левка́с — смесь клея или олифы с мелом; левкасом густо покрывали предмет, подлежащий окраске.

Лекáла — модель, форма частей судна в натуральную величину или части деревянного чертежа, сколоченные на месте постройки судна. Расположение лекал определяет очертания будущего судна.

Леси́на — дерево.

Лéстовка — четки у староверов; полотняные четки клали с умершими.

Лета 7158 — 1650 года; летосчисление в допетровской Руси, до 1700 года, велось «от сотворения мира» (1650+5508).

Летние горы — то же что, и Летний берег, — часть побережья Белого моря, влево от устья Двины.

Лихорáдство — злодейство, злой умысел, лиходейство.

Ли́хтер — буксирное разгрузочное судно. Товары с больших кораблей выгружаются на лихтеры и так доставляются на берег.

Лóдьма — деревня в устье Северной Двины.

Лóдья — самое большое из поморских судов, морское палубное трехмачтовое парусное судно. Древняя лодья подымала груз в 12 тысяч пудов.

Лоншáк — годовалый.

Лóпь, лóпский берег — так в старину называли Кольский полуостров, где жили лопь, лопины, или лопари — исконные жители Кольского полуострова (отсюда — Лапландия).

Льяло — приспособление для литья пуль.

Мáна (от слова «манить») — обман.

Мáра (отсюда — марево) — мираж, густой туман.

Матéрая вода — места с большими глубинами, глубь; *матерый берег* — материк; *матерый лед* — ледник или глетчер.

Мáтица — балка, которая поддерживает доски потолка.

Медведь — остров Медвежий.

Межóнное время, также *меженник, межен* — тихие дни в середине лета, когда почти совсем нет ветра; уровень рек в это время принимается за норму при исчислении нормального уровня.

Михайлов день — 8 ноября старого стиля; на Груманте начинается полярная ночь.

Многоядная (от слова «многояденье» — обжорство) — много пожравшая.

Мягкие шесты — то есть приятные на ощупь.

Набáт — барабан.

Наблю́дник — полка, на которую ставят тарелки на ребро.

Нáволок — возвышенный мыс.

Навь — мертвец; *навий* — относящийся к мертвому.

Навыкновенные дóхматы (от слова «навык») — незыблемые правила; привычные, установившиеся порядки.

Нáкры — медные тарелки в оркестре.

Напрасный — внезапный.

Натодéльный — для того сделанный; специально сделанный, приспособленный или предназначенный.

Нáть — надо

Находáльник (от слова «наход» — набег, наскок) — участник набега, разбойник.

Немецкая слобода — район в Архангельске. Здесь с давних времен жили домами и дворами немцы, англичане и голландцы. До войны 1914 года Немецкая слобода слыла самой богатой частью города.

Немóжет (отсюда — неможется) — болеет.

Нёнокса — посад на берегу Белого моря.

Несоблю́дно — небрежно.

Нестуди́рованный (от слова «штудировать») — неученый.

Никóлин день, Никола-вешний — 9 мая старого стиля, на Новой земле — поворот от зимы к весне, прилетают птицы.

Обая́тельный — волшебный, оговоренный (от слова «обаять» — околдовать, очаровать).

Обмен (ругательн.) — обманный, поддельный, фальшивый человек.

Ободвéрина — косяки у дверей.

Огнéло (от слова «гнет») — придавило, прижало.

Одинáкий — единственный.

Ознóб — простуда.

Оклáдное бревно — основание дома.

Óли — даже.

Оку́тка — (отсюда — окутывать) — одеяло.

Оприкóсить — сглазить.

Орда — небольшой зверек из редкого, уничтоженного сейчас вида полосатой белки.

Осту́да — холодок, здесь — холодное отношение.

Отнóс, унóс; попасть в унос или *относ* — быть унесенным на льдине.

От Петровá до покровá — от Петрова дня (29 июня ст. ст.) до покрова (1 октября старого стиля).

Отпря́дывать — отскакивать; отпря́дыш, отпря́дный камень — отпрянувший, отскочивший от берега в воду камень, одиноко стоящий в воде камень.

Очередь — степень, чин.

Пáвесть — слухи, недостоверные вести (в отличие от вестей).

Пáволока — холстинка, которую наклеивали на доску, приготовляя последнюю к живописи; потом покрывали левкасом, лощили, полировали, а после этого наносили рисунок.

Палагу́нье, палагу́шка (пол-лагуна) — деревянный лагун для молока.

Пáртес — нотное пение по партиям.

Пáужна — третий в течение дня прием пищи у поморов-промышленников (см. слово «выть»), еда между обедом и ужином.

Переладец — набор колокольчиков, аккомпанирующих гудку.

Перешерстить — перебрать, переменить.

Пластать — гореть широким, сильным пламенем.

Побочина — боковая обшивка у судна.

Побывальщина — быль, бывальщина.

Поветерь — попутный ветер; *на поветерь* — по ветру, на попутный ветер.

Погудальце — смычок для игры на гудке.

Поддон — нижний настил судна, в отличие от верхнего настила — подтоварья.

Подтоварье — деревянный настил, идущий над днищем судна, на который кладут груз; предохраняет груз от подмочки.

Пожаточный — имеющий много пожитков (имущества), зажиточный.

Поклониться большим обычаем — поклониться в пояс (знак большого уважения).

Покрут — команда промыслового судна; *покрут обряжать* — набирать, вербовать команду.

Полдень — юг. *На полдень* — на юг.

Поливной камень — камень, покрываемый водой во время прилива.

Полудник (на полдень, на юг)— южный ветер.

Попажа — попадание, попадать.

Порато — очень, весьма, сильно, крепко.

Породить — прибавить, укрупнить, прибавить силы, здоровья.

Порозно — порожно, пусто.

Порядовный — идущий по одной линии, соседний.

Поседатеть — поседеть.

Пословный — повинующийся по первому слову.

Посолонь (по солнцу)— поворот по солнцу, в направлении движения солнца.

Постановный — степенный.

Постать — статность, осанка; *постатейно* — статно, прямо, с достоинством; *постатейно поет* — поет как подобает.

Постель реки — русло реки.

Прибегище — пристань, причал для кораблей.

Приглубый — крутой (под водой) берег, под которым глубоко.

Приправить — приняться; *приправить работы* — приняться за работу.

Причеть — поэтические речи, распеваемые на Севере женщинами в торжественных случаях жизни.

Провещиться — говорить, высказываться (от слова «вещать»).

Прокурат — проказник, затейник, шутник.

Прохватиться — спохватиться.

Пружить, опружить — опрокидывать.

Пряденъ — пряжа.

Пых — дух; *пых перевести* — дух перевести.

Радеть — усердно желать, стремиться.

Радоница — родительский день, день поминовения усопших.

Разводье — время смены течений; лед в это время расходится, образуя проходы для судов.

Рангоут — общее название всех деревянных или стальных брусьев на судне (мачты, реи, стеньги, бушприт), на которых укреплены паруса.

Раньшина — небольшое поморское судно древнего типа, приспособленное для ранних весенних промыслов.

Реями ходить — лавировать.

Рождество — христианский праздник рождения Христа, 25 декабря по старому стилю.

Розный — рваный.

Ропака, ропаки — нагромождение льда, гряды стоящих по берегу льдин.

Рочить (мореходн.) — закреплять, привязывать; *рочить шкоты* — крепить шкоты.

Румпель — рычаг для управления судном.

Салма — пролив между островами или между островом и материком.

Сальница — сковородка с налитым в нее салом. В носок вставлялась льняная светильня.

Свеи — шведы.

Свестен — имеет вести, знает.

Свиль — винтообразно расположенные волокна в дереве, делающие его непригодным для обработки.

Сгорстать — схватить в горсть.

Семенов день, или *Семен летопроходец* — 1 сентября старого стиля, начало осени.

Сивер, или *Север* — северный ветер.

Сирин (от греческого слова «сирена») — в памятниках древнерусской письменности и в народных сказках фантастическая птица с женским лицом и грудью.

Скоморох — бродячий актер в Древней Руси.

Скорополучно — скоро и благополучно.

Сличные — схожие друг с другом, похожие лицом, одинаковые.

Сменный ветер — переменный ветер.

Соломбала — древний пригород Архангельска; здесь долго сохранялся старый быт.

Сполохи — северное сияние.

Сре́теньев день — 2 февраля старого стиля, начало промыслов тюленя.

Сряжа́ться — собираться.

Ста́дный (от слова «стадо»)— многий, многочисленный.

Становóй — главный.

Ста́рина, или *стари́на* — эпическая песня.

Ста́тки — остатки, наследие, наследство.

Стекóльный — Стокгольм.

Сте́пень — ступень; *стать на степени* — стать на ступени; *степенные* — здесь: члены правления.

Столе́шница — дощатая поверхность стола, верхняя доска.

Стра́дники — бранное слово; буквально — крестьянин-бедняк, нанявшийся в работники на летнее время (в страду), последний бедняк в деревне.

Странный человек — странник.

Стреж — фарватер реки.

Стрóчное пенье, солевое — музыкальные термины у поморов.

Сувóй, или *токунцы́* — беспорядочное волнение при встрече противоположных течений, при встрече ветра и течения.

Суземы — дебри.

Суря́дный — опрятный, порядочный, чистоплотный, правильный.

Сы́гровка — репетиция.

Таланесть — талант, способность.

Такелаж — веревочная оснастка судна; *стоячий такелаж* — снасти, которые удерживают в надлежащем порядке мачты и прочие брусья, служащие для установки парусов: *бегучий такелаж* — снасти, посредством которых производится управление парусами.

Та́на-губа — Тана-фиорд.

Телдоса́ — деревянные щиты на дне, внутренняя обшивка палубного судна.

Терту́ха — массажистка.

Тинóк, или *тинек* — моржовый клык.

Ти́тла вытвердить — выучить условные обозначения принятых в церковнославянском языке сокращений (от слова «титло»— надстрочный знак, обозначающий пропуск букв, сокращение, характерное для некоторых слов церковнославянского языка).

Тиу́н (стар.) — судья низшей степени.

Толку́чие горы — беспорядочно расположенные горы.

Торосова́тый — малопроходимый из-за скопления торосов — морских льдов.

Триóдь цветная — собрание пасхальных песнопений в православной церкви.

Трóицын день — начало лета на Севере; по церковному календарю — пятидесятый день после пасхи.

Трýдники, или *годовики* — подростки, которых родители «по обещанию» отдавали на срок в Соловецкий монастырь, одновременно они обучались судостроительному мастерству.

Тулиться — прятаться, укрываться.

Тýрья гора — гора на западном берегу Белого моря.

Туск (отсюда — тусклый) — непрозрачное, тусклое небо.

Угóр (от слова «гора») — возвышенный, гористый берег, не затопляемая приливом часть берега.

Удробéл — оробел.

Упря́г — мера рабочего времени в крестьянстве в прежнее время, от отдыха до отдыха, — примерно треть рабочего дня.

Усáдить — украсть.

Устья́не — жители речного устья.

Ýтлый — ветхий.

Ýтренник — весенний или осенний мороз по утрам, до восхода солнца.

Ушкýйники, или *ошкýйники* (от слова «ошкýй»), *ушкуйная голова* — первоначально — промышленники на белого медведя; смелые, отчаянные люди. В Древней Руси ушкуйниками назывались ватаги новгородцев, которые в больших лодьях — ушкуях — ходили на дальние северные реки и занимались разбоем.

Фактóрия — торговая контора и склад купца за морем, в данном случае — на Груманте.

Хехéна — гиена.

Черёва — внутренности рыб.

Чернопáхотные реки — реки, по берегам которых преобладало земледельческое население.

Читать по тóлкам — читать бегло, в отличие от чтения по слогам.

Чудь — чудское, финское племя, в древности населявшее северную Русь.

Чýнка — детские санки с высокими побочинами и спинкой — кузовом.

Шаньгá — ячменная лепешка на масле, сметане, с крупой.

Шáять — тлеть.

Шелóник — юго-западный ветер (с Шелони).

Шúрша — деревня близ Архангельска.

Шкýна — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII—XIX веках. На шкунах поморы плавали почти до наших дней.

Шнёка — рыбацкое однопарусное судно на Мурмане, образец которого взят у древних норманнов. На шнёках поморы промышляли треску еще в начале XX века.

Шня́ва — род поморского судна, отличалось неповоротливостью.

Штёвни, носовой и кормовой,— брусья, сдерживающие концы досок, образующих обшивку судна. Поморское название штевня — корч или упряг.

Этажи́ссе (простонар.) — возвышаешься, задаешься.

Этта — здесь.

Юрово — стадо морского зверя; юровщик — староста артели на промысле морского зверя, самый опытный мореход-промышленни́к.

Я́гра — протянувшаяся от берега в море подводная отмель.

Я́рь — медная окись, употребляемая в качестве зеленой краски.

«МОЕ УПОВАНИЕ В КРАСОТЕ РУСИ». Б. В. ШЕРГИН (1893—1973)

Иметь счастье жить с ним в одной эпохе и не слыхать и не знать—это непоправимое несчастье.

Скульптор И. С. Ефимов

Б. В. Шергин был талант драгоценный, многогранный. Вырос писатель из фольклора так же естественно и свободно, как вырастали сказители и всевозможные мастера бытового творчества. Вековая народная художественная традиция озарила нам в личности и творчестве Шергина едва ли не последнего певца классических былин и несравненного рассказчика, изящного художника народно-прикладного искусства и вдохновенного поэта-сказочника. Даже старинная народно-поэтическая речь у Шергина, как заметил Л. Леонов, «звучит свежо и звонко, как живое, только что излетевшее из уст слово».

Сыновняя любовь к Родине, слитая с влюбленностью в свою художественную тему, придала разностороннему творчеству и жизни Шергина удивительную цельность.

Трудной была его человеческая и творческая судьба. «С точки зрения „мира сего", — записал он в дневнике, — я из тех людей, каких называют „несчастными"». Но «сердце мое ларец, и положена была в него радость». Немалые жизненные испытания, выпавшие ему, не подавили и не опустошили, не ожесточили сердца. А творчество поднялось вдохновенным словом о радости. «В книгах моих,— признавался писатель,— нет „ума холодных наблюдений", редки „горестные заметы"; скромному творчеству моему свойственно „сердечное веселье"».

И это была у Шергина не личная благая нирвана, а проснувшийся в душе животворный родник сокрытого, но вечно движущего творческого начала народной жизни, которому причастен коренной русский талантливый человек. Да и призвание прикоснулось к Шергину не соблазном самовыражения, выявления талантливости или особой манеры видеть и оценивать мир, окружавший его. «Неудобно мне склонять это местоимение „я", „у меня", но я не себя объясняю. Я малая капля, в которой отражается солнце Народного Художества»,— читаем в его дневнике.

Подобно музыкальному инструменту, его душа художника звучала почти исключительно под воздействием тех впечатлений, которые приходили из живой народной жизни. «Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — „художник, поэт носит с собой свой мир". Лично я, например, не ношу и не вижу с собою никакого особого мира. Мое упование —

в красоте Руси. И, живя в этих „бедных селеньях", посреди этой „скудной природы", я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту».

Олицетворением красоты Руси стали для Шергина талантливые и просто мастеровитые люди — кормщики и корабельы строители, резчики и живописцы, сказители и рыбаки и другие художники повседневной жизни. Он застигал их в разгар душевного веселья, и в пору печали и горестных утрат, и во время постигших их драматических, а нередко и трагических обстоятельств. И везде он умеет увидеть в них самое характерное, интересное, непреходящее. Как художник он искренне любовался их колоритными фигурами, причем и читателя он заставлял любоваться ими. Его изображение естественно. Все смотрится необыкновенно свежо и сильно: и эпический образ мастера, и плеск морской волны, которая на камень плеснет и с камня бежит, сияние солнца и жемчужные нюансы неба и воды — все воспринимается словно впервые, все видится как бы написанным на золотистом перламутре.

Очарование произведений Шергина усиливается еще и тем, что он не знал разлада или, точнее, даже просто различия между историей и современностью, между прошлым и настоящим. «То, что было „единым на потребу" для „святой Руси", есть и нам „едино на потребу", — писал он. — Физическому зрению все примелькалось, а душевные очи видят светлость Руси. И уж нет для меня прошлого и настоящего». Он умел видеть и изображать прошлое столь живо и непосредственно, словно сам воочию наблюдал картины народной жизни минувших веков. «Живая жизнь содержала наш „старый" быт»,— говорил он. И даже в древних книгах «замечал только картины живой жизни, старался увидеть живых людей».

Но в отличие, например, от Бажова, который проблему прошлого сопоставлял прежде всего с социальной драмой народа, Шергин поэтизировал проявления обыкновенной, повседневной жизни старой Руси, ее бытового творчества, в которых выражались яркая художественная одаренность русского народа и его нравственное своеобразие. «Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству и древней культуре Руси и родного края — вот что меня захватывало всего и всецело увлекало»,— вспоминал он.

Для писателя всегда было сомнительным мнение, что память народа донесла до нашего времени все самое ценное, самое отборное. Многое из драгоценного достояния прошлого, полагал он, забылось и останется безвестным. Но это отнюдь не поднимало в Шергине бесплодных сетований и сокрушений. То, что влекло его к народной древности, было началом светлым и оптимистичным. Он был убежден в том, что многое проходит, но вечное остается. Вечная связь времен крепка, и древний опыт прочно оседает в душе. То, что одухотворяло и живило прекрасные формы народной культуры, вовсе не ушло вместе с исчезновением ее вещественного облика, оно вечно и живо и «является и нашей жизнью и нашим дыханием».

Отыскивая это вечно живое, что связует современность с историей, Шергин и вглядывался в народные характеры, к которым его влекли прежде всего черты, не зависящие от времени. «Обращая мысленный взор в прошлое,— говорил он,— ...я люблю соглядать там „жизнь живую", то, что не умрет. К та-

кому „прошлому", вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине».

И как исследователь великой реки прежде всего устремляется к ее истокам, так и писатель с радостью и открытостью сердца ищет эти вечные творческие ростки, которые заложены в народном искусстве, в характерах талантливых мастеров его северной родины.

Кажется, сама жизнь обернулась поразительным парадоксом, представив нам художника, чье детство и юность прошли едва ли не в XVII веке, устои которого так прочно сохранялись в поморских деревнях и посадах. Он никогда не восстанавливал прошлое, как археолог или реставратор. Он писал только то, что видел собственными глазами. Древняя красота пришла к нему из любви и знания настоящего. «Любовь к древнерусской красоте породила во мне Северная Русь... Я с детства, с самой ранней юности,— вспоминал Шергин,— стал искать эту красоту в красоте родного Севера».

1

Борис Викторович Шергин родился 16 (28) июля 1893[1] года в городе Архангельске, в семье именитого корабельного мастера и морехода. Отец писателя, Виктор Васильевич, «берегам бывалец, морям проходец» и необыкновенно мастеровитый человек, был талантливым рассказчиком. Он умел, вспоминал писатель, «виденное и пережитое, слышанное и читанное... пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей». Дар изустного рассказчика, как и страсть к бытовому мастерству, перенял у отца и Борис. Рассказы же Виктора Васильевича, человека, который любил жизнь и людей и всерьез учил этому сына, отразились во многих произведениях Шергина («Отцово знанье»).

Во многом такого же склада была и мать писателя, Анна Ивановна (урожденная Старовская), происходившая из семьи потомственных архангелогородских кораблестроителей. «Маменька мастерица была сказывать («что услышу, то и мое»). При случае и в будни что-нибудь вспомнит, как жемчуг, у нее слово катилося из уст»,— рассказывал писатель.

Была у Шергина и своя Арина Родионовна. Почти родным членом семьи почиталась Наталья Петровна Бугаева, даровитая сказительница и песенница из пригородной деревни. «Мечтательница, песенница, она умела заронить в душу любовь к прошлому... Свято верила в домовых, хозяина и хозяюшку, в банного, в водяного хозяина. Рассказывала таинственные были о древних людях. Пела стихи, пела песни»,— писал о ней Шергин.

Виктор Васильевич и Анна Ивановна умели с выдумкой и вкусом создать дома по-народному нарядный и доброчестный

---

[1] Биографические материалы, сохранившиеся в Государственном Архангельском областном архиве (заявление, подписанное рукой матери писателя Анны Ивановны Шергиной, гимназические документы разных лет и др.), свидетельствуют, что эта дата рождения Б. В. Шергина является подлинной. Ранее указанная в различных источниках дата — 1896 год — ошибочна.

бытовой уклад, будивший воображение детей. Друг семьи, известный сказочник С. Г. Писахов с отрадой вспоминал обстановку «уюта и сказки», которая царила в маленьких комнатках их дома. Здесь, замечал С. Г. Писахов, было «невозможно громко говорить. Уют настраивал говорить раздумчиво».

Часто, особенно в зимнюю пору, по-семейному уютно и празднично проводила вечера в доме Шергиных «дружина отцова», как именовал ее писатель: именитые мореходы П. О. Анкудинов и М. О. Лоушкин, художные корабелы К. И. Второушин, В. И. Гостев. «Соберутся вместе, — рассказывал писатель,— пригубят „чашу моря соловецкого", и тогда пойдут речи златоструйные, златословесные. О, какой пир был бы для художника, для поэта глядеть на этих людей и слышать их речи. Я в том пиру бывал и... отчасти изложил, что запечатлелось на сердце». Уже много лет спустя Шергин писал: «Мне теперь ясно, что отцовы друзья потому были прилежны к старине, что все они были художники в душе и поэты».

Неудивительно, что Шергина тянуло к воспроизведению искусства «мастеров златых словес», часто служивших ему и живыми оригиналами для изображения («Рождение корабля», «Дед Пафнутий Анкудинов» и др.). Их рассказы легли в основу многих лучших произведений Шергина об именитых кормщиках русского Севера (рассказы о Маркеле Ушакове, Устьяне Бородатом и др.). Научение же и вразумление «отцовой дружины» помогли Шергину сохранить целость ума и убеждений, а ее завет: «Поедешь, Борис, в Москву учиться, постарайся, чтобы наши сказанья попали в писанья»,— стал неоценимой нравственной поддержкой и опорой в творческом самоутверждении писателя.

Как бы обобщая свои воспоминания об отчем доме, Шергин писал: «В родной семье, в городе Архангельске я, главным образом, и наслушался и воспринял все свои новеллы, былины, песни, скоморошины. На всю жизнь запасся столь бесценным для писателя наследством. Впоследствии в море — на кораблях, на пароходах, на лесопильных заводах я лишь пополнял этот основной свой фамильно-сказительный фонд».

По обычаю морского сословия, семья Шергиных, как говорил сам писатель, «имела житие птичье» и с наступлением белых ночей надолго выезжала в поморские села и становища. В этих старинных селениях зримо оживала история. Шергину казалось, что Русь, как сказочное видение, подобное Китеж-граду, схоронилась здесь, укрытая дремучими лесами, немеренными мхами-болотами, неоглядными просторами океана-моря русского.

В силу ряда исторических обстоятельств старинная крестьянская культура оказалась здесь более стойкой, чем в остальной России, и развивалась почти в полной независимости от внешних или побочных влияний. Оказалось, что в этих глухих деревеньках «еще царствовал XVII век в зодчестве, в женских нарядах, в быту». С восхищением наблюдал Шергин за степенным достоинством движений и речи наследников Великого Новгорода — поморов, с русыми волосами, окладистыми бородами и приветливыми лицами. Поморки в старинном покрое новгородских сарафанов, в горделивых головных уборах воскрешали царевен и боярышень. В затейливых богатырских домах-хоромах «пышным цветом цвело устное сказыванье». «Сколько ска-

зок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах! — писал Шергин в дневнике. — Бабки и дедки сыпали внукам старинное словесное золото». Позднее С. Г. Писахов вспоминал, что и речь Шергина уже в годы отрочества была «с речью давней схожа».

Поэтическая история родного края по-новому оживала и обогащалась и дома, в Архангельске. Все, что поражало воображение: былины и сказки, легенды и предания, просто меткие слова и образные речения — Шергин, уже будучи гимназистом, записывал печатными буквами в тетради, сшитые в формате книг, украшал их своими рисунками. Содержание этих «книг» он любил повторять и дома, и в кругу сверстников в гимназии.

Но в то же время он признавался, что, «очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей». Она и побуждала Шергина даже и в юные годы не быть только созерцателем живого народного творчества, а показать людям ее сокрытую красоту. Это стремление особенно обострилось позднее, когда он был студентом московского Строгановского художественно-промышленного училища в 1913—1917 годах. К этому времени относятся и первые пробы пера («Творю хвалу Великому Новгороду», «Былина в Архангельске», «Отходящая красота» и другие статьи о северном фольклоре и его мастерах). Еще неотступнее это влечение охватило Шергина, когда «Москва и Русь Московская» навсегда стали его второй родиной.

2

Великая Октябрьская социалистическая революция была для Шергина крупнейшим и поворотным в народных судьбах событием. «Творческие силы простого русского народа, — писал он,— могли развернуться во всю ширь только после революции. Но и революция — коренной переход от старого к новому — могла совершиться только в недрах народа одаренного и жизнеспособного».

В первые послереволюционные годы отношение к народному наследию было острополемичным. Нигилистические тенденции многочисленных «неистовых ревнителей», считавших себя создателями и теоретиками новой, «революционной» культуры, были прямо противоположны позиции В. И. Ленина и руководителей молодого Советского государства по отношению к художественной культуре народа. Подчас грубо дискредитировалась духовная и эстетическая культура народного прошлого, модным было говорить и писать, например, о фольклоре как о пережиточном моменте наследства старой русской деревни.

Все это порой ошеломляло Шергина. Он вспоминал, что ему приходилось, например, слышать: «Вот ты дышишь этими былинами, а есть ли у поморов что-нибудь подобное английским балладам? Создали ли северные мореходы своего „Летучего Голландца"?» На ответ я сказывал поморские баллады. Я знал их довольное количество. Слушатель говорил: «Это культура своего угла. Существует большая, широкая культура. Ты читал „Бретонские легенды"?» И непонятно было, почему беломорские баллады не могут считаться достоянием «большой», общеевропейской культуры?»

Почему русская народная баллада, ничуть не уступающая по

красоте и разнообразию романтических сюжетов европейской, остается в тени, как нечто доморощенное, простоватое? По мнению Шергина, причина крылась отчасти в том, что балладно-романтический эпос не был собран достаточно полно, но главным образом в том, что он не был преподнесен читателю «в литературно-художественной форме». Чтобы поддержать интерес к былине и сказке, к взаимосвязи старины и новизны, Шергин задумывает ряд книг — художественных переработок севернорусского фольклора.

Первая из них — «У Архангельского города, у корабельного пристанища. Сборник старин» — вышла в 1924 году. Это необычная и, кажется, первая в нашей литературе книга обработок старинных народных былин-баллад.

Шергин запечатлел в обработках живой народный говор и древний напев (в нотной записи), украсил обработки чудесными иллюстрациями в духе и стиле старинных «лицевых» (то есть иллюстрированных) книг. Все три глубоко ценных природных дарования естественно и гармонично сочетались на страницах этой подлинно художественной книги по русскому фольклору. «Слова, напев и иллюстрации — все вместе дает настроение и вводит в дух старого искусства»,— писала о сборнике Шергина проф. А. К. Покровская. Она же чутко проникла и в сверхзадачу Шергина, точно выразив ее в словах: «В старом народном искусстве — родина наша. <...> Человек без родины — сирота. Потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, и, если вырвать ее,— высохнут корни, будет перекати-поле...»

* * *

Выйдя из мира старинной былины, Шергин открыл перед читателем угодье сказки. В 20-е годы народная сказка, подобно былине, нередко выводилась за пределы художественного творчества, отвергались ее эстетические свойства — то, что особенно ценил в ней Пушкин («Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»). «Как ни странно,— писал в те годы проф. М. К. Азадовский,— но в наши дни такое понимание (понимание сказки как художественного произведения. — *Ю. Ш.)* все более и более стирается. Сказка как будто вычеркивается из рядов художественных памятников и переходит в разряд памятников или даже документов этнографических. В этом отношении она разделяет судьбу и других видов так называемого „народного творчества"».

Вместе с другими энтузиастами возрождения народного творчества Шергин старался убедить своих современников в высокой художественной ценности народной сказки, сокрушить небрежение к ней. Он стремился представить читателю подлинную народную сказку, как и балладу, в «художественно-литературной форме», то есть в той живой и естественной форме, в которой она удовлетворяла эстетическим вкусам народного коллектива. «Среди архангельских сказочников,— писал Шергин,— в большой чести уменье «врать», «плести», «представлять». Это вранье — «театр для себя». Творческое возбуждение сказочника, приподнятое настроение аудитории создают атмосферу, рождающую «вранье». Вранье искрится, переливается всеми цветами радуги в устной передаче. Оно блекнет, хиреет, опускает свои лепестки в записи, в печати».

Неповторимость сказки Шергина, секрет ее красоты как раз и состоит в том, что она в его записи «не опускает свои лепестки». Его сказка сохраняет все особенности неповторимого национального колорита, обороты речи, красоту метких сравнений и остроумных образных словечек. Кажется, она сейчас, в эту минуту рассказывается сказочником и не заезжему собирателю, а «своему брату»—слушателю, и мы незримо присутствуем при этом.

Невероятен смеховой преизбыток, которым окутаны его сказки. Вот, к примеру, как представлен читателю царь («Золоченые лбы»): «Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала, мундер снят, сидит в одном жилету». Сказка начинается и развивается как заведомая мистификация. Брань царя и мужика Капитонки закипела, «драцца снялись. Одежонку прирвали, корону под камод закатили. Дале полиция их розняла, протокол составили...»

Но за тканью мистификации всегда зримо проступает целый мир бытовой местной традиции, подчас весело пародированной. За словами Леща, например, («Судное дело Леща с Ершом») оживает красочное зрелище, побуждающее вспомнить картины Рябушкина: «Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут...»

Преломляя сквозь смеховую культуру бытового досуга мир повседневной крестьянской жизни, Шергин художественно постигал народное радостное доверие к бытию, способное гармонично настраивать человека. Но важное место при этом уделял сатире и издевке. Здоровым народным юмором искрятся сказки о Шише Московском. Своеобразная сказочная «эпопея» о Шише начала складываться еще в годы Ивана Грозного, когда шишами называли беглых холопов. Некогда распространенный повсюду сказочный эпос о Шише в наиболее цельном виде сохранился лишь на Севере. Шергин собрал по берегам Белого моря более ста сказок о Шише. В его обработках Шиш изображен веселым, жизнерадостным; царь, баре и чиновники — глупыми и злыми. Шиш в образе скомороха вышучивает богатых и сильных мира. Порой он и остроумно мстит им. «Это через чужую беду Шиш сделался такой злой. Через него отлились волку коровьи слезы... У Шиша пословица: кто богат, тот нам не брат. Горько стало барам от Шиша».

Шергина по праву называют истовым подвижником возрождения живейшего интереса к народной сказке в широких кругах читателей и слушателей уже в 20-е годы. Достаточно вспомнить о том необычайном успехе, который имели передававшиеся по радио в 1932—1933 годах сказки Шергина в исполнении самого автора, укрывшегося под псевдонимом «Шиш Московский». Каждое выступление, по словам редакции передач, «вызывало колоссальное количество писем» от самого широкого круга слушателей. Писали взрослые, о детях уж и говорить не приходится. Они писали, что «хохотали до слез», «чуть со смеху не умерли,» что у них «уши расширились от такой веселой передачи». Около четверти писем были коллективными. Выступление Шиша «произвело огромное впечатление. Ясно, что это небывальщина, но из нее извлекаешь много полезного, а по отдыху, интересу — блестящая вещь. С какой жадностью ждем передачи...» Под этим письмом — 180 подписей учащихся

одной из уральских школ. Шиш стал любимым героем детей тех лет.

Успех сказок Шергина побудил редакцию радиопередач для детей и юношества, а также издательство «Детская литература» сделать выводы: «Сказку нельзя держать в потайных ящиках... из мирового сказочного наследства мы должны выбрать и дать нашим детям лучшее, красочное, педагогически и социально полезное. Успех сатирических сказок Шергина...— первый опыт, требующий продолжения».

Заметным событием культурной жизни начала 30-х годов был и выход книг Шергина, в которых он объединил свои обработки севернорусских сказок,—«Шиш Московский» (1930) и особенно «Архангельские новеллы» (1936). Об «Архангельских новеллах» журнал «Резец» писал: «Эту книгу будут не только читать (с захватывающим интересом), ее будут изучать, по ней будут учиться. Учиться образности, яркости художественной речи. Она должна быть прочитана всеми, а особенно теми, кто начинает писать сам, кто отдает себя литературной творческой работе».

Шергин последовательно не соглашался с теми, еще не изжитыми в 20-е годы, представлениями, согласно которым жизнь русской деревни являла собой лишь вместилище косности и отсталости. Эстетические и социально-нравственные ценности народной культуры он попытался показать прежде всего как живую грань нашей современности. По сути, он не реставрировал, а продолжал традиции народного и сказочного искусства, не случайно воспринимаются его обработки как подлинная запись, сделанная от современного талантливого сказителя.

Таким образом, развитие дарования Шергина совершалось не в сопровождении фольклора, а органично вырастало в его недрах. К обработкам сюжетов народной баллады и новеллистически-бытовой сказки он подошел уже как уверенный мастер. Но эти переложения в то же время были для Шергина и школой, в которой он упражнял и вырабатывал свой уникальный стиль.

3

30-е годы открывают особую страницу творчества Шергина. Это было время, когда народная жизнь в ее глубинах круто сдвинулась, на глазах изменился привычный вековой уклад крестьянской жизни, уходила в прошлое старая русская деревня. «Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью,— пишет Шергин,— но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию». Все это он помнил еще живым и действенным и видел в этом ум и талант русского народа, завещанный своим современникам. Отсюда и начинается оригинальное литературное творчество Шергина-прозаика. Оно становится уже профессиональным трудом. В 1934 году он был принят в члены Союза писателей и тогда же избирался делегатом Первого Всесоюзного съезда писателей от Московской писательской организации.

Стиль и манеру своей прозы он вырабатывал, по-видимому, нелегко. О. Э. Озаровская, близко знавшая Шергина, вспоминала: «Характернейшая же его (Шергина) черта — ему нужно много раз рассказать на людях, чтобы с напряжением он смог закрепить это самое на бумаге».

Трудность состояла в том, чтобы достоверность реально-бытового жизненного факта, положенного в основу произведения, сплавить с фольклорным осмыслением этого факта. Нужно было погрузить оба эти начала в некую особую среду, чтобы они преобразились, ожили и взаимопроникли́сь.

Можно прибегнуть к такому сравнению. По берегам родного Шергину Гандвика — Белого моря часто встречаешь камешки с вросшими в них водорослями. Оставленные отливом на песке и высохшие, они кажутся мертвенными, тусклыми и странно чуждыми друг другу в своем сообществе. Но стоит приливу вновь погрузить их в янтарную волну, как они оживают и расцветают единым, причудливым, как на фламандском натюрморте, цветком.

Кажется, Шергин проделывал нечто подобное, искал эту среду. И, найдя ее, погрузил оба эти начала в чистейшую влагу, где и исчезла их обособленность.

Такой средой явилось для Шергина художественно постигнутое им народное поэтическое ощущение мира. Им и напоены произведения Шергина. И это одна из тайн его искусства, которую нелегко разгадать и изъяснить.

Народное творчество не копирует мир. Образное и в целом и в частях, оно красочно одушевляет и природу и нравственный мир человека. Оно наделяет и мир природы и мир художника своей энергией, благотворной или враждебной. Энергия вещей втекает в другие вещи, и каждая вещь живет во всех, и все — в каждой. В полной мере это относится и к нравственному миру человека. Это то состояние, которому, может быть, наиболее совершенно соответствуют слова Тютчева: «Все во мне, и я во всем».

Для художника, если он не живет или не может жить этой цельной жизнью, ключ к живому народному мироощущению навсегда потерян.

Шергину хочется воспеть художного мастера в его гармонии с цельным народным «знанием». Поэтому его героев, «мужиков по званью и художников по знанью», даже от персонажей Бажова отделяет поэтическая возвышенность смысла. Недаром сквозь их облик проступают эпические, богатырские черты, воплощающие народные представления о безукоризненном, идеальном человеке. Таков Конон Вороушин («Рождение корабля»), именитый художник-корабел, прозванный Тектоном-Строителем. Под стать Конону Второушину и Пафнутий Анкудинов и Иван Узкий («Новоземельское знание»), Маркел Ушаков и Иван Рядник («Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове», «Про старого кормщика Ивана Рядника»), Матвей Корелянин и Виктор Шергин («Матвеева радость», «Поклон сына отцу»). И в передаче их физического облика и внутреннего сосредоточенного мира заметно явное отступление от индивидуального сходства с реальными прототипами. Оно совершается ради приближения к некоему вековому обобщенному типу, к которому восходят все образы художных мастеров у Шергина в их различных вариациях и оттенках.

Посмотрим на Маркела Ушакова: какая в нем бездонность мудрой, стойкой и мужественной души, прожившей, кажется, не одну, а множество жизней. Не он ли был в дружине новгородцев, что впервые «оследила нехоженый берег» Студеного моря и обжила незнаемый край? Не он ли мерил неизмерное

море: «Сочти этот путь и труд человеческий!». Не он ли укладывал исполинские валуны в циклопические стены Соловецких башен и был живым свидетелем упорной борьбы человеческого духа, разыгравшейся в них? «Молод ты, а ум у тебя столетен», — говорят о нем даже в юности. Опыт веков отложил в нем щедро свое самое ценное достояние: бескорыстие и доброту, глубокость и серьезность помыслов, талант труда и мудрой любви к человеку. Потому-то к Маркелу «старого и малого как на магнит тянуло». Уже один вид его успокаивал нуждающегося в поддержке и утешении человека.

Все мастера у Шергина небогаты, и живется им нелегко. Конон Второушин, например, «во всю жизнь не имел ни кола ни двора». Но изображены все эти художники у Шергина как мудрецы или философы. Они окружены в народной среде ритуалом всеобщей почтительности. «Государь кормщик», «государь художник», «государь мастер», — обращаются к ним и стар и млад.

И здесь надо приметить еще одну особенность характеров Шергина: его мастера всегда оставались в такой же мере художниками своего ремесла, как и другого повседневного труда, связанного с крестьянским бытом, — они одновременно и рыбаки, охотники, народные педагоги, держатели образного слова и непременно «поэты в душе». Потому-то герой сказа «Рождение корабля», получив согласие Конона строить корабль в Архангельске, обрадованно обмолвился сыну: «...мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес». А «в тихий час, в солнечную летнюю ночь сядет Конон с подмастерьями на глядень (возвышенное место), любует жемчужнозолотое небо, уснувшие воды, острова — и поет протяжные богатырские песни. И земля молчит, и вода молчит, и солнце полуночное над морем остановилось, все будто Конона слушают...»

Как мы видим, тема красоты Руси, волновавшая Шергина, в 30-е годы растворялась в теме цельного «жития» мастеровитого крестьянина на родной, извечно обжитой земле. И, как в древнерусских житийных изображениях, Шергин соединяет в пространстве одного рассказа, как бы в случайных приливах разговорных воспоминаний основные события из жизни своего героя или главные моменты одного происшествия, ярко раскрывающие нравственную суть характера.

Новая грань дарования Шергина — писательский талант — привлекла внимание широких читательских кругов и литературной общественности необычайностью содержания и своеобразием художественной формы. А. М. Горький, отбирая образцы лучшей современной художественной прозы для созданного им журнала «Колхозник», не раз находил их в рассказах Шергина.

В отзыве на книгу «У песенных рек» (1939), в которой Шергин собрал большую часть своей прозы 30-х годов, журнал «Книга и пролетарская революция» писал: «Суровое Белое море, рыболовный промысел, город Архангельск — встают перед читателем и слушателем со страниц книги свежими, правдивыми образами... Шергин проявил себя настоящим мастером, вдумчивым изыскателем, талантливым художником, всем сердцем преданным народному творчеству, его высокому поэтическому духу».

* * *

Начало Великой Отечественной войны прервало работу Шергина над новой книгой «Народ-художник», к сожалению, так и оставшейся незавершенной. В годы войны он всецело отдает себя «изустной практике» рассказчика и сказителя, считая ее для того времени наиболее действенной и оперативной формой своего творчества.

В дневнике Шергина военных лет читаем: «Еще издали услышал сладкую такую и тихую музыку... Наконец, начал проходить оркестр, за ним взвод за взводом — молодежь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойные молодые лица... молодые, прекрасные, спокойные, сильные, еще и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют, покорные, кубок жизни. Отводят от себя кубок жизни царственным таким, великодушным жестом. Ряды за рядами... Молодые, полные жизни, сил...»

В таких, обычных для военного времени сценах Шергин ощущал сжимающий сердце драматизм тревожных событий. Перед ним наглядно поднималось извечное нравственное могущество, сокрытое в душе народа. В этих новых защитниках Руси он видел ту же значительность и внутреннюю собранность, ту же стать, которые он с волнением поэтизировал в образах своих художных мастеров.

В годину суровых претерпеваний болело сердце писателя за их судьбы. Он чувствовал себя обязанным быть с ними, сделать для них что-то реальное, неотложное, нужное. К ним он обращался с живым словом в воинских частях Москвы, госпиталях Загорска, Абрамцева, в школах и вузах столицы, в клубах подмосковных сел. Шергин умел талантливо поддержать усилившийся в годы войны интерес народа к своему прошлому, к фольклору. Событиям военных лет он посвящал свои новые сказы («Золотая сюрприза», «Офонина бабушка», «Три сына»).

Безмерные испытания, переживаемые народом, заставляли Шергина забывать о своих изнурительных физических недугах и страданиях. «Я тем душу питаю,— пишет он,— и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я...»

В первые годы великой победы советского народа Шергин, ободренный успехом своих многочисленных выступлений военных лет, отобрал наиболее «обкатанные» в живом исполнении рассказы и фольклорные обработки, объединив их в книгу «Поморщина-корабельщина» (1947). «Эта книга,— обращался он к читателю, — мой репертуарный сборник». Она вышла в то время, когда радость мирной жизни и радость творчества поднимались в душе Шергина с удвоенной силой.

Однако эти же годы были полны для писателя непрекращающимися страданиями, вызванными резким ухудшением здоровья.

Шергин всегда был нерешителен и слаб, когда дело касалось быта, но трудно встретить художника более решительного, едва речь пойдет о творческой воле. «...И все-таки пишу,— читаем в его дневнике этих лет,— и люблю сквозь все гнетущие заботы это веселье в себе. Потому что единственно стоящим (сам-то ничего не стою) считаю это на земле, единственный смысл

жизни в этом вижу. Единственную правду, единственный смысл жизни...»

Талант его не оставался ни подавленным, ни праздным, а жизнерадостность художника, присущая ему, не угасла.

В 1959 году вышла книга «Океан-море русское». Она была тепло встречена читателями и критикой. Восторжёнными статьями отозвались на нее литературные газеты и журналы. С радостью приветствовали ее появление и уверенно посылали ей вслед свое напутственное слово Л. Леонов, К. Федин, А. Югов и другие писатели.

«Океан-море русское» вобрал многое лучшее, что было создано Шергиным не только в 50-е, но и в 30—40-е годы. Последующие прижизненные издания, по сути, лишь обогащали и расширяли его содержание.

Если в 30-е годы Шергин изображал художных мастеров преимущественно в широкой панораме их труда и быта, то в 50—60-е годы он пытается проникнуть в тайну их «самобытной философии», доискаться до самых ее истоков. Он стремится поднять народную нравственно-эстетическую философию труда как творчества на уровень тех социально-художественных обобщений, от которых во многом зависело будущее Родины. «Дерзаю писать о великом»,— отметил он в дневнике.

«Чтобы строить жизнь,— писал Шергин,— надобно строить человека... Чтобы грядущая жизнь сообща, чтобы общежительство человеческое было прочно, цело, честно, надобно, чтобы члены народного общежительства были целы и здравы». По мнению Шергина, этой реальной силой, способной строить человека, может стать, будучи выразителем творческого начала народной жизни, и искусство слова. Цельное народное «знание», и прежде всего «душевное художество», как он именовал народную педагогику, и ныне не беспомощны и могут доставить, если отнестись к ним без предубеждения, немало полезных напоминаний «в планах жизнеутверждения, в планах всяческой светлости». Важнейшее из них он видел в том, что человек будет счастлив только тогда, когда у него будет душа художника и каждый найдет радость в своем труде.

Для Шергина несомненно, что в каждом человеке заложены зерна таланта. Назначение и дело человека — возрастить в себе эти «семена живоносные, вечнующие, благодатные... возрастить души дарования. Урожай этот,— записывает он в дневнике,— в жизнь вечную пойдет. Но она еще здесь начнется». Возрастить души дарования помогает труд, влечение к которому как «единому на потребу» руководит изначально человеком. Такой труд таит в себе художество. Всем своим творчеством Шергин напоминает о необходимости осознания каждым человеком своих природных склонностей и способностей, чтобы найти труд по призванию — незаменимое условие земного обыкновенного счастья. Хотя он и ценит практическую направленность труда, но его более увлекает внутренний смысл, который придают своему ремеслу народные мастера.

Когда Маркелу Ушакову («Труд») предложили печалующиеся о нем друзья «не торопиться, будто к отцу родному» на суровую Новую Землю, а успокоиться у судовых дел в Архангельском городе, именитый художник-корабел грозно отверг совет, сказав: «В тихомирном месте, в неопасном труде нет надежно-

го спокоя. На Новой Земле труд велик, значит, и покой душе безмерный».

Деяния этих людей объясняются у Шергина их душевным состоянием, творческим самообладанием, открывшим мастеру мир в красоте нового, необыденного познания. Представление об этом дают знакомые всем минуты в жизни человеческого сердца, когда, как говорит сам писатель, «тихо плева с мысли снимется, и то, на что просто так смотрел, видишь (не видишь, а знаешь) не просто таким, а пребывающим еще и иначе... На что ни подумаешь, на что ни взглянешь, суть некую вещи знаешь». Эту способность видеть сокрытую во всем красоту, постигать внутренний смысл и разум вещей Шергин и назвал коренным свойством художника и сутью его таланта. «Талантливость твоя или моя,— писал он,— есть «вещей обличение невидимых»... Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой».

Это состояние ощущалось Шергиным не как воображаемое, а как реальное чувство, при котором человек «отнюдь не выходит из себя, но приходит в себя». Но достигается оно не ради себя самого. Конечный результат его для Шергина — это образ, выражающий народное представление об истоках красоты. «От этой радости,— писал он,— художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло». Радость художника и определила эмоциональный «климат» творчества Шергина. «Не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного» — так по-народному лирично обозначен этот сквозной мотив в его произведениях. Поэтому он не анализирует, а целостно постигает народные характеры, как неразложимый образ, и ему бывает достаточно для «радостного извещения» о скрытой талантливости мастеровитого человека одного характерного жеста, осанки, поворота головы или глубокой власти взгляда («Мастер Молчан», «Соль»). Даже самые впечатляющие события из жизни героев воспринимаются как разные грани единой доброй нравственной сути художных мастеров: великий подвиг кормщика из сострадания к бедствующему человеку («Гость с Двины»), побуждающий последнего воскликнуть: «Человек ты или ангел? От сотворения мира не слыхана такая великая и богатая милость!»; и исповедальный рассказ мастера о тайнах своего ремесла, дабы послужить «к пользе и удовлетворению таковых любителей» («Устюжского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание», «Разговоры Бобрецова с учениками»); и свидетельства трогательной заботы о преемственности художества, о тех, кто унаследует «знанье и уменье» («Ушаков и Яков Койденский», «Кондратий Тарара»); и живые картины, где мастер овеян мнением народным («Ничтожный срок», «Для увеселенья»), и многое другое.

Но чаще Шергин раскрывает создаваемые им характеры не в разветвлениях эволюции, а в каком-либо едином акте («Государи-кормщики»). Обнаружение коренного и вечного в художнике Шергин обставляет порой наиболее серьезными, катастрофическими обстоятельствами, в которых испытывает нравственную суть мастера до предела («Для увеселенья», «Кроткая вода», «В относе морском»).

Непоправимая беда настигла братьев Личутиных («Для увеселенья») на промыслах. Внезапно налетевший шторм сорвал с якорей их карбас, унес безвестно куда, и братья остались одни

на островке, лежащем далеко в стороне от расхожих морских путей. Эти два мужика — «мезенские мещане по званью, были вдохновенные художники по призванью». И даже перед ликом смерти они распознали в самих себе невидимое и вечное, цветок всего «жития» своего — сердечное веселье, душевную крепость — и овеществили его в эпитафии себе, которую вырезали промысловыми ножами на сосновой доске — столешнице. И сделали это с таким «изяществом вкуса», что простая столешница превратилась в произведение искусства.

«Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть взмахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах». Радость, излучаемая этой эпитафией, принимается сердцем рассказчика, закипающими слезами, когда он читает прощальное слово художника на безлюдном острове под аккомпанемент задумавшейся природы.

Разговор о душевном состоянии, которым проникнута вся народная культура, потому так захватывает и волнует, что он преподнесен у Шергина не отвлеченно, а всегда конкретно, связан с реальным, строго достоверным, даже документированным событием. Это быль. Шергин или называет точную дату изображаемого факта («Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания»), или иным способом («Это было давно, когда я учился в школе») всегда указывает на невымышленность факта, закрепляет подлинные имена участников происшествия, названия местности, села или посада, где оно происходило.

И хотя все воспроизводилось Шергиным в полном соответствии с действительностью, он без колебания отсеивал из разнообразия натуры все, что могло в какой-то мере теснить художественный смысл рассказа, отвлекая внимание от его существа. Шергин очень дорожил цельным, единым впечатлением, сразу схватывающим суть дела. Он неуклонно следовал эстетическому завету древнерусской народной культуры, стремясь «в немногие словеса вложить мног разум», и писал чаще всего небольшие по своим размерам рассказы, нередко миниатюры, напоминающие собою стихотворения в прозе («Художество», «Русское слово» и др.). Малое пространство короткого рассказа по душе Шергину: оно надежно оберегает от соблазна закрепить нечто несущественное и случайное. Это влечение обозначило своеобразие и его фольклорных обработок 50—60-х годов. Они приближены к литературному рассказу, в них сокращены длинноты, повторы и т. п.

Экономия народно-поэтического слова при напряженной энергии внутреннего содержания придает изображению Шергина красочную пластическую осязаемость. Все видится как наяву.

Многие писали и пишут в народном стиле, но как часто сворачивают при этом на торную дорогу слащавой стилизации «под народность» или на путь копирования разговорной речи. «Но что в том! Кому это на радость?— замечает Шергин по этому поводу.— Я говорю и пишу, что есть поэтическая образность, способность претворять, способность из всей этой разговорной воды, которую точно воспроизводят писатели, показать сверкающий ключ, не поить водой непроясненной и мутной, не подавать ее на стол... а дать глоток вина чистого, нектара».

У Шергина несравненный вкус к фольклорному слову. Писатель далек от натуралистического воспроизведения народной

речи. Он типизирует, преображает и сгущает ее творческую силу, а по сути, проникнув в дух народного языка, он творит по его законам столь естественно и непринужденно, что кажется, будто его слово со всей его искрящейся образностью и красотой рождается без всяких усилий и авторской шлифовки. Этому мастерству нельзя научиться и невозможно подражать. Прирожденный талант и вдохновение — вот два крыла, которые уносили Шергина к тем ключам, из которых народный язык почерпает свою вечно юную силу и жизнь.

«Чтобы сказать слово на пользу, надобно быть в душевном веселии»,— говорил Шергин и писал, только согретый вдохновением. И потому его слово, даже повествуя о грустном, трепещет радостью, прикоснувшись к печали, лучится светом ликования. И это слово — не только индивидуальный почерк мастера, но и по-настоящему народный стиль, которым Шергин органично выразил народное мироощущение и народный эстетический идеал.

Но, видимо, надо заметить и то, что слово Шергина открывается лишь при внимательном чтении. Тогда читателю, следующему за мыслью писателя, начинает казаться, что он незримо присутствует при неторопливой задушевной беседе людей, много испытавших в жизни, и они повествуют о себе, о тайнах своего мастерства, об уроках жизни. Наверное, никогда нельзя вполне освободиться от власти ни с чем не сравнимого впечатления, принятого от них. Шергина невозможно прочесть только однажды.

А. Платонову принадлежат слова: «...даже для обыкновенного, несложного труда человеку необходимо внутреннее счастье». Шергин щедро и с открытым сердцем дарит читателю это необходимое счастье.

Ю. М. ШУЛЬМАН

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСУДАРИ-КОРМЩИКИ

МОРСКОЙ УСТАВ ЖИВУЩИЙ

ДРЕВНИЕ ПАМЯТИ

БЫЛИ

СКАЗЫ

СКАЗКИ